Винтаж

Тартарен из Тараскона

Альфонс Доде



Тартарен из Тараскона
Альфонс Доде

Аннотация
Альфонс Доде. Тартарен из Тараскона
КНИГА ПЕРВАЯ. Необычейные приключения Тартарена из Тараскона
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. В Тарасконе
I. Сад с баобабом
II. Несколько слов о славном городе Тарасконе. Охотники за фуражками
III. Нэт! Нэт! Нэт! Еще несколько слов о славном городе Тарасконе
IV. Они!
V. Тартарен отправляется в Клуб
VI. Два Тартарена
VII. Европейцы в Шанхае. Международная торговля. Монголы. Был ли Тартарен из Тараскона обманщиком? Мираж
VIII. Зверинец Митен. Атласский лев в Тарасконе. Торжественная и грозная встреча
IX. Особого рода мираж
X. Перед отъездом
XI. На шпагах, господа, на шпагах... Но не на булавках!

XII. Разговор в домике с баобабом
XIII. Отъезд
XIV. Марсельская гавань. Сейчас отходим! Сейчас отходим!
ЭПИЗОД ВТОРОЙ. У тэрок
I. Плавание. Пять положений шешьи. На третий день. Спасите!
II. К оружию! К оружию!
III. Обращение к Сервантесу. Высадка. Где же тэрки? Тэрок нет. Разочарование
IV. Первая засада
V. Бах! Бах!
VI. Появление львицы. Страшная битва. Сбор молодцов
VII. История омнибуса, мавританки и жасминовых четок
VIII. Львы Атласа, спите!
IX. Князь Григорий Черногорский
X. Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка
XI. Сиди Тарт'ри бен Тарт'ри
XII. Нам пишут из Тараскона
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. У львов
I. Сосланный дилижанс
II. Входит маленький господин
III. Львиная обитель

IV. Караван в пути
V. Ночная засада в олеандровой роще
VI. Наконец!..
VII. Катастрофа за катастрофой
VIII. Тараскон! Тараскон!
КНИГА ВТОРАЯ. Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя
I. Появление незнакомца, в «Риги-Кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.
II. Тараскон — поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П.К.А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки
III. Тревога на вершине Риги. Спокойствие! Спокойствие! Альпийский рог. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону
IV. На пароходе. Идет дождь. Тарасконский герой приветствует тени героев умерших. Правда о Вильгельме Телле. Разочарование. Тартарен из Тараскона никогда не существовал. «Эге! Да это Бомпар!»

V. Откровенный разговор в туннеле

VI. Брюннигский перевал. Тартарен попадает в лапы к нигилистам. Исчезновение итальянского тенора и авиньонской веревки. Новые подвиги стрелка по фуражкам. Бах! Бах!

VII. Тарасконские вечера. Где он? Недоумение. Цикады на Городском кругу зовут Тартарена домой. Муки тарасконского страстотерпца. Клуб альпинцев. Что произошло в аптеке. Ко мне, Безюке!

VIII. Достопамятный разговор Юнгфрау с Тартареном. В гостиной у нигилистов. Дуэль на охотничьих ножах. Страшный сон. «Вы ко мне, господа?» Необычный прием, оказанный тарасконской депутации содержателем отеля Мейером

IX. В «Ручной серне»

X. Восхождение на Юнгфрау. «Гляньте: быки!» Шипы Кеннеди никуда не годятся, спиртовка тоже. В домике Клуба альпинистов появляются люди в масках. Президент падает в расселину. Там он теряет очки. На вершине! Тартарен превращается в бога

XI. Назад, в Тараскон! Женевское озеро. Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара. Краткий разговор среди роз. Вся компания под замком. Злосчастный Бонивар. Где нашлась ави-

ньонская веревка
XII. Отель Бальте в Шамони. Пахнет чесноком! Нужна ли при восхождении на Альпы веревка? Shake handes! Последователь Шопенгауэра. На привале в Гран-Мюле. «Тартарррен! Мне нужно с вами поговорить...»
XIII. Катастрофа
XIV. Заключение
КНИГА ТРЕТЬЯ. Порт-Тараскон. Последние приключения славного Тартарена
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Жалобы Тараскона на существующий порядок вещей. Быки. «Белые отцы». Тарасконец в раю. Осада и капитуляция Памперигустского аббатства
II. Аптека на Малой площади. Появление северянина. «С нами бог, ваша светлость!» Рай за морем
III. «Порт-тарасконская газета». Добрые вести из колонии. В Полигамии. Тараскон готовится сняться с якоря. «Не выезжайте, ради бога, не выезжайте!»
IV. Погрузка дракона. «Полный вперед!» Пчелы покидают улей. Запах Индии и запах Тараскона. Тартарен изучает папуасский язык. Дорожные развлечения

V. Подлинная история Антихриста, рассказанная его преподобием отцом Баталье на палубе «Туту-пампама»

VI. Прибытие в Порт-Тараскон. Никого. Высадка ополчения. Апте… Безю… Бравида устанавливает связь. Ужасная катастрофа. Татуированный аптекарь

VII. Продолжайте, Безюке… Кто такой герцог Монский: обманщик он или нет? Адвокат Бранкебальм. Verum enim vero, «постольку» из «поскольку». Плебисцит. «Туту-пампам» исчезает вдали

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Порт-тарасконский мемориал. Дневник секретаря Паскалона

II. Бой быков в Порт-Тарасконе. Приключения и схватки. Прибытие короля Негонко и его дочери Лики-Рики. Тартарен трется носом о нос короля. Великий дипломат

III. Дождь все идет. Повальная водянка. Суп с чесноком. Приказ губернатора. Чесноку не хватит. Чесноку хватит! Крестины Лики-Рики

IV. Продолжение Паскалонова «Мемориала»

V. Появление герцога Монского. Бомбардировка острова. Нет, это не герцог Монский. Спустите флаг, черт побери! Тарасконцам дается двадцать

четыре часа на эвакуацию, хотя судна у них нет. Все, разделяющие с Тартареном трапезу, клянутся последовать за губернатором в плен

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Прием, оказанный англичанами Тартарену на борту «Томагавка». Последнее «прости» острову Порт-Тараскон. Губернатор беседует на палубе со своим маленьким Лас-Казом. Костекальд отыскался. Супруга командора. Тартарен первый раз в жизни стреляет в кита

II. Обед у командора. Тартарен выделывает па фарандолы. Как лейтенант Шип определил тип тарасконца. В виду Гибралтара. Месть Тараска

III. Продолжение Паскалонова «Мемориала»

IV. Судебный процесс на юге Франции. Сбивчивые показания. Тартарен клянется перед богом и людьми. Тарасконские узорщики. Рюжимабо съела акула. Неожиданный свидетель

V. Бомпар перешел мост. История письма за пятью красными печатями. Бомпар призывает, в свидетели весь Тараскон, но на его призыв никто не откликается. «Да прочтите же нам наконец письмо, черт бы вас побрал!» Лгуны северные и лгуны южные

VI. Продолжение и окончание Паскалонова «Мемориала»

КОММЕНТАРИИ
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРТАРЕНА ИЗ ТАРАСКОНА
ТАРТАРЕН НА АЛЬПАХ
ПОРТ-ТАРАСКОН

Аннотация

Не каждому автору удается создать литературный персонаж, чье имя станет нарицательным. Французскому писателю Альфонсу Доде это удалось. Герой его трилогии — Тартарен из Тараскона, трусоватый, хвастливый, неистребимо жизнерадостный авантюрист, в котором соединились черты Дон Кихота и Санчо Пансы, прославил Доде на всю Европу. Если в первой книге трилогии Тартарен отправляется в Алжир охотиться на львов, то во второй неутомимый стрелок по фуражкам оказывается в Швейцарии и даже совершает восхождение на Монблан, он общается с русскими нигилистами-революционерами и лишь чудом уклоняется от участия в покушении на жизнь русского императора. Третья книга «Порт-Тараскон» посвящена печальным приключениям постаревшего Тартарена на острове, затерянном в Тихом океане.

Альфонс Доде
Тартарен из Тараскона

КНИГА ПЕРВАЯ.
Необычейные приключения Тартарена из Тараскона

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ.
В Тарасконе
I
Сад с баобабом

Мое первое посещение Тартарена из Тараскона я запомнил на всю жизнь; с тех пор прошло лет двенадцать-пятнадцать, а я все так ясно вижу, словно это было вчера. Бесстрашный Тартарен жил тогда при въезде в город, в третьем доме налево по Авиньонской дороге. Хорошенькая тарасконская вилла, впереди садик, сзади балкон, ослепительно белые стены, зеленые ставни, а у калитки — целый выводок маленьких савояров[1], играющих в классы или дремлющих на самом солнцепеке, подставив под голову ящик для чистки обуви.

Снаружи дом ничего особенного собою не представлял.

Никому бы и в голову не пришло, что перед ним жилище героя. Но стоило войти внутрь, и

---

[1] Примечания: 1

Савояр — житель Савои, французской провинции в Альпах. Маленькие савояры странствовали по всей Франции в качестве чистильщиков обуви и уличных музыкантов.

— ах, черт побери!..

Во всем строении, от погреба до чердака, чувствовалось нечто героическое, даже в саду!..

О, сад Тартарена! Другого такого не было во всей Европе! Ни одного местного дерева, ни одного французского цветка, сплошь экзотические растения: камедные деревья, бутылочные тыквы, хлопчатник, кокосовые пальмы, манго, бананы, пальмы, баобаб, индийские смоковницы, кактусы, берберийские фиговые деревья, — можно было подумать, что вы в Центральной Африке, за десять тысяч миль от Тараскона. Конечно, все это не достигало здесь своей естественной величины: так, например, кокосовые пальмы были ничуть не выше свеклы, а баобаб (дерево-великан, *arbos gigantea*) превосходно чувствовал себя в горшке из-под резеды. Ну и что же? Для Тараскона и это было хорошо, и те высокопочтенные горожане, которые по воскресеньям удостаивались чести полюбоваться Тартареновым баобабом, возвращались домой в полном восторге.

Можете себе представить, с каким волнением проходил я впервые по этому чудесному саду! Но что я испытал, когда меня провели в кабинет героя!..

Кабинет Тартарена — одна из городских досто-

примечательностей — выходил окнами в сад, а баобаб произрастал как раз против стеклянной двери кабинета.

Вообразите большую комнату, сверху донизу увешанную ружьями и саблями; все виды оружия всех стран мира были здесь налицо: карабины, пищали, мушкетоны, ножи корсиканские, ножи каталонские, ножи-револьверы, ножи-кинжалы, малайские криссы, караибские стрелы, кремневые стрелы, железные перчатки, кастеты, готтентотские палицы, мексиканские лассо, — чего-чего тут только не было!

И словно для того, чтобы душа у вас совсем ушла в пятки, на стальных лезвиях и на ружейных прикладах сверкало могучее, беспощадное солнце… Единственно, что вас несколько успокаивало, это умиротворяющий дух порядка и чистоты, царивший над всеми этими орудиями истребления. Всему здесь было определено свое место, все сияло, блестело, все имело, точно в аптеке, свой ярлычок; кое-где виднелась краткая заботливая надпись:

Стрелы отравлены, не прикасайтесь!

Или:

Ружья заряжены, осторожно!

Если б не эти надписи, я бы не отважился сюда войти.

Посреди кабинета стоял круглый столик. На столике бутылка рому, турецкий кисет, «Путешествие капитана Кука», романы Купера, Густава Эмара, рассказы об охоте — охоте на медведя, соколиной охоте, охоте на слонов и т.д. А за столиком сидел человек лет сорока — сорока пяти, низенький, толстый, коренастый, краснолицый, в жилетке и фланелевых кальсонах, с густой, коротко подстриженной бородкой и горящими глазами; в одной руке он держал книгу, а другой размахивал громадной трубкой с железной покрышкой и, читая какой-нибудь сногсшибательный рассказ об охотниках за скальпами, оттопыривал нижнюю губу и строил ужасную гримасу, что придавало симпатичному лицу скромного тарасконского рантье выражение той же добродушной свирепости, какою дышал весь дом.

Это и был Тартарен, Тартарен из Тараскона, бесстрашный, великий, несравненный Тартарен из Тараскона.

II
Несколько слов о славном городе Тарасконе. Охотники за фуражками

В то время, о котором я рассказываю, Тартарен из Тараскона не был еще нынешним Тартареном, великим Тартареном из Тараскона, широко известным на юге Франции. Но и тогда уже он был королем Тараскона.

Чему же обязан он своим королевским достоинством?

Прежде всего надо вам сказать, что в том краю все люди — охотники, и стар и млад. Охота — страсть тарасконцев, и это повелось еще со времен баснословных, когда в окрестных болотах свирепствовал Тараск, а тарасконцы устраивали на него облавы. Как видите, давность изрядная.

Итак, каждое воскресное утро тарасконцы вооружаются и идут за город; за спинами у них сумки, за плечами ружья, стон стоит от лая собак, воя хорьков[2], звуков труб и охотничьих рогов. Величественное зрелище… Вот только, к сожалению, дичь перевелась, совсем-совсем перевелась.

---

[2] Примечания: 2

Хорьки во Франции используются при охоте на кроликов.

Тварь, хоть она и тварь, в конце концов, сами понимаете, стала остерегаться.

На пять миль вокруг Тараскона все норы пусты, все гнезда брошены. Ни дрозда, ни перепелки, — хоть бы один крольчонок, хоть бы самый маленький чекан.

А между тем живописные тарасконские холмики, пахнущие миртом, лавандой, розмарином, до того очаровательны, превосходный мускатный, набухающий сладким соком виноград, уступами спускающийся к Роне, тоже чертовски соблазнителен!.. Да, но там, дальше — Тараскон, а в маленьком царстве зверей и птиц Тараскон на очень плохом счету. Перелетные птицы даже отметили его большим крестом на своих маршрутах, и как только дикие утки, вытянутыми треугольниками спускаясь к Камарге, издали завидят городские колокольни, вожак тотчас начинает кричать во все горло: «Вон Тараскон!.. Вон Тараскон!» — и стая делает крюк.

Словом, местная дичь состоит из одного матерого, продувного зайца, чудом уцелевшего от тарасконских бранных потех и упорно не покидающего здешних мест. Этого зайца знают в Тарасконе решительно все. У него есть даже кличка. Его прозвали Быстроногий. Известно, что

его нора находится в черте владений Бомпара, — кстати сказать, это обстоятельство вдвое и даже втрое подняло цену на его землю, — но убить зайца так никому и не удалось.

В настоящее время за ним все еще гоняются два-три безумца.

Остальные махнули рукой, и Быстроногий с давних пор был отнесен к числу местных суеверий, хотя по природе своей тарасконцы весьма мало суеверны и, когда представляется случай, едят даже рагу из ласточек.

— Да, но если дичь в Тарасконе — такая редкость, — скажете вы — чем же тогда тарасконские охотники занимаются по воскресеньям?

Чем занимаются?

Ах, боже мой! Они отправляются в поле, мили за две, за три от города. Объединяются человек по пять, по шесть, устраиваются поудобней под сенью колодезного сруба, старой стены или же оливкового дерева, достают из ягдташей порядочный кусок тушеной говядины, лук, колбасу, анчоусы — и начинается нескончаемый завтрак, запиваемый превосходным ронским вином, от которого хочется смеяться и петь.

Потом, как следует нагрузившись, они встают, подзывают собак, заряжают ружья и начинают

охотиться. Это значит, что каждый из них берет свою фуражку, изо всех сил подбрасывает ее в воздух и бьет по ней влет дробью разного калибра — пятым, шестым, вторым номером, смотря по уговору.

Кому удалось попасть в цель чаще других, того провозглашают королем охоты, и вечером он, как триумфатор, под звуки рогов и лай собак возвращается в Тараскон, а на стволе его ружья красуется изрешеченная фуражка.

Вряд ли стоит говорить, что в городе идет бойкая торговля охотничьими фуражками. Иные шапочники в расчете на незадачливых охотников продают заранее продырявленные, изодранные фуражки, но, кроме аптекаря Безюке, их никто не покупает. Это же нечестно!

Как охотник за фуражками Тартарен из Тараскона не имел себе равных. Каждое воскресное утро он отправлялся на охоту в новой фуражке и каждый воскресный вечер возвращался с фуражкой рваной. В домике с баобабом весь чердак был завален этими славными трофеями. Вот почему тарасконцы считали Тартарена своим предводителем, а так как он знал досконально охотничий устав и прочел научные труды и руководства по всем видам охоты, начиная с охоты за фураж-

ками и кончая охотой на бирманского тигра, то его признавали за верховного охотничьего судью и во всех спорных случаях прибегали к его посредничеству.

Ежедневно, от трех до четырех, у оружейного мастера Костекальда можно было видеть важного толстяка с трубкой в зубах, восседавшего в зеленом кресле посреди магазина, который был битком набит охотниками за фуражками, охотники же стоя переругивались. Это творил суд Тартарен из Тараскона — Нимрод и Соломон в одном лице[3].

III
Нэт! Нэт! Нэт! Еще несколько слов о славном городе Тарасконе

У могучего тарасконского племени страсть к охоте сочетается с другой страстью — к романсам. Городок, кажется, небольшой, а романсы распевают в количестве просто невероятном. Всякого рода сентиментальный хлам всюду у нас давно пожелтел, покоясь в старых-престарых папках,

[3] Примечания: 3

Нимрод — упоминаемый в Библии царь вавилонский, охотник и зверолов; его имя стало нарицательным для охотника, как имя царя Соломона — для мудрого судьи.

зато в Тарасконе он вечно молод и вечно свеж. Все, все они тут. У каждой семьи свой любимый романс, и в городе это хорошо известно. Известно, например, что любимый романс аптекаря Безюке:

Сияй, о звездочка моя…

Оружейника Костекальда:

Придешь ли ты в тот край лачуг убогих?

Податного инспектора:

Ах, будь я невидимкой,
Меня б не увидать!
(Шуточная песенка)

И так у всех тарасконцев. Два-три раза в неделю они собираются друг у друга и поют. Замечательно, что это всегда одни и те же романсы и что, сколько ни поют их славные тарасконцы, ни у кого никогда не возникало желания разучить что-нибудь новенькое. Романсы переходят по наследству от отца к сыну, и никто ничего не меняет: это священно. Более того, никто ни у кого не перенимает. Костекальдам никогда бы не пришло в голову спеть романс Безюке, а Безюке

— спеть романс Костекальдов. Кажется, за сорок лет романсы должны бы набить им оскомину. Но нет! Каждый крепко держится за свой романс, и все довольны.

По части романсов, как и по части фуражек, первое место занимал Тартарен. Превосходство его зиждилось вот на чем: у Тартарена из Тараскона не было своего романса. Его собственностью были все романсы.

Все!

Однако заставить его спеть не мог бы и сам черт. Пресыщенный сплошными успехами, герой Тараскона предпочитал погружаться в чтение книг про охоту или проводить вечера в Клубе, нежели рисоваться у нимского фортепьяно при свете двух тарасконских свечей. Принимать участие в этих музыкальных вечерах он считал ниже своего достоинства… И все же, когда в аптеке у Безюке шел домашний концерт, он иной раз как бы невзначай туда заходил и, уступая настойчивым просьбам, соглашался спеть со старой г-жой Безюке знаменитый дуэт из «Роберта Дьявола»[4]…

---

[4] Примечания: 4

«Роберт Дьявол» — опера Джакомо Мейербера на либретто Скриба и Делавиня (1831 г.). Упомянутый ниже «дуэт», а вернее, арию сопрано с репликами тенора, поет сицилийская принцесса Изабелла своему жениху Роберту, сыну посланца Сатаны и норманнской королевы.

Кто этого не слышал, тот ничего не слыхал… Проживи я еще хоть сто лет, я до самой смерти не забуду, как великий Тартарен торжественно направлялся к фортепьяно, облокачивался, строил гримасу и старался придать своему добродушному лицу, на которое падал зеленый свет от шаров аптечной витрины, демоническое, свирепое выражение Роберта Дьявола. Едва он принимал позу, как по всему залу пробегал трепет: казалось, сейчас произойдет нечто необычайное… И вот, после некоторого молчания, старая г-жа Безюке, сама себе аккомпанируя, начинала:

В тебя я верю свято,
Тобой душа полна,
Но я потрясена (2 раза),
Так не губи ж себя ты
И не губи меня!

Тут она шепотом говорила: «Теперь вам, Тартарен», — и Тартарен из Тараскона, вытянув руку, сжав кулак и раздув ноздри, трижды произносил ужасным голосом, который, точно удар грома, раскатывался в недрах фортепьяно: «Нет!.. Нет!.. Нет!..» — причем у него, как у настоящего южанина, это звучало: «Нэт!.. Нэт!.. Нэт!..» Тогда старая г-жа Безюке повторяла еще раз:

Так не губи ж себя ты
И не губи меня!

— *Нэт!.. Нэт!.. Нэт!..* — еще громче ревел Тартарен, и тут все и кончалось… Как видите, пение длилось недолго, но выходило это у него так сильно, так выразительно, до того сатанински, что вся аптека содрогалась от ужаса, и его потом еще несколько раз заставляли повторить: «Нэт!.. Нэт!..»

Наконец Тартарен отирал лоб, улыбался дамам, подмигивал мужчинам, а затем, после такого триумфа, шел в Клуб и там небрежно ронял:

— Я сейчас пел у Безюке дуэт из «Роберта Дьявола».

И он сам этому верил — вот что удивительнее всего!..

IV
Они!

Тартарен из Тараскона пользовался в городе большим влиянием, и этим он был всецело обязан своим разносторонним способностям.

Во всяком случае, одно можно сказать наверное: этот хват сумел покорить всех.

Армия в Тарасконе была за Тартарена. Бравый командир Бравида, он же каптенармус в отставке, говорил о нем: «Он у нас молодец!» — а уж кто-кто, но Бравида, стольких обмундировав на своем веку, должен был разбираться, кто молодец, а кто нет.

Судейское сословие тоже было за Тартарена. Председатель суда, старик Ладевез, не раз говорил о нем на заседаниях:

— Вот это характер!

Наконец, за Тартарена был народ. Его могучее телосложение, поступь, повадка боевого коня, которому не страшна никакая пальба, слава героя, неизвестно откуда взявшаяся, а также неоднократные раздачи медяков и тумаков маленьким чистильщикам, которые располагались у его калитки, сделали из него местного лорда Сеймура[5], любимца тарасконских рынков. В воскресенье вечером, когда Тартарен во фланелевой куртке с поясом возвращался с охоты, вздев фуражку на ружейный ствол, ронские грузчики на пристани почтительно кланялись ему и, подмигивая друг

[5] Примечания: 5

Лорд Сеймур Генри (1805-1859) — английский лорд, всю жизнь проживший во Франции, основатель парижского Жокей-клуба; приобрел своими чудачествами большую популярность среди народа, который прозвал его «милорд подонок».

другу на мощные бицепсы, игравшие на его руках, переговаривались восхищенным шепотом:

— Ну и силач!.. У него *двойные мускулы*!

Двойные мускулы!

Только в Тарасконе можно услышать нечто подобное!

Однако, наперекор всему, несмотря на многообразие талантов, на двойные мускулы, на любовь народа и лестное мнение бравого командира Бравида, то бишь каптенармуса в отставке, Тартарен не был счастлив: жизнь в маленьком городишке тяготила, угнетала его. Великому тарасконцу скучно было в Тарасконе. В самом деле: для такой героической натуры, для такой отважной и пылкой души, бредившей битвами, скачкою в пампасах, грандиозной охотой, песками пустынь, смерчами и ураганами, непременные воскресные облавы на фуражки и судебные разбирательства у оружейника Костекальда — все это было слишком мелко… Милый, бедный великий человек! Ну как тут было не зачахнуть с тоски!

Тщетно, стремясь расширить кругозор и немного отдохнуть от Клуба и от Рыночной площади, окружал он себя баобабами и другими африканскими растениями; тщетно вешал одно оружие на другое, один малайский крисс на другой;

тщетно забивал себе голову чтением романов и, подобно бессмертному Дон Кихоту, пытался силою своей мечты вырваться из тисков беспощадной действительности… Увы! Что бы ни предпринимал он для утоления жажды приключений, все только распаляло ее. Один вид многочисленного оружия держал его в состоянии неутихающего гнева и раздражения. Стрелы и лассо взывали к нему: «На бой! На бой!» В ветвях баобаба шелестел ветер далеких странствий и нашептывал ему опасные советы. А тут еще Густав Эмар и Фенимор Купер…

Сколько раз в душные летние дни, окруженный мечами, в полном одиночестве читая книгу, Тартарен внезапно вскакивал, рыча бросал книгу, устремлялся к стене и срывал с гвоздя какое-нибудь оружие!

Бедняга забывал, что он у себя дома, в Тарасконе, что на нем фуляровый платок и кальсоны, — он претворял только что прочитанное в жизнь и, возбуждаясь от звука собственного голоса, кричал, потрясая топором или томагавком:

— Теперь пусть только они ворвутся!

Они? Кто *они*?

Тартарен и сам толком не знал… *Они* — это все, что нападает, воюет, кусает, разрывает когтями,

скальпирует, воет, ревет… *Они* — это краснокожий сиу, пляшущий вокруг столба, к которому привязан несчастный белый. Это бурый медведь Скалистых гор, который переваливается с ноги на ногу и облизывается окровавленным языком. Затем это туарег, кочующий в пустыне, малайский пират, абруццкий бандит… Наконец, *они* — это просто *они!..Они* — значит война, путешествия, приключения, слава.

Но увы! Сколько ни звал *их* бесстрашный тарасконец, сколько ни вызывал *их* на бой — *они* все не шли… Да и что бы они, горемыки, стали в Тарасконе делать?

А Тартарен между тем все-таки их поджидал; особенно по вечерам, отправляясь в Клуб.

V
Тартарен отправляется в Клуб

Рыцарь-тамплиер, собирающийся сделать вылазку против осадивших его неверных, китайский солдат, под знаменем тигра[6] готовящийся к схватке, воинственный команч, выходящий

[6] Примечания: 6

В армии Китая воинские соединения различались по эмблемам на знаменах.

на тропу войны, — все это ничто в сравнении с Тартареном из Тараскона, вооружающимся с головы до ног перед тем, как отправиться в Клуб, а отправляется он туда в девять вечера, через час после вечерней зори.

«К бою готовьсь!» — как говорят матросы.

На левую руку Тартарен надевал железную перчатку с шипами, в правую брал трость со шпагой внутри, в левом кармане у него был кастет, в правом — револьвер. На груди, между сюртуком и жилеткой, скрывался малайский крисс. Но уж насчет отравленных стрел — ни-ни! Это — оружие вероломное!..

Перед самым уходом он в тишине и сумраке кабинета некоторое время упражнялся: фехтовал, стрелял в стену, играл мускулами, затем брал ключ от калитки и важною медлительною поступью шел через сад. По-английски, господа, по-английски! Вот она, истинная храбрость! Пройдя сад, он отворял тяжелую железную калитку. Он отворял ее рывком, так что снаружи она ударялась об ограду… Если бы *они* стояли за оградой, от *них* бы мокрого места не осталось!.. Вот только, к несчастью, *они* не стояли за оградой.

Тартарен выходил за калитку, мгновенно оглядывался по сторонам, поспешно запирал калитку

двойным поворотом ключа и — в путь!

На Авиньонской дороге ни одной живой души. Двери заперты, огни погашены. Темным-темно, лишь кое-где в ронском тумане мигает фонарь…

Величавый и непоколебимый, Тартарен из Тараскона мерно шагал в ночном мраке, высекая из булыжника искры железным наконечником трости… Где бы он ни шел — по бульвару, по улице или по переулку, он неизменно держался середины дороги, что является весьма благоразумной мерой предосторожности, ибо так вы всегда увидите надвигающуюся опасность, а главное — так вам не грозит нечто, иной раз выливающееся по вечерам из окон на тарасконские улицы. Подобная осмотрительность вовсе не означала, однако, что Тартарен испытывал страх… Нет, он только остерегался!

Лучшее доказательство того, что Тартарен не испытывал страха, заключается в следующем: в Клуб он шел не бульварами, а через весь город, то есть самым длинным, самым темным путем, бесконечно колеся по всяким мерзким закоулкам, в конце которых зловеще поблескивала Рона. Бедняга все надеялся, что на повороте одной из таких трущоб внезапно вырастут из темноты *они* и бросятся на него сзади. *Им* бы не поздоровилось,

можете мне поверить… Но по иронии судьбы ни разу, ну то есть ни разу в жизни, Тартарену не повезло на неприятную встречу. Хоть бы собака, хоть бы пьяный. Никого!

Изредка все же фальшивая тревога бывала. Шаги, приглушенные голоса… «Внимание!» — говорил себе Тартарен, замирал на месте, вглядывался в темноту, нюхал воздух, по способу индейцев припадал ухом к земле… Шаги приближались. Голоса звучали отчетливее. Сомнений нет! Это *они! Они* сейчас подойдут.

И вот уже Тартарен с загоревшимся взглядом, тяжело дыша, весь подобрался, точно ягуар, вот сейчас он прыгнет, издав воинственный крик, как вдруг из темноты слышатся приветливые голоса тарасконцев, спокойно окликающих его:

— Э! Глянь-ка… Да это Тартарен! Здравствуйте, Тартарен!

Проклятие! Это аптекарь Безюке с семейством, — он только что спел свой романс у Костекальдов.

— Добрый вечер! Добрый вечер! — в ярости, что обознался, цедил сквозь зубы Тартарен и, с остервенением взмахнув тростью, исчезал во тьме.

Прежде чем войти в Клуб, бесстрашный тарасконец еще некоторое время расхаживал в

ожидании взад и вперед возле дома… Наконец ему надоедало *их* ждать, и, окончательно убедившись, что *они* и на сей раз не появятся, Тартарен бросал последний вызывающий взгляд в темноту и злобно шептал: «Никого!.. Никого!.. Никогда — никого!»

Затем доблестный муж садился играть с капитенармусом в безик.

VI
Два Тартарена

Как же, черт побери, могло случиться, что с этой страстью к приключениям, с этой потребностью в сильных ощущениях, с этим помешательством на странствиях, на бешеной скачке очертя голову Тартарен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе?

А между тем это так. Бесстрашный тарасконец дожил до сорока пяти лет и ни разу не ночевал за городом. Он не совершил даже пресловутого путешествия в Марсель, которым каждый уважающий себя провансалец отмечает свое совершеннолетие. Дальше Бокера он не заходил, а ведь это уж не так далеко — только мост перейти. К несчастью, проклятый мост так часто

сносило бурей и потом он такой длинный, такой непрочный, а Рона в этом месте такая широкая, что… словом, вы меня понимаете, Тартарен из Тараскона предпочитал сушу.

У нашего героя, надо сознаться, были две совершенно разные натуры. «Я чувствую в себе двух человек», — сказал кто-то из отцов церкви. С полным правом это можно было бы сказать о Тартарене, ибо у него была душа Дон Кихота: те же рыцарские порывы, тот же идеал героизма, то же помешательство на всем необычайном и великом, но, к несчастью, он не обладал телом прославленного идальго, телом костлявым и тощим, этим подобием тела, для которого жизнь материальная не таила в себе никаких соблазнов, способного двадцать ночей не снимать доспехов и двое суток питаться горсточкой риса… Напротив, тело у Тартарена было солидное, весьма упитанное, весьма грузное, весьма плотоядное, весьма изнеженное, весьма привередливое, отличавшееся чисто обывательскими наклонностями, любившее удобства, — пузатое и коротконогое тело бессмертного Санчо Пансы.

Дон Кихот и Санчо Панса в одном лице! Вы не можете себе представить, до чего трудно им было ужиться! Вечные стычки! Вечные раздоры!.. Вот

вам чудный диалог между двумя Тартаренами, Тартареном — Дон Кихотом и Тартареном — Санчо, — диалог, достойный пера Лукиана или Сент-Эвремона…[7]

Тартарен — Дон Кихот, начитавшись Густава Эмара, приходит в возбуждение и восклицает:

— Я уезжаю!

Тартарен — Санчо, помышляя только о своем ревматизме, говорит:

— Я остаюсь.

Тартарен — Дон Кихот *(в крайнем возбуждении).* Покрой себя славой, Тартарен!

Тартарен — Санчо *(крайне хладнокровно).* Тартарен, прикройся фланелью!

Тартарен — Дон Кихот *(все сильнее и сильнее возбуждаясь).* О, славные двустволки! О, кинжалы, лассо, мокасины!

Тартарен — Санчо (все хладнокровнее и хладнокровнее). О, милые вязаные жилеты! О, милые теплые-претеплые наколенники! О, славные фуражки с наушниками!

Тартарен — Дон Кихот *(вне себя).* Топор!

---

[7] Примечания: 7

Лукиан (ок.120 — ок.180) — греческий писатель, создавший жанр сатирического диалога; жанр этот был распространен в литературе, его разрабатывал Шарль де Сент-Эвремон (1613-1703), французский маршал и писатель.

Дайте мне топор!

Тартарен — Санчо (звонит горничной). Жаннета, шоколаду!

Жаннета приносила дивный шоколад, горячий, душистый, с пеночкой, и вкусные анисовые сухарики, и при виде этого Тартарен — Санчо заливался смехом, заглушая крики Тартарена — Дон Кихота.

Вот почему так получалось, что Тартарен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе.

VII

Европейцы в Шанхае. Международная торговля. Монголы. Был ли Тартарен из Тараскона обманщиком? Мираж

И все же однажды Тартарен чуть было не уехал в далекое путешествие.

Три брата Гарсиа-Камюс, тарасконцы, обосновавшиеся в Шанхае, предложили ему заведовать там одною из их торговых контор. О такой-то жизни он как раз и мечтал. Большие дела, целая армия подчиненных, сношения с Россией, Персией, Турцией — короче говоря, международная торговля. Надо было слышать, как торжественно

звучали в устах Тартарена эти слова: «Международная торговля!..»

Торговый дом Гарсиа-Камюс, кроме всего прочего, имел то преимущество, что на него время от времени нападали монголы. Тут уж все двери на запор. Служащие брались за оружие, над зданием взвивался консульский флаг, и — бах! бах! — по монголам из окон.

Мне нет надобности говорить вам, с каким восторгом принял это предложение Тартарен — Дон Кихот; к несчастью, Тартарен — Санчо тянул к себе, а так как он всегда перетягивал, то все и разладилось.

В городе об этом было немало толков. Уедет? Не уедет? Бьемся об заклад, что да. Бьемся об заклад, что нет. Это было настоящее событие… Тартарен так и не уехал, но все же эта история послужила ему к чести. Для Тараскона чуть-чуть не уехать в Шанхай — все равно что уехать. Столько было разговоров о путешествии Тартарена, что в конце концов всем стало казаться, что он уже вернулся из путешествия, и по вечерам клубные завсегдатаи расспрашивали его о жизни в Шанхае, о местных нравах, климате, опиуме, о международной торговле.

Тартарен, знаток в этой области, охотно со-

общал все подробности, а с течением времени доблестный муж и сам поверил, что ездил в Шанхай, и, рассказывая в сотый раз о налете монголов, он уже, не моргнув глазом, говорил:

— Тогда я вооружаю моих служащих, поднимаю консульский флаг, и — бах, бах! — по монголам из окон.

При этих словах весь Клуб содрогался…

— Но в таком случае ваш Тартарен — отъявленный лгун.

— Нет! Вовсе нет! Тартарен не лгун…

— Но ведь он же отлично знал, что не был в Шанхае!

— Конечно, знал. А вот…

А вот послушайте, что я вам скажу. Нужно самым решительным образом заявить, что репутация лгунов, которую северяне создали южанам, не соответствует действительности. На юге нет лгунов — ни в Марселе, ни в Ниме, ни в Тулузе, ни в Тарасконе. Южанин не лжет — он заблуждается. Он не всегда говорит правду, но он сам верит тому, что говорит… Его ложь — это не ложь, это своего рода мираж…

Да, мираж!.. А чтобы в этом удостовериться, поезжайте-ка на юг — увидите сами. Вы увидите страну чудес, где солнце все преображает и все

увеличивает в размерах. Вы увидите, что провансальские холмики высотой не более Монмартра покажутся вам исполинскими, а что античный храм в Ниме[8] — эту комнатную безделушку — можно принять за Собор Парижской богоматери. Вы увидите… Ах, если есть на юге лгун, то только один — солнце!.. Оно увеличивает все, к чему ни прикоснется!.. Что представляла собою Спарта в пору своего расцвета? Обыкновенный поселок. Что представляли собою Афины? В лучшем случае — провинциальный городишко… И все же в истории они рисуются нам как два огромных города. Вот что из них сделало солнце…

Так нечего после этого удивляться, что то же самое солнце, озаряя Тараскон, сумело превратить отставного каптенармуса Бравида в бравого командира Бравида, репу — в баобаб, а человека, чуть было не уехавшего в Шанхай, — в человека, там побывавшего!

---

[8] Примечания: 8

Римский храм в Ниме, известный под именем «Квадратный дом» и построенный в 16 году до н.э.; он имеет 25 метров в длину и 12 метров в ширину.

VIII
Зверинец Митен. Атласский лев в Тарасконе. Торжественная и грозная встреча

А теперь, показав частную жизнь Тартарена из Тараскона до того, как слава коснулась его чела и увенчала неувядаемыми лаврами, поведав о том, как протекала жизнь этого героя в обычной обстановке, поведав его радости, горести, мечты и надежды, поспешим перейти к самым ярким страницам его биографии и к тому необычайному происшествию, после которого беспримерная судьба Тартарена так высоко его вознесла.

Это было однажды вечером, у оружейника Костекальда. Тартарен из Тараскона показывал нескольким любителям устройство игольчатого ружья, которое тогда еще только-только входило в моду… Вдруг дверь отворяется, и в магазин вбегает испуганный охотник за фуражками.

— Лев!.. Лев!.. — кричит он.

Всеобщее оцепенение, ужас, растерянность, кутерьма. Тартарен берет ружье на изготовку. Костекальд спешит запереть дверь. Все обступают

охотника, забрасывают вопросами, наседают на него, и в конце концов выясняется следующее: зверинец Митен, возвращаясь с Бокерской ярмарки, остановился на несколько дней в Тарасконе и только что со всеми своими удавами, тюленями, крокодилами и великолепным атласским львом расположился на Замковой площади.

Атласский лев в Тарасконе! Это что-то небывалое. О, как гордо переглянулись тут наши бравые охотники за фуражками, как просияли их мужественные лица и какими крепкими рукопожатиями молча обменялись они во всех углах оружейного магазина! Волнение было столь велико, столь внезапно, что никто не вымолвил слова…

Даже сам Тартарен. Бледный, дрожащий, все еще не выпуская из рук игольчатого ружья, он стоял в раздумье возле прилавка. Атласский лев, здесь, совсем близко, в двух шагах! Лев! Царь зверей, славящийся своей отвагой и свирепостью, предел охотничьих мечтаний Тартарена, нечто вроде премьера той фантастической труппы, которая разыгрывала в его воображении такие чудесные драмы!..

Господи боже мой, лев!..

Да еще атласский! Этого великий Тартарен

вынести не мог…

Вся кровь бросилась ему в голову.

Глаза у него засверкали. Судорожным движением он вскинул игольчатое ружье на плечо и, обращаясь к бравому командиру Бравида, то бишь к каптенармусу в отставке, громовым голосом произнес:

— Идемте, командир!

— Э, э!.. Э, э!.. А мое ружье?.. Вы взяли мое ружье!.. — попытался робко возразить осторожный Костекальд, но Тартарен уже вышел на улицу, а за ним гордо вышагивали все охотники за фуражками.

Когда они вошли в помещение зверинца, там уже толпился народ. Тарасконцы, племя героическое, но отвыкшее от потрясающих зрелищ, ринулись к балагану и взяли билеты с бою. Пышнотелая г-жа Митен была очень довольна… В кабильском костюме, с обнаженными до локтей руками, с железными браслетами на щиколотках, с хлыстом в одной руке и с живым, но уже ощипанным цыпленком в другой, эта знаменитая дама обходилась с тарасконцами крайне любезно, а так как и у нее были двойные мускулы, то она пользовалась у гостей не меньшим успехом, чем ее питомцы.

Появление Тартарена с ружьем заставило всех вздрогнуть.

На всех этих храбрых тарасконцев, которые только что совершенно спокойно прогуливались подле клеток, безоружные, беспечные, никакой опасности не подозревавшие, напал вполне понятный страх при виде их великого Тартарена, с ужасающим смертоносным оружием вошедшего в балаган. Значит, тут есть чего бояться, если даже он, герой... В мгновение ока толпа отхлынула от клеток. Дети испуганно кричали, дамы поглядывали на дверь. Аптекарь Безюке под тем предлогом, что идет за ружьем, улизнул...

Однако мало-помалу поведение Тартарена ободрило смельчаков. Невозмутимый, с высоко поднятой головой, бесстрашный тарасконец медленным шагом обошел весь балаган, ни на минуту не задержался возле бассейна с тюленем, бросил презрительный взгляд на длинный, усыпанный отрубями ящик, где удав переваривал живого цыпленка, и как вкопанный остановился перед клеткою льва...

Торжественная и грозная встреча! Лев Тараскона и лев Атласа лицом к лицу... По одну сторону Тартарен, выставив ногу вперед, обеими руками оперся на ружье, по другую сторону лев, испо-

линский лев, разлегшись на соломе, положил свою головищу с желтой гривой на передние лапы и осовело моргает… Оба спокойно глядят друг на друга.

Но — странное дело! То ли игольчатое ружье раздражило льва, то ли почуял он врага всей львиной породы, только лев, до сих пор смотревший на тарасконцев с царственным пренебрежением и зевавший им в лицо, внезапно разгневался. Сначала он фыркнул, глухо заворчал, выпустил когти, потянулся, затем встал, поднял голову, тряхнул гривой, разинул чудовищную пасть и устрашающе зарычал на Тартарена.

Вопль ужаса был ему ответом. Обезумевшие тарасконцы бросились к выходу. Бросились все: женщины, дети, грузчики, охотники за фуражками, даже бравый командир Бравида… Один лишь Тартарен из Тараскона не пошевельнулся… Исполненный решимости, непоколебимый, он по-прежнему стоял перед клеткой, и глаза его метали молнии, а лицо приняло знакомое всему городу свирепое выражение… Мгновение спустя, когда охотники за фуражками, которых несколько успокоило его поведение, а также прочность решеток, приблизились к своему вождю, они услышали, как он, глядя на льва, прошептал:

— Да, вот это охота!

В тот день Тартарен из Тараскона не сказал больше ни слова.

IX
Особого рода мираж

В тот день Тартарен из Тараскона не сказал больше ни слова, но, на свою беду, он уже слишком много сказал…

На другой день в городе только и разговору было что о предстоящем отъезде Тартарена в Алжир и об охоте на львов. Будьте свидетелями, дорогие читатели, что сам доблестный муж об этом и не заикнулся, но, понимаете ли, мираж…

Словом, весь Тараскон только и говорил что об его отъезде.

На бульваре, в Клубе, у Костекальда люди взволнованно подбегали друг к другу:

— Ну что, слыхали?.. Про отъезд Тартарена, а?

Нужно заметить, что в Тарасконе все фразы начинаются с «ну что», и произносится это: «ну чтэ», а кончаются неизменным «а», и произносится это: «э».

В тот день, чаще чем когда-либо, эти «э» и «ну чтэ» гремели так, что стекла звенели.

Больше всех был удивлен, узнав, что он едет в Африку, сам Тартарен. Но вот что значит тщеславие! Вместо того чтобы прямо сказать, что он никуда и не собирается ехать, что у него и в мыслях этого никогда не было, бедняга Тартарен в первый раз, как с ним заговорили об этом путешествии, уклончиво промямлил:

— Гм… Гм… Возможно… Пока еще ничего не могу вам сказать.

Во второй раз, уже несколько свыкшись с этой мыслью, он ответил:

— Вероятно.

В третий раз:

— Решено.

Наконец, вечером, сначала в Клубе, а потом и у Костекальдов, воодушевленный пуншем, рукоплесканиями, ярким освещением, упоенный успехом, какой имела в городе весть об его отъезде, несчастный торжественно заявил, что ему наскучила охота за фуражками и что в ближайшее время он едет охотиться на крупных атласских львов…

Сообщение это было встречено оглушительным «ура». Затем снова пунш, рукопожатия, объятия и — до полуночи — серенады с факелами перед домиком с баобабом.

Недоволен был только Тартарен — Санчо. Его брала оторопь при одной мысли о путешествии в Африку и об охоте на львов. Вернувшись домой, он, в то время как под окнами в честь хозяина все еще раздавались серенады, устроил Тартарену — Дон Кихоту ужасную сцену, назвал его помешанным, фантазером, сумасбродом, трижды безумцем и во всех подробностях описал бедствия, которыми грозит ему эта экспедиция: кораблекрушения, ревматизм, тропическая лихорадка, дизентерия, чума, слоновая болезнь, проказа и тому подобное…

Напрасно Тартарен — Дон Кихот клялся, что будет осторожен, что будет тепло одеваться, что запасется в дорогу всем необходимым, Тартарен — Санчо ничего не хотел слушать. Бедняге чудилось, что его уже растерзали львы, что его, словно Камбиза[9], засосали пески пустыни, и другому Тартарену только тогда удалось немного успокоить его, когда он ему объяснил, что это еще не так скоро, что спешить некуда и что, собственно говоря, они же еще не уехали.

В самом деле: ведь никто не пускается в такое путешествие без надлежащей подготовки. Это,

---

[9] Примечания: 9

Камбиз (VI в. до н.э.) — второй царь Персидской державы, покоривший Египет и погибший на обратном пути.

черт возьми, дело нешуточное, налегке туда не полетишь.

Прежде всего тарасконец решил перечитать все книги знаменитых путешественников по Африке, путевые очерки Мунго Парка, Кайе, доктора Ливингстона и Анри Дюверье[10].

В книгах этих он вычитал, что бесстрашные следопыты, прежде чем пускаться в дальние странствия, долгое время приучали себя обходиться без еды, без питья, приучали себя к форсированным переходам, ко всякого рода лишениям. По их примеру Тартарен начал питаться одной *кипяченой водичкой. Кипяченой водичкой* тарасконцы называют горячую воду с плавающими в ней ломтиками хлеба, головкой чесноку, тмином и лавровым листом. Диета строгая, — можете себе представить, как морщился при виде этого блюда бедняга Санчо!..

---

[10] Примечания: 10

Шотландский путешественник Мунго Парк (1771-1806), обошедший пешком Центральную Африку, написал книгу «Путешествие по Центральной Африке» (Лондон, 1798). Рене Кайе (1799-1838) — французский путешественник, первым из европейцев проникший в Тимбукту на Нигере, издал в Париже в 1830 году отчет о своем многолетнем путешествии. Великий путешественник Дэвид Ливингстон (1813-1873) — автор двух книг: «Популярный отчет о миссионерских поездках и исследованиях в Южной Африке» (Лондон, 1861) и «Рассказ об экспедиции к Замбези» (Лондон, 1865); изданы были и дневники его последнем путешествия. Анри Дюверье (1840-1892) — французский исследователь Сахары, написал книгу «Северные туареги» (Париж, 1864).

К питанию *кипяченой водичкой* Тартарен из Тараскона присовокупил и другие разумные меры. Во-первых, чтобы привыкнуть к долгим переходам, он заставлял себя каждое утро раз семь-восемь подряд обходить город — то скорым шагом, то гимнастическим, прижав локти к туловищу и, по обычаю древних, держа во рту два белых камешка[11].

Затем, чтобы не бояться ночной прохлады, тумана, росы, он каждый вечер выходил в сад и, спрятавшись за баобаб, выстаивал с ружьем часов до десяти, до одиннадцати.

Наконец, пока зверинец Митен оставался в Тарасконе, охотники за фуражками, поздней ночью возвращавшиеся от Костекальда домой через Замковую площадь, могли видеть во мраке таинственную фигуру, неизменно расхаживавшую взад и вперед за балаганом.

Это Тартарен из Тараскона приучал себя слушать без содрогания львиный рык в ночной темноте.

---

[11] Примечания: 11

По преданию, знаменитый афинский оратор Демосфен (384-322 гг. до н.э.), чтобы излечиться от косноязычия, произносил на берегу моря речи, держа во рту камешки. Тартарен спутал цель этого упражнения.

X
Перед отъездом

Пока Тартарен применял всякого рода героические средства, взоры Тараскона были обращены на него; никто ни о чем другом и не думал. Охота за фуражками влачила самое жалкое существование, романсы сходили на нет. Фортепьяно в аптеке Безюке изнывало от скуки под зеленым чехлом, на котором сохли, брюшком кверху, шпанские мухи… Из-за экспедиции Тартарена вся жизнь в городе замерла.

Надо было видеть, какой успех имел тарасконец в гостиных! Его рвали на части, за него боролись, его выпрашивали друг у друга на время, его похищали. Наивысшим счастьем для дамы было пойти с Тартареном под руку в зверинец Митен и послушать его объяснения перед клеткой со львом: как нужно охотиться на этих лютых зверей, куда целиться, с какого расстояния, как часто бывают несчастные случаи, и т.д. и т.д.

Тартарен отвечал на любые вопросы. Он прочи-

тал Жюля Жерара[12] и знал все приемы охоты на львов как свои пять пальцев, точно сам вдоволь на них поохотился. И рассказывал он об этом необыкновенно увлекательно.

Но особенно хорош он был вечерами, у председателя суда Ладевеза или у бравого командира Бравида, то бишь каптенармуса в отставке, когда после ужина подавалось кофе, сдвигались стулья и по просьбе присутствующих он начинал рассказ о своей будущей охоте…

Облокотившись на стол и придвинув к себе чашку с кофе, герой сдавленным от волнения голосом рассказывал о тех опасностях, которые ожидали его в дальних краях. Он говорил о долгих засадах в безлунные ночи, о малярийных болотах, о реках, отравленных олеандровыми листьями, о снегах, о палящем солнце, о скорпионах, о тучах саранчи; еще он говорил о повадках крупных атласских львов, о том, как они нападают, об их необычайной силе, об их свирепости в период спаривания…

Затем, воспламененный своим собственным рассказом, он вскакивал из-за стола и, выбежав

---

[12] Примечания: 12

Жюль Жерар (1817-1864) — знаменитый охотник на львов, офицер, служивший в Алжире; автор книг «Охота на львов» и «Истребитель львов».

на середину столовой, подражал львиному рыку, выстрелу из карабина — бах! бах! — свисту разрывной пули — фюить! фюить! — размахивал руками, рычал, опрокидывал стулья…

Зрители бледнели. Мужчины переглядывались, качали головами, дамы закатывали глаза, тихонько взвизгивая от ужаса, старики воинственно потрясали своими длинными палками, а в соседней комнате мальчуганы, которых спозаранку укладывали спать, проснувшись от рычания и выстрелов, пугались и просили зажечь свет.

А между тем Тартарен все не уезжал.

XI
На шпагах, господа, на шпагах… Но не на булавках!

Да и собирался ли он уехать?.. Биограф Тартарена затруднился бы ответить на этот щекотливый вопрос.

Так или иначе, зверинец Митен выехал из Тараскона три с лишним месяца тому назад, а истребитель львов по-прежнему не трогался с места… Как знать: быть может, простодушный герой наш, ослепленный новым миражем, сам

глубоко поверил, что уже съездил в Алжир. Быть может, когда он повествовал о своей будущей охоте, воображению его рисовалось, что он уже поохотился на львов, — рисовалось не менее отчетливо, чем консульский флаг, который он вывешивал в Шанхае, и стрельба, которую он — бах! бах! — открывал по монголам.

К несчастью, если Тартарен из Тараскона и на сей раз оказался жертвой миража, то все остальные тарасконцы этого избежали. Когда, после трехмесячного ожидания, выяснилось, что охотник еще и одного чемодана не уложил, поднялся ропот.

— Это будет как с Шанхаем! — усмехаясь, говорил Костекальд.

Словцо оружейника имело в городе огромный успех, ибо никто уже не верил в Тартарена.

Простаки и трусы вроде Безюке, которые и от блохи готовы броситься наутек и которые, прежде чем выстрелить, непременно жмурятся, — они-то как раз были особенно беспощадны. В Клубе, на эспланаде — всюду с насмешливым видом подходили они к бедному Тартарену:

— *Ну чтэ*, как же наше путешествие?

В магазине Костекальда к мнению Тартарена никто больше не прислушивался. Охотники за

фуражками отреклись от своего вождя!

Затем посыпались эпиграммы. Председатель суда Ладевез, который в часы досуга охотно приударял за провансальской музой, сочинил на местном наречии песенку, получившую широкое распространение. В ней шла речь об одном знаменитом охотнике по имени мэтр Жерве, грозное оружие которого должно было истребить всех африканских львов поголовно. К несчастью, его окаянное ружье отличалось странной особенностью: сколько ни спускай курок, *а пуля все ни с места.*

А пуля все ни с места! Вы понимаете намек?..

Никто и оглянуться не успел, как песенку подхватил народ, и, когда Тартарен шел по улице, грузчики на пристани и маленькие чистильщики у его калитки распевали хором:

Ружье на славу у Жерве,
Заряжено исправно.
Ружье на славу у Жерве,
А пуля все ни с места.

Однако при его приближении певуны умолкали — во внимание к двойным мускулам.

О, непостоянство тарасконских увлечений!..

Великий человек делал вид, что ничего не

замечает, ничего не слышит, на самом же деле эта подпольная мелочная война, которая велась отравленным оружием, досаждала ему жестоко; он чувствовал, что Тараскон от него уходит, что народ переносит свою любовь на других, и это было ему невыносимо тяжело.

Хорошо подсесть к котлу популярности, но гляди, как бы он не опрокинулся, иначе вот как ошпаришься!..

Затаив душевную боль, Тартарен улыбался и, как ни в чем не бывало, продолжал вести мирный образ жизни.

Однако время от времени личина жизнерадостной беспечности, которую он нацепил на себя из самолюбия, внезапно спадала. Тогда горечь и негодование сгоняли с его лица улыбку…

И вот однажды утром маленькие чистильщики, по обыкновению, распевали у него под окнами «Ружье на славу у Жерве», и голоса этих паршивцев донеслись в комнату к бедному великому человеку в то самое время, когда он сидел перед зеркалом. (Тартарен носил бороду, но она у него росла столь стремительно, что он принужден был постоянно за ней следить.)

Вдруг окно с шумом распахнулось, и Тартарен в одной сорочке, в ночном колпаке, с намыленной

щекой, потрясая бритвой и кисточкой, громовым голосом крикнул:

— На шпагах, господа, на шпагах!.. Но не на булавках!

И вот эти-то замечательные слова, достойные войти в историю, по ошибке были обращены к каким-то соплякам, ростом не выше их ящиков, к рыцарям, совершенно не владеющим шпагой!

XII
Разговор в домике с баобабом

Среди всеобщего отступничества одна только армия сохраняла верность Тартарену.

Бравый командир Бравида, он же каптенармус в отставке, выказывал ему прежние знаки уважения. «Он у нас молодец!» — упорно твердил Бравида, а я склонен думать, что его мнение имело несколько больше веса, чем мнение аптекаря Безюке… Ни разу бравый командир не намекнул Тартарену на путешествие в Африку, однако, видя, что недовольство растет, он решился заговорить об этом прямо.

Однажды вечером, когда несчастный Тартарен сидел один у себя в кабинете и его одолевали мрачные думы, к нему торжественно вошел бра-

вый командир в черных перчатках и застегнутом на все пуговицы сюртуке.

— Тартарен, — внушительно произнес старый каптенармус, — Тартарен, надо ехать!

И он продолжал стоять на пороге, неумолимый и властный, как веление долга.

Тартарен из Тараскона понял, что заключалось в этом; «Тартарен, надо ехать!»

Бледный как полотно, он встал, умиленным взором обвел свой прелестный, уютный, теплый, окутанный мягким светом кабинет, широкое и такое удобное кресло, книги, ковер, длинные белые шторы на окнах, за которыми качались тоненькие веточки, затем подошел к бравому командиру, взял его руку и, крепко пожав ее, со слезами в голосе, но твердо проговорил:

— Я поеду, Бравида!

И он сдержал свое слово; уехал. Но только не сразу… Нужно было собраться.

Прежде всего он заказал Бомпару два больших, окованных медью сундука, снабженных длинными пластинками с надписью:

«ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА. ОРУЖИЕ»

Оковка и гравировка заняли немало времени. Таставену он заказал великолепный дорожный

альбом для дневника и путевых заметок; охота охотой, а ведь в дороге все-таки приходят разные мысли.

Затем он выписал из Марселя целую гору консервов, мясной бульон в таблетках, походную палатку новейшего образца, которую можно было в одну минуту разбить и свернуть, высокие сапоги, два зонта, непромокаемое пальто и синие очки, предохраняющие от глазных заболеваний. Наконец, аптекарь Безюке, составлявший для Тартарена походную аптечку, не поскупился на липкий пластырь, арнику, камфару и уксус для обтираний.

Бедный Тартарен! Он заботился не о себе, — всеми этими мерами предосторожности и трогательными знаками внимания он надеялся утишить гнев Тартарена — Санчо, который, с тех пор как отъезд был решен, не давал ему покоя ни днем, ни ночью.

XIII
Отъезд

Наконец торжественный, великий день настал.

С зарей весь Тараскон был уже на ногах, он

наводнил Авиньонскую дорогу и занял подступы к домику с баобабом.

У окон, на крышах, на деревьях — всюду народ; ронские лодочники, грузчики, чистильщики обуви, мещане, ткачихи, шелкопрядильщицы, члены Клуба — одним словом, весь город; потом бокерцы с того берега, огородники из предместья в повозках с брезентовым верхом, виноделы, восседавшие на стройных мулах, радовавших глаз лентами, кистями, бантами, увеселявших слух бубенцами и колокольчиками, и даже хорошенькие, с голубыми лентами, повязанными вокруг головы, девушки из Арля, сидевшие за спиной у своих кавалеров на крупах серых камаргских лошадок.

Толпа толкалась, теснилась у дома Тартарена, славного г-на Тартарена, который отправлялся к *тэркам* убивать львов.

Для Тараскона Алжир, Африка, Греция, Персия, Турция, Месопотамия составляют одну обширную, весьма неопределенную, почти баснословную страну, и все это вместе называется тэрки (турки).

Охотники за фуражками, гордые триумфом своего вождя, мелькали в этой толпе и оставляли за собой как бы борозды славы.

Перед домиком с баобабом две большие тачки. Время от времени калитка отворяется, и тогда видно, что по саду важно разгуливает несколько человек. Носильщики выносят чемоданы, ящики, спальные мешки и укладывают на тачки.

При появлении каждого нового тюка по толпе пробегает трепет. Предметы называются вслух: «Это походная палатка… А это консервы… Аптечка… Ящики с оружием…» Охотники за фуражками дают пояснения.

Около десяти часов толпа всколыхнулась. Калитка растворилась настежь.

— Он!.. Он!.. — раздался крик.

То был он… Когда он появился, в толпе послышались возгласы изумления:

— *Тэрок*!

— В очках!

В самом деле: Тартарен из Тараскона, уезжая в Алжир, счел своим долгом надеть алжирский костюм. Широкие пузырившиеся шаровары из белого полотна, короткая, на металлических пуговицах куртка в обтяжку, живот стянут красным поясом, шириною в два фута, голая шея, бритая голова, гигантская *шешьЯ* (красная феска) с голубой кистью — и какой длины кистью!.. Сверх того два тяжелых ружья, по одному на каждом плече,

большой охотничий нож за поясом, на животе патронташ, сбоку револьвер в кожаной кобуре. Вот и все…

Ах да, виноват, я совсем забыл про очки, огромные синие очки, — они были весьма кстати, ибо смягчали чересчур свирепый вид нашего героя.

— Да здравствует Тартарен!.. Да здравствует Тартарен! — ревела толпа.

Великий человек улыбнулся, но не поклонился, — ему мешали ружья. Притом теперь он хорошо знал, чего стоит любовь толпы; в глубине души он, может быть, даже проклинал жестоких сограждан, по милости коих он принужден был уехать и бросить свой милый, уютный домик — белый домик с зелеными ставнями… Однако внешне он этого никак не выразил.

Величественный и непреклонный, впрочем, немного бледный, он вышел на шоссе, окинул взором тачки и, удостоверившись, что все в порядке, бодрым шагом двинулся к вокзалу, ни разу даже не оглянувшись на домик с баобабом. Следом за ним шествовали бравый командир Бравида, то бишь каптенармус в отставке, и председатель суда Ладевез, за ними оружейник Костекальд и все охотники, за ними двигались тачки, а замыкал шествие народ.

На вокзале Тартарена встретил сам начальник станции, участник Африканской кампании 1830 года[13]; он долго, с чувством жал ему руку.

Курьерский поезд Париж — Марсель еще не приходил. Тартарен со своей свитой проследовал в зал ожидания. Во избежание давки начальник станции распорядился закрыть за ними решетчатые двери.

Четверть часа Тартарен, окруженный охотниками за фуражками, прохаживался по залам ожидания. Он говорил с ними о своем путешествии, об охоте, обещал каждому прислать по львиной шкуре. Охотники записывались у него на шкуры, как на кадриль.

Спокойный и кроткий, точно Сократ, принимающий цикуту[14], бесстрашный тарасконец для каждого находил ласковое слово, всех одарял улыбками. Со всеми он был прост и приветлив, будто хотел, уезжая, оставить после себя след

---

[13] Примечания: 13

Кампания 1830 года — первый этап захвата Алжира французами: армия под командованием генерала де Бурмона заняла город Алжир и несколько пунктов на побережье, которые стали потом плацдармами для дальнейшего завоевания страны.

[14] Примечания: 14

Греческий философ Сократ (V в. до н.э.) был несправедливо приговорен к смерти афинским судом. По свидетельству его учеников, он, принимая по приговору яд — цикуту, был спокоен и утешал оплакивавших его друзей.

своего обаяния, след сожалений и приятных воспоминаний. Слушая своего вождя, охотники за фуражками прослезились, а некоторые почувствовали даже угрызения совести, как, например, председатель суда Ладевез и аптекарь Безюке.

В углах зала ожидания плакали железнодорожные служащие. Народ, прильнув к решеткам, кричал: «Да здравствует Тартарен!»

Наконец раздался звонок. Глухой грохот и вслед за тем пронзительный свисток потрясли своды вокзала…

— Занимайте места! Занимайте места!

— Прощайте, Тартарен!.. Прощайте, Тартарен!..

— Прощайте все!.. — пробормотал великий человек и запечатлел на щеках бравого командира Бравида поцелуй всему своему милому Тараскону.

Затем он вскочил на подножку и вошел в вагон, где было полно парижанок, и при виде этого странного человека, обвешанного карабинами и револьверами, парижанки обомлели от ужаса.

XIV

Марсельская гавань. Сейчас отходим! Сейчас отходим!

Первого декабря 186… года, в полдень, при свете зимнего провансальского солнца, в чудный ясный, лучистый день, к великому изумлению марсельцев, на улице Канебьер высадился *тэрок*, да еще какой *тэрок!..* Такого они никогда прежде не видели, а уж *тэрок-то* в Марселе, слава тебе господи, предостаточно!

Вряд ли стоит пояснять, что *тэрок*, о коем идет речь, — это Тартарен, великий Тартарен из Тараскона: вместе со своими ящиками, аптечкой и консервами он двигался по направлению к пристани пароходного общества «Туаш», где стоял пакетбот «Зуав», который должен был доставить его *туда*.

В ушах у Тартарена все еще гремели рукоплескания тарасконцев, южное солнце и запах моря пьянили его, и он шел сияющий, гордо подняв голову, с ружьями за плечами, и глядел во все глаза на чудную Марсельскую гавань — он видел ее впервые и был ослеплен… Тарасконцу казалось, что все это сон. Ему представлялось, что он — Синдбад Мореход, скитающийся по одному из сказочных городов «Тысячи и одной ночи».

Всюду, куда ни посмотришь, целый лес мачт и рей, перекрещивающихся в разных направлениях. Флаги всех государств; русские, греческие, шведские, тунисские, американские… Вдоль всей набережной корабли с торчащими, как строй штыков, бушпритами. Под бушпритами наяды, богини, девы Марии и другие деревянные раскрашенные фигуры, по имени которых назван тот или иной корабль. Все это обсосано, обглодано морской водой, все это мокро, покрыто плесенью… Кое-где, меж кораблей, клочок моря, словно широкая муаровая лента, забрызганная маслом… Тучами летающие чайки кажутся сквозь сплетение рей причудливыми пятнами на голубом небе. На всех языках перекликаются юнги.

На набережной, между прорытых от мыловаренных заводов сточных канав с густой темно-зеленой водой, насыщенной растительным маслом и содой, кишит племя таможенных чиновников, комиссионеров, извозчиков с их двуколками, в которые впряжены корсиканские лошадки.

Магазины готового платья, самого разнообразного, закопченные бараки, где матросы варят себе пищу, продавцы трубок, обезьянок, попугаев, канатов, парусины, фантастического как попало наваленного хлама, среди которого можно найти

старые кулеврины, большущие позолоченные фонари, старые тали, старые, поломанные якоря, старые снасти, старые блоки, старые рупоры, подзорные трубы времен Жана Барта и Дюге-Труэна[15], Орут сидящие на корточках продавщицы съедобных ракушек. Матросы проносят котлы с варом, дымящиеся чугуны, громадные корзины с осьминогами, которых они моют в мутноватой воде фонтанов.

Повсюду потрясающее обилие всевозможных товаров: шелковых тканей, минералов, леса, свинцовых болванок, сукон, сахару, стручков, рапса, лакрицы, сахарного тростника. Смесь Востока и Запада. Горы голландского сыру, который генуэзцы красят собственноручно в красный цвет.

А там — хлебная пристань; грузчики, взобравшись на высокие мостки, сыплют на берег зерно из мешков. Зерно потоком золота струится в белом дыму. Мужчины в красных фесках мерным движением трясут его в больших ситах из ослиной кожи, а потом грузят на повозки, и повозки удаляются, сопровождаемые целым полчищем женщин и детей с метелками и корзинками…

---

[15] Примечания: 15

Жан Барт (1651-1702), Дюге-Труэн (1673-1736) — французские военные моряки.

Дальше — док: огромные корабли, лежащие на боку, — их опаливают огнем костров, сложенных из хвороста, и таким образом очищают от водорослей, — реи, погрузившиеся в воду, запах смолы, оглушительный стук, поднимаемый плотниками, которые обшивают деревянные борта судов большими медными листами.

Кое-где между мачтами просветы. В них Тартарену были видны вход в гавань, беспрестанное движение судов, то английский фрегат, отбывавший на Мальту, нарядный, сверкавший чистотой, с офицерами в желтых перчатках, то крупный марсельский бриг: он отчаливал под крики и ругань, а на корме его стоял толстый капитан в сюртуке и шелковой шляпе и подавал команду на провансальском наречии. Иные корабли на всех парусах уносились в море. Иные, залитые солнцем, словно плывя по воздуху из еле видной дали, медленно подходили к гавани.

И потом этот ужасный, немолчный шум: грохот повозок, матросское: «Ставь паруса!» — брань, песни, свистки пароходов, барабаны и горны с форта св. Иоанна, с форта св. Николая, звон колоколов кафедрального собора, звон колоколов церкви св. Виктора. А надо всем этим мистраль: он подхватывает эти гулы, эти возгласы, крутит

их, подбрасывает, сливает со своим собственным ревом, и получается сумасшедшая, дикая, героическая музыка, напоминающая зов мощного путевого рога, при звуках которого хочется куда-то умчаться, унестись далеко-далеко, хочется крыльев.

Под этот манящий звук рога бесстрашный Тартарен из Тараскона и отбыл в страну львов…

ЭПИЗОД ВТОРОЙ.
У тэрок
I
Плавание. Пять положений шешьи. На третий день. Спасите!

Я хотел бы, дорогие читатели, быть не просто художником, а великим художником, чтобы в начале второго эпизода представить вашему взору различные положения, какие принимала *шешья* Тартарена из Тараскона в продолжение его трехдневного плавания на «Зуаве» из Франции в Алжир.

Прежде всего я показал бы вам ее в момент отплытия, на палубе: вот она, героическая, великолепная, венчает прекрасную голову тарасконца. Далее я показал бы вам ее по выходе из гавани, когда «Зуава» начало слегка подбрасывать на волнах: вот она, дрожащая, изумленная, как бы ощущающая первые признаки морской болезни.

Затем я показал бы вам ее в Лионском заливе, когда судно уходило все дальше и дальше от берега, а море заметно хмурилось: вот она борется с ветром, от страха становится торчком на голове

героя, а ее громадная кисть из голубой шерсти топорщится, противоборствуя туману и вихрю… Четвертое положение — в шесть часов вечера, в виду берегов Корсики. Злополучная *шешья* перевешивается через борт и испытующе, с тоской озирает море… Наконец, пятое и последнее положение: в тесной каюте, на узкой койке, похожей на ящик комода, нечто бесформенное, стеная, мечется в отчаянии по подушке. Это *шешья,* та самая *шешья,* у которой был такой геройский вид при отъезде; сейчас она низведена до степени обыкновенного ночного колпака, надвинутого на уши бледному, конвульсивно вздрагивающему больному…

Ах, если бы тарасконцы видели их великого Тартарена, распростертого в ящике от комода, при тусклом, унылом свете, проникающем в иллюминаторы, дышащего противным запахом кухни и мокрого дерева, тошнотворным запахом пакетбота! Если бы они слышали, как он кряхтит при каждом обороте винта, через каждые пять минут требует чаю и пискливым детским голосом бранит официанта, — как бы они раскаялись, что заставили Тартарена уехать!.. Честное слово биографа, бедный *тэрок* являл собою жалкое зрелище. Застигнутый врасплох морской болезнью,

несчастный Тартарен не в состоянии был ослабить свой алжирский пояс, освободиться от своих бранных доспехов. Толстая рукоятка охотничьего ножа давила ему грудь, кобура револьвера врезалась в бок. А в довершение всего — воркотня Тартарена — Санчо, который хныкал и бранился не переставая:

— Дурак ты, дурак!.. Говорил я тебе!.. В Африку ему захотелось... Ну, вот тебе твоя Африка!.. Что, хороша?..

Мучительнее всего было то, что, лежа у себя в каюте, несчастный Тартарен сквозь собственные стоны слышал, как в кают-компании пассажиры ели, смеялись, играли в карты, пели. На «Зуаве» собралось веселое, многолюдное общество. Офицеры, возвращавшиеся в свой полк, дамы из марсельского «Алькасара», странствующие актеры, богатый мусульманин, совершавший очередное паломничество в Мекку, черногорский князь, большой шутник, подражавший Равелю и Жилю Пере...[16] Никто из них морской болезнью не страдал, все они охотно пили шампанское с капитаном «Зуава», тучным марсельцем, кото-

---

[16] Примечания: 16

Равель Пьер-Альфред (1814-1881) — знаменитый французский комик, актер театра Пале-Рояль в Париже. Жиль Пере — актер театра Водевиль.

рый любил пожить в свое удовольствие, имел две семьи — одну в Марселе, другую в Алжире — и которому очень шла его весело звучавшая фамилия Барбасу.

Тартарен из Тараскона ненавидел всех этих дрянных людишек. От их веселья ему становилось еще хуже…

Наконец, в середине третьего дня, на пароходе вдруг поднялся страшнейший переполох, и это вывело нашего героя из состояния длительного оцепенения. На носу зазвонил колокол. По палубе затопали тяжелые матросские сапоги.

— Вперед!.. Задний ход!.. — хриплым голосом кричал капитан Барбасу.

Затем: «Стоп машина!» Остановка, сильный толчок, и все… Пакетбот тихо покачивался, точно воздушный шар на привязи…

Это необычное затишье навело на тарасконца страх.

— Спасите! Тонем! — закричал он диким голосом и, сделав над собой сверхъестественное усилие, вскочил и со всеми своими доспехами устремился на палубу.

II
К оружию! К оружию!

Пароход вовсе не тонул, он просто причаливал.

«Зуав» стал на рейде; вода здесь была глубока и темна, и весь этот красивый, но почти совсем пустынный рейд был мрачен и тих. Напротив, на холме, белел Алжир; его иссиня-белые домики, лепясь один к другому, спускались к морю. Точь-в-точь выставка белья на Медонском холме. А надо всем этим раскинулось синее атласное небо, синее-синее!..

Достославный Тартарен, слегка приободрившись, смотрел вокруг и почтительно внимал черногорскому князю, который, стоя рядом с ним, называл кварталы города: Касбах, Верхний город, Бабассунская улица. Этот черногорский князь был прекрасно воспитан; к тому же он отлично знал Алжир и свободно изъяснялся по-арабски. Приняв все это во внимание, Тартарен решил поддерживать с ним знакомство… Оба стояли у самого борта, и вдруг Тартарен увидел, что снаружи в защитную сетку вцепилась шеренга больших

черных рук. Почти тотчас же перед ним выросла курчавая голова негра, и не успел он и рта раскрыть, как палубу заполонили набежавшие со всех сторон корсары, человек сто, — черные, желтые, полуголые, страшные, безобразные.

Тартарен узнал этих корсаров… Это были те самые, то есть *они*, пресловутые *они*, с которыми он так долго искал по ночам встречи на улицах Тараскона. Наконец-то *они* осмелились показаться!

…В первую секунду Тартарен обмер от неожиданности. Когда же корсары бросились к вещам, сорвали с них брезент, а затем принялись грабить судно, в Тартарене проснулся герой — он выхватил охотничий нож и, крикнув пассажирам: «К оружию! К оружию!» — первый ринулся на пиратов.

— Эй, эй! Что случилось? Что с вами? — выйдя из рубки, спросил капитан Барбасу.

— Ах, это вы, капитан!.. Скорей, скорей, вооружайте экипаж!

— Свят, свят, свят! Это зачем же?

— Да разве вы не видите?..

— А что такое?..

— Да вот же они… перед вами… пираты…

Капитан Барбасу смотрел на него в полном недоумении. В эту минуту громадина негр с ап-

течкой нашего героя на спине пробежал мимо них.

— Мошенник!.. Куда ты?.. — взвыл тарасконец и, взмахнув кинжалом, бросился за ним.

Барбасу догнал его и, держа за пояс, рявкнул!

— Стойте смирно, тысяча чертей!.. Какие это пираты!.. Пиратов давно нет… Это носильщики.

— Носильщики?..

— Ну да, носильщики, они перетаскивают вещи на берег… Спрячьте-ка нож, отдайте мне ваш билет и идите вон за тем негром: он малый славный, он вас доставит на берег и даже проводит до гостиницы, если хотите!..

Тартарен, слегка смущенный, отдал билет и спустился вслед за негром по веревочной лестнице в большую лодку, плясавшую на волнах у борта парохода. Все его вещи — чемоданы, ящики с оружием, консервы — были уже там, а так как ими завалили всю лодку, то ждать других пассажиров не имело смысла. Негр, как обезьяна, вскарабкался на багаж, уселся на корточки и обхватил руками колени. Другой негр сел за весла… Оба смотрели на Тартарена, посмеиваясь и скаля белые зубы.

Великий тарасконец стоял на корме и, придав своему лицу то свирепое выражение, которое

повергало в трепет его сограждан, нервно крутил рукоять ножа: что бы ни говорил Барбасу, он еще далеко не убедился в благонамеренности этих носильщиков, цвет кожи которых напоминал черное дерево, — уж очень они были не похожи на славных тарасконских грузчиков…

Через пять минут шлюпка пристала к берегу, и Тартарен сошел на узкую берберийскую набережную, где триста лет тому назад каторжник испанец по имени Мигель Сервантес под палками алжирских надсмотрщиков[17] вынашивал дивный роман, который он озаглавил впоследствии «Дон Кихот».

III
Обращение к Сервантесу. Высадка. Где же тэрки? Тэрок нет. Разочарование

О Мигель Сервантес Сааведра! Если правда, что там, где жили когда-то великие люди, какая-то частица их души носится и реет в воздухе до скончания века, значит, то, что осталось от тебя на берберийском побережье, наверное, затрепетало

[17] Примечания: 17

Сервантес в 1575 году был захвачен алжирскими пиратами и пять лет пробыл рабом в Алжире.

от восторга при виде того, как высаживался на берег Тартарен из Тараскона, этот изумительный тип француза-южанина, в котором воплотились оба героя твоей книги — Дон Кихот и Санчо Панса…

День стоит жаркий. На залитой солнцем набережной — пять-шесть таможенников, алжирцы, поджидающие вестей из Франции, мавры, поджавшие под себя ноги и покуривающие длинные трубки, мальтийские матросы, тянущие громадные сети, а в петлях этих сетей тысячи сардинок сверкают, точно серебряные монетки.

Но едва Тартарен ступил на сушу, как вся набережная пришла в движение и преобразилась. Орда дикарей, еще более отталкивающих, чем корсары на корабле, поднялась с камней и бросилась на приезжего. Рослые арабы, накинувшие шерстяные бурнусы прямо на голое тело, маленькие мавры в лохмотьях, негры, тунисцы, маонцы, мзабиты, гостиничная прислуга в белых фартуках — все это кричало, орало, цеплялось за его платье, вырывало друг у друга его багаж; один тащил консервы, другой аптечку, и, забивая ему уши невообразимой тарабарщиной, сыпало какими-то совершенно невероятными названиями гостиниц…

Сбитый с толку всей этой кутерьмой, бедный Тартарен бросался то туда, то сюда, бранился, чертыхался, метался, устремлялся в погоню за своими вещами и, стараясь изо всех сил, чтобы эти варвары его поняли, обращался к ним по-французски, по-провансальски, прибегал даже к латыни — к латыни Пурсоньяка[18]: *rosa, bonus, bona, bonum*[19] — это все, что он знал… Напрасный труд. Его никто не слушал… К счастью, какой-то человек в мундире с желтым воротом вмешался в схватку, как гомеровский бог, и палкой разогнал весь этот сброд. Это был алжирский полицейский. В самых учтивых выражениях он посоветовал Тартарену остановиться в Европейской гостинице, поручил его заботам служащих этой гостиницы, и те, погрузив на несколько тележек его пожитки, повели Тартарена в гостиницу.

В Алжире Тартарен из Тараскона на каждом шагу широко раскрывал глаза. Он-то себе представлял волшебный, сказочный восточный город, нечто среднее между Константинополем и Занзибаром… А попал он в самый настоящий

---

[18] Примечания: 18

Имеется в виду герой комедии Мольера «Господин де Пурсоньяк» (1660).

[19] Примечания: 19

роза, хороший, хорошая, хорошее *(лат.)*

Тараскон… Кофейни, рестораны, широкие улицы, четырехэтажные дома, небольшая площадь с макадамовой мостовой[20], где военный оркестр играл польки Оффенбаха, мужчины за столиками пили пиво и закусывали пышками, гуляли дамы, девицы легкого поведения, военные, опять военные, на каждом шагу военные… и ни одного *тэрка!..* За исключением Тартарена. Переходя площадь, он даже почувствовал себя неловко. Все на него смотрели. Военный оркестр смолк, и полька Оффенбаха повисла в воздухе.

С двумя ружьями за плечами, с револьвером на боку, суровый и величественный, как Робинзон Крузо, Тартарен чинно шествовал мимо всего этого люда, но при входе в гостиницу силы его оставили. Отъезд из Тараскона, гавань в Марселе, плавание, черногорский князь, пираты — все это путалось и кружилось у него в голове… Пришлось на руках внести его в номер, снять с него доспехи, раздеть… Думали было послать за доктором, но герой наш только добрался до подушки — и сейчас же захрапел до того громко и заливисто, что хозяин гостиницы почел медицинскую помощь излишней, и все почтительно удалились.

---

[20] Примечания: 20

Макадамова мостовая — дорога, вымощенная крупным щебнем; названа по имени изобретателя — англичанина Мак-Адама (1756-1836).

IV
Первая засада

На городских часах пробило три, когда Тартарен пробудился. Он проспал весь вечер, всю ночь, все утро и прихватил еще добрую половину дня. И не удивительно: *шешья* столько всего натерпелась за трое суток!..

Первой мыслью героя, едва он раскрыл глаза, было: «Я в стране львов!» И — нечего греха таить — от одного сознания, что львы совсем близко, в двух шагах, можно сказать, под рукой и что с ними предстоит помериться силами — брр!.. мороз подрал у него по коже, и он бесстрашно юркнул под одеяло.

Однако мгновение спустя веселый уличный шум, синее-синее небо, яркое солнце, потоками вливавшееся в комнату, вкусный завтрак, поданный ему в постель, распахнутое окно, выходившее прямо на море, и, наконец, бутылка отличного критского вина, которым все это было спрыснуто, вернули Тартарену его геройский дух.

— На львов! На львов! — сбросив с себя одеяло,

воскликнул он и проворно оделся.

План его был таков: никому ни слова не сказав, уйти из города прямо в пустыню, дождаться ночи, засесть в засаду и — бах! бах! — в первого же льва… Наутро вернуться к завтраку в Европейскую гостиницу, принять поздравления алжирцев и послать тележку за убитым зверем.

Итак, он поспешно вооружился, взвалил на спину походную палатку, так что ее здоровенный шест торчал у него над головой, и, поневоле держась прямо, как палка, вышел на улицу. Чтобы не раскрывать своих замыслов, он ни у кого не стал спрашивать дорогу, а круто повернул направо, дошел до Бабассунских ворот, где из грязных лавчонок на него смотрели алжирские евреи, забившиеся по углам, как пауки, пересек Театральную площадь и, миновав предместье, вышел на пыльную Мустафскую дорогу.

На этой дороге творилось что-то невероятное. Омнибусы, фиакры, двуколки, фуры, громадные возы с сеном, в которые были впряжены волы, эскадроны африканских стрелков, стада крохотных осликов, негритянки, продававшие лепешки, повозки с эльзасскими переселенцами, кавалеристы в красных плащах — все это двигалось в вихре пыли, под крики, пение и звуки труб,

между двумя рядами хибарок, у дверей которых рослые маонки расчесывали себе волосы, кабачков, битком набитых солдатами, мясных лавок и живодерен.

«Что же это мне наврали про Восток? — думал великий Тартарен. — Здесь еще меньше *тэрок,* чем в Марселе».

Вдруг он увидел прямо перед собой выбрасывающего длинные ноги, надутого, как индюк, великолепного верблюда. Сердце у Тартарена сильно забилось.

Вот уже верблюды! Значит, и львы недалеко. В самом деле: минут через пять он увидел целое войско охотников на львов, двигавшееся ему навстречу с ружьями за плечами.

«Трусы! — поравнявшись с ними, подумал наш герой. — Трусы! Выходить на льва целым отрядом, да еще и с собаками!» Он не допускал мысли, что в Алжире можно охотиться на что-нибудь другое, кроме львов. Однако у охотников был такой добродушный вид — вид торговцев, почивших от дел, — а в охоте на львов с собаками на своре и с ягдташами у пояса было что-то до того патриархальное, что Тартарен, слегка заинтригованный, не выдержал и обратился к одному из этих господ:

— Ну что, приятель, хорошо поохотились?

— Недурно, — ответил охотник, испуганным взглядом окинув внушительные воинские доспехи Тартарена.

— Много убили?

— А как же… Порядочно… Вот посмотрите.

И алжирский охотник показал на свой ягдташ, до отказа набитый кроликами и бекасами.

— То есть как? В ягдташи?.. Вы кладете их в ягдташи?

— А куда же еще прикажете их класть?

— Значит, они… совсем маленькие?..

— Есть маленькие, есть и побольше, — пояснил охотник.

Он спешил домой и, прибавив шагу, быстро нагнал товарищей.

Бесстрашный Тартарен в изумлении продолжал стоять прямо среди дороги… Затем, подумав с минуту, он сказал себе: «А, это они мне очки втирают!.. Ничего они не убили…» И продолжал свой путь.

Между тем дома и прохожие попадались все реже. Спускалась ночь, очертания предметов расплывались… Тартарен из Тараскона шагал еще с полчаса… Наконец остановился… Была уже глубокая ночь. Ночь безлунная, и только частые

звезды пронизывали ее мрак. На дороге ни души… Наш герой утешился мыслью, что львы не дилижансы и что ходить по большим дорогам им не расчет. Он свернул в поле… Что ни шаг — рытвины, кусты, колючки. Не беда! Он шел все дальше и дальше… И вдруг — стоп! «Здесь пахнет львом», — решил Тартарен и, повернувшись сперва направо, потом налево, дважды с силой втянул в себя воздух.

V
Бах! Бах!

Перед ним простиралась дикая пустыня, заросшая причудливыми растениями, теми самыми восточными растениями, которые так похожи на ощетинившихся зверей. Их громадные тени, казавшиеся еще длиннее при бледном свете звезд, тянулись по земле во всех направлениях. С правой стороны неясно очерчивалась тяжелая громада гор — быть может, Атлас!.. Слева глухо рокотало невидимое море… Где же и водиться диким зверям, как не здесь?

Положив одно ружье перед собой, а другое взяв в руки, Тартарен стал на колено и замер в ожидании… Так он прождал час, другой… Никого!..

Тут он вспомнил, что знаменитые истребители львов, о которых он читал в книгах, никогда не ходят на охоту без козленка; они привязывают его, сами располагаются в нескольких шагах, дергают его за веревку, а он блеет. За неимением козленка тарасконец решил прибегнуть к звукоподражанию и жалобно заблеял: «Мэ-э-э! Мэ-э-э!..» Сперва совсем тихо, ибо в глубине души он все-таки побаивался, как бы лев и правда его не услыхал... Затем, убедившись, что никто не появляется, заблеял громче: «Мэ-э-э!.. Мэ-э-э!..» Опять никого!.. Тогда, сгорая от нетерпения, он проблеял несколько раз подряд: «Мэ-э-э! Мэ-э-э! Мээ-э!..» — столь громогласно, что на козленка это уже мало было похоже, а скорее напоминало быка...

Внезапно впереди, в нескольких шагах от него, что-то темное, громадное припало к земле. Тартарен притаился... Это «что-то» нагнулось, обнюхало землю, отскочило... напружилось, пустилось вскачь, затем вернулось и вдруг остановилось как вкопанное... Вне всякого сомнения, это был лев!.. Теперь уже явственно были видны четыре короткие лапы, могучая шея и два глаза, два больших глаза, блестевших во тьме... На прицел! Пли! Бах! бах!.. Готово! Вслед за тем прыжок

назад, охотничий нож крепко зажат в руке.

В ответ на выстрел тарасконца послышался отчаянный рев.

— Вот оно! — вскричал славный Тартарен и, широко расставив свои крепкие ноги, приготовился к битве со зверем, но зверю было совсем не до этого: он с ревом умчался во всю прыть. Тартарен, однако, не шевелился. Он поджидал львицу… Совсем как в книгах!

На беду, львица не появлялась. Прождав часа три, тарасконец почувствовал, что силы ему изменяют. Было сыро, холодно, с моря дул резкий ветер.

«Что, если я посплю до рассвета?» — сказал он себе и, чтобы не схватить ревматизма, решил разбить палатку… Но — черт бы ее побрал, эту палатку: устройство ее оказалось столь хитроумным, столь хитроумным, что ему так и не удалось ее раскрыть.

Целый час он корпел, пыхтел — проклятая палатка все не раскрывалась… Бывают зонтики, которые так с нами шутят во время самого ливня… Выбившись из сил, тарасконец швырнул это приспособление на землю и, ругаясь, как истинный провансалец, лег прямо на него.

— Та-та, ра-та, та-ра-та!

— Это еще что?.. — подскочив, воскликнул Тартарен.

Это африканские стрелки трубили зорю в мустафских казармах… Истребитель львов в полном изумлении протер глаза… Он-то думал, что кругом пустыня!.. А знаете, где он спал? На грядке артишоков, между цветной капустой и свеклой. В его Сахаре произрастали овощи… Совсем близко, на прелестном зеленом склоне Верхнего Мустафы, блестели обрызганные утренней росой белые алжирские виллы: точь-в-точь окрестности Марселя, его дачи и мызы.

У спящей природы был вид мещанки-огородницы, и это крайне удивило бедного Тартарена и привело его в прескверное расположение духа.

«Местные жители сошли с ума, — говорил он себе. — Разводить артишоки под носом у льва!.. Ведь я же все-таки не грезил… Львы сюда заходят… И вот доказательство…»

Доказательством являлись кровавые пятна, которые зверь, убегая, оставлял за собой. Нагибаясь над следом, то и дело оглядываясь по сторонам и сжимая револьвер в руке, отважный тарасконец шагал-шагал через артишоки и, наконец, вышел к полоске овса… Примятый овес, лужа крови, а в луже крови лежал на боку, с зияющей раной в

голове… угадайте кто?

— Да лев же, черт побери!..

Увы! Осел, один из тех малюсеньких осликов, которых так много в Алжире и которых там называют «вислоухенькими».

VI
Появление львицы. Страшная битва. Сбор молодцов

Первым душевным движением Тартарена при виде злосчастной жертвы была досада. В самом деле: вислоухенький — это немножко не то, что лев!.. Затем досада сменилась жалостью. Бедный вислоухенький был так мил, у него была такая добродушная мордочка! Бока его, еще теплые, поднимались и опускались, как волны. Тартарен стал на колени и концом своего алжирского пояса попытался остановить у несчастного животного кровотечение. Великий человек, ухаживающий за маленьким осликом, — ничего трогательнее этого нельзя себе представить!

Почувствовав мягкое прикосновение пояса, вислоухенький, в котором еще теплилась жизнь, раскрыл большой серый глаз и запрядал длинными ушами, точно хотел сказать: «Благодарю!..

Благодарю!» Последняя судорога свела все его тело от головы до хвоста, и больше он уже не шевельнулся.

— Черныш! Черныш! — внезапно послышался чей-то сдавленный от волнения голос.

Вслед за тем зашуршали ветки ближних кустов. Тартарен едва успел вскочить и приготовиться к обороне… То была львица!

Грозная, рыкающая, она явилась в образе старой эльзаски, в косынке, с большим красным зонтом, и так громко звала она своего ослика, что ей отвечало и ближнее и дальнее эхо Мустафы. Тартарен, разумеется, предпочел бы иметь дело с разъяренной львицей, чем с этой старой ведьмой… Тщетно пытался несчастный объяснить ей, как было дело, что Черныша он принял за льва… Старуха была уверена, что Тартарен смеется над ней, и с неистовым криком: «У, сатана проклятый!» — она принялась охаживать нашего героя зонтом. Слегка растерявшись, Тартарен защищался все же, как мог, отбивался карабином, пыхтел, отдувался, подпрыгивал, кричал: «Сударыня, полно!.. Сударыня, полно!..» Куда там! Сударыня была глуха к его мольбам, что подтверждалось возрастающей силой ее ударов.

К счастью, на поле сражения появилось третье

лицо. Это был муж эльзаски, тоже эльзасец, содержатель трактира, отлично считавший в уме. Поняв, с кем имеет дело, поняв, что убийца счастлив был бы возместить убытки, он обезоружил свою супругу и живо поладил с Тартареном.

Тартарен уплатил двести франков, тогда как ослик стоил не больше десяти: это обычная цена вислоухеньким на арабских базарах. Затем бедного Черныша похоронили под фиговым деревом, и эльзасец, которого развеселил блеск тарасконских дуро[21], пригласил героя заморить червячка в своем заведении, стоявшем при дороге, совсем близко отсюда. Алжирские охотники завтракали у него каждое воскресенье: эта долина была их излюбленным местом охоты, ибо кролики тут водились в изобилии.

— А львы? — осведомился Тартарен.

Эльзасец взглянул на него с явным изумлением.

— Львы?

— Ну да… львы… Вам приходилось их видеть? — уже менее уверенно продолжал бедный Тартарен.

Трактирщик прыснул:

---

[21] Примечания: 21

Дуро — провансальское и испанское название золотой монеты.

— Вот грех тяжкий!.. Львы… Да что им тут делать?

— Разве их нет в Алжире?..

— Честное слово, я их отродясь не видел… А ведь я двадцать лет живу в этой провинции. Что-то, помнится, я про них слышал… Не то в газетах… Но только это далеко отсюда, где-то на юге…

Они подошли к кабачку. Это был обыкновенный загородный кабачок, как где-нибудь в Ванве или Пантене[22], с засохшей веткой над дверью, с биллиардными киями, намалеванными на стене, и с нестрашной вывеской: «СБОР МОЛОДЦОВ».

Сбор молодцов!.. О, Бравида! Какие приятные воспоминания!

VII
История омнибуса, мавританки и жасминовых четок

Это первое приключение кого угодно могло бы обескуражить, однако люди Тартареновой закалки не так-то легко сдаются.

«Львы — на юге? — думал наш герой. — Ну что ж, поеду на юг!»

---

[22] Примечания: 22
Ванве, Пантен — городки под Парижем.

Съев все до последнего кусочка, Тартарен встал, поблагодарил хозяина, в знак полного примирения расцеловался со старухой, пролил последнюю слезу над незадачливым Чернышом и, нимало не медля, повернул обратно в Алжир с твердым намерением уложить вещи и сегодня же уехать на юг.

К несчастью, Мустафская дорога со вчерашнего дня стала как будто еще длиннее, — жара, пыль! Палатка тяжеленная!.. Почувствовав, что не в силах идти пешком, Тартарен сделал знак первому же нагнавшему его омнибусу и вскочил на подножку…

Бедный Тартарен из Тараскона!.. Насколько же лучше было бы для его доброго имени, для его славы, если б он не связывался с этой роковой колымагой, а продолжил бы пешее хождение, рискуя рухнуть под давлением атмосферы, походной палатки и тяжелых двуствольных ружей!..

Тартарен вошел. Омнибус был полон. В глубине, уткнувшись в молитвенник, сидел алжирский мулла с окладистой черной бородой. Напротив — молодой мавр, из купцов, курил толстую папиросу. Дальше — мальтийский матрос и несколько мавританок, закутанных в белые чадры, так что видны были только глаза. Дамы эти ездили

помолиться на кладбище Абд-эль-Кадер, но это мрачное путешествие, видимо, не опечалило их. Прикрываясь чадрами, они болтали, смеялись, ели хрустевшее на зубах печенье.

Тартарену показалось, что они поглядывают на него. Особенно одна, сидевшая напротив, как впилась в него глазами, так потом всю дорогу их уже не отводила. Хотя дама была под чадрой, однако живость ее больших черных подведенных глаз, прелестное тонкое запястье, все в золотых браслетах, время от времени выглядывавшее из-под покровов, самый звук ее голоса, изящный поворот головы, в котором было даже что-то детское, — все говорило о том, что покровы скрывают обворожительное, молодое, красивое тело… Несчастный Тартарен не знал, куда деваться. Безмолвный призыв дивных восточных глаз смущал его, волновал, терзал; его бросало то в жар, то в холод…

В довершение всего он ощутил прикосновение дамской туфельки: она скользила по его грубым охотничьим сапогам, эта крохотная туфелька, скользила и шмыгала красной мышкой… Как быть? Ответить на этот взгляд, на это движение? Да, но что потом?.. Любовное похождение на Востоке — это что-то ужасное!.. Пламенному

южному воображению славного Тартарена уже представлялось, что он попадает в руки евнухов, что ему рубят голову, зашивают в кожаный мешок и швыряют в море и его самого, и его отрубленную голову. Это его несколько охладило… Туфелька между тем продолжала в том же духе, глаза, смотревшие на него в упор, раскрывались все шире и шире, как два огромных черных бархатистых цветка, и словно молили; «Сорви нас!..»

Омнибус остановился на Театральной площади, в начале Бабассунской улицы. Мавританки, путаясь в длинных шароварах и движением, исполненным дикой грации, придерживая чадры, одна за другой вышли из омнибуса. Соседка Тартарена встала после всех и, подняв голову, прошла мимо него так близко, что он ощутил на своем лице ее дыхание — букет юности, жасмина, печенья и мускуса.

Тарасконец не устоял. Опьяненный любовью, готовый на все, он бросился за мавританкой… Услышав за собой лязг его доспехов, она обернулась, приложила палец к чадре, как бы говоря: «Тсс!» — и быстрым движением другой руки бросила ему ароматные четки из цветов жасмина. Тартарен нагнулся поднять их, но так как герой наш был слегка тучноват да к тому же увешан

доспехами, то эта операция продолжалась довольно долго…

А когда он, прижав к сердцу жасминовые четки, выпрямился, мавританки и след простыл.

VIII
Львы Атласа, спите!

Львы Атласа, спите! Спите спокойно в своих логовах, среди алоэ и диких кактусов!.. Еще несколько дней Тартарен из Тараскона вас не тронет. Пока что все его орудия войны — ящики с оружием, аптечка, походная палатка, консервы — мирно лежат в запакованном виде в Европейской гостинице, в углу 36-го номера.

Спите безмятежно, огромные рыжие львы! Тарасконец охотится за мавританкой. После встречи в омнибусе несчастному все время чудится, будто по его ноге, объемистой ноге заядлого охотника, семенит красная мышка, а в ветре с моря, касающемся его уст, он неизменно улавливает запах, напоминающий ему предмет его страсти, — запах печенья и аниса.

Подайте Тартарену его берберийку!

Но это совсем не так просто! Найти в городе со стотысячным населением особу, о которой ни-

чего не известно, кроме запаха, туфелек и цвета глаз! Только безумно влюбленный тарасконец способен отважиться на подобное приключение.

Самое ужасное — это что под своими длинными белыми чадрами все мавританки похожи одна на другую; притом эти дамы редко выходят из дому, и, чтобы их увидеть, нужно подняться в Верхний город, арабский город, город *тэрков*.

Настоящее разбойничье гнездо этот Верхний город! Грязные узенькие улочки, взбирающиеся по отвесным горам между двумя рядами подозрительных домишек, кровли которых сходятся, образуя туннель. Низенькие двери, крошечные оконца, безмолвные, унылые, зарешеченные. Справа и слева мрачные притоны, где угрюмые *тэрки* с головами корсаров, сверкая белками и скаля зубы, курят длинные трубки и о чем-то шепчутся, точно замышляют что-то недоброе…

Сказать, что наш Тартарен без волнения шел по этому страшному городу, — значит сказать неправду. Нет, он был крайне взволнован; по этим темным улицам, в которых едва умещался его толстый живот, наш доблестный муж двигался с величайшей осторожностью, оглядываясь по сторонам, держа указательный палец на спусковом крючке револьвера. Совсем как в Тарасконе,

по дороге в Клуб! Каждую секунду он ждал, что сзади на него нападет орава евнухов и янычар, но желание увидеться с дамой сердца придавало ему титаническую силу и отвагу.

Целую неделю бесстрашный Тартарен не выходил из Верхнего города. Он то часами простаивал перед мавританскими банями и ждал, когда оттуда выйдут, поеживаясь на свежем воздухе, и разлетятся стайками пахнущие чистотой женщины, то, присев на корточки возле какой-нибудь мечети, потел и пыхтел, стаскивая тяжеленные сапоги, прежде чем войти в святилище.

Порой, когда уже темнело и тарасконец, измученный поисками, равно бесплодными как возле бань, так и в мечети, проходил мимо мавританских домов, до него доносились монотонное пение, приглушенный звон гитары, рокот тамбурина и тихий женский смех, от которого у него сильно билось сердце.

«Может быть, она там!» — думал он.

Если на улице никого не было, он подходил к дому, приподнимал тяжелый молоток и робко стучал в низенькую дверь… Пение и смех мгновенно смолкали. За стеной слышалось только невнятное перешептывание, похожее на шорох в птичнике, который погружается в сон.

«Приготовимся! — говорил себе наш герой. — Сейчас что-нибудь произойдет!..»

Но чаще всего происходило вот что: на голову ему выливали полный горшок холодной воды или же его обсыпали апельсинными корками и косточками от берберийских фиг... Ничего более существенного не случилось ни разу...

Львы Атласа, спите спокойным сном!

IX
Князь Григорий Черногорский

Целых две недели злосчастный Тартарен искал свою алжирскую даму, и весьма вероятно, что он искал бы ее и по сие время, если бы провидение, пекущееся обо всех влюбленных, не пришло к нему на помощь в обличье черногорского вельможи. Вот как было дело.

Зимой по субботам в самом большом театре Алжира устраиваются балы-маскарады, точь-в-точь такие же, как в парижской Опере. Это самые заурядные, скучнейшие провинциальные балы-маскарады. Полупустой зал, подонки Бюлье

и Казино[23], податливые девицы, следующие за армией, помятые арлекины, какие-то типы, нарядившиеся вконец обнищавшими грузчиками, пять-шесть прачек-маонок, пустившихся во все тяжкие, но сохранивших от прежней добродетельной жизни запах чеснока и шафранного соуса… Самое, однако, любопытное происходит не здесь, а в фойе, превращенном ради такого случая в игорный зал… Вокруг длинных зеленых столов толчется возбужденная пестрая толпа: получившие отпуск тюркосы, которые ставят монеты, взятые взаймы, мавританские купцы из Верхнего города, негры, мальтийцы, колонисты из провинциальной глуши — эти тащились сорок миль только для того, чтобы поставить на карту плуг или пару волов… Все бледны, дрожат, как в лихорадке, у всех стиснуты зубы, и у всех — присущий игрокам особенный взгляд: мутный, исподлобья, устремленный на одну и ту же карту, отчего глаза у них начинают косить.

Немного подальше — алжирские евреи, играющие целыми семьями. На мужчинах восточные одеяния, чудовищными по своей безвкусице дополнениями которых служат синие чулки и

[23] Примечания: 23

Бюлье — танцевальный зал в Париже; Казино — парижский игорный дом.

плисовые фуражки. Женщины — полные, бледные; тесные, расшитые золотом корсажи не дают им пошевельнуться… Сгрудившись вокруг столов, все это племя визжит, совещается, считает по пальцам, играет по маленькой… В редких случаях, после длительного обсуждения, старый патриарх с бородой, как у Саваофа, отделяется от своих и решается поставить семейный дуро… И теперь уже до конца партии не потухнуть блеску в иудейских глазах, впившихся в стол, этих страшных черных глазах как бы из магнита, от взгляда которых золотые монеты сами начинают кружиться по зеленому сукну и в конце концов притягиваются, точно кто-то легонько тянул их за нитку…

И потом эти ссоры, драки, ругательства, какие только существуют на свете, неистовые крики на всех языках, поножовщина, внезапное исчезновение денег, появление полиции!

И вот как-то вечером на одну из таких вакханалий явился великий Тартарен, дабы развлечься, забыться и обрести душевный покой.

Наш герой пробирался один в толпе, думая о мавританке, как вдруг за одним из игорных столов, заглушая звон золота, раздались возбужденные голоса:

— А я вам говорю, милсдарь, что у меня недостает двадцати франков!..

— Милсдарь!..

— Я вас слушаю, милсдарь!..

— Да знаете ли, милсдарь, с кем вы разговариваете?

— Сделайте одолжение, милсдарь, назовитесь!

— Я — князь Григорий Черногорский, милсдарь!..

Услышав это имя, Тартарен пришел в волнение и, счастливый и гордый тем, что наконец отыскался очаровательный черногорский князь, с которым он свел знакомство на пакетботе, пробился вперед.

К несчастью, княжеский титул, ослепивший простодушного тарасконца, не произвел ни малейшего впечатления на офицера стрелкового полка, повздорившего с князем.

— Я счастлив!.. — насмешливо проговорил офицер и обратился к зрителям: — Григорий Черногорский… Кому это хоть что-нибудь говорит?.. Никому!

Возмущенный Тартарен сделал шаг вперед.

— Позвольте… Я знаю *кнэзя!* — твердо вымолвил он с сильным тарасконским акцентом.

Офицер смерил его взглядом и пожал плечами:

— Ах, вот как? Прекрасно!.. В таком случае поделите между собой пропавшие двадцать франков, и кончен разговор.

С этими словами он повернулся и исчез в толпе.

Пылкий Тартарен хотел было броситься за ним, но князь удержал его:

— Оставьте… Я сам с ним разделаюсь.

И, подхватив Тартарена под руку, он поспешил увести его.

Очутившись на площади, князь Григорий Черногорский снял шляпу, протянул нашему герою руку и, силясь припомнить его фамилию, начал с запинкой:

— Господин Барбарен…

— Тартарен! — робко поправил тот.

— Тартарен, Барбарен — не все ли равно? Мы теперь друзья до гроба!

И доблестный черногорец с остервенением потряс ему руку… Можете себе представить, как был горд тарасконец!

— *Кнэзь!.. Кнэзь!..* — повторял он в восторге.

Через четверть часа оба уже сидели «Под платанами» — в уютном ночном заведеньице, терраса которого спускалась прямо к морю, и тут, спрыснув отменный «салат по-русски» превосходным

критским вином, они сдружились окончательно.

Трудно себе представить более обаятельного человека, чем этот черногорский князь. Тонкий, стройный, курчавый, завитой, тщательно выбритый, украшенный какими-то необыкновенными орденами, с бегающими глазками и вкрадчивыми движениями, он говорил с чуть заметным итальянским акцентом и был отчасти похож на безусого Мазарини[24]; вдобавок он кстати и некстати сыпал цитатами из Тацита, Горация и Юлия Цезаря.

По его словам, он принадлежал к древней династии, но еще в десятилетнем возрасте пострадал за свои либеральные убеждения: родные братья добились его изгнания, и вот с тех пор он, философ, движимый любознательностью, а также для развлечения, странствует по свету... И — потрясающее совпадение: князь прожил три года в Тарасконе! Когда же Тартарен выразил удивление по поводу того, что ни разу не встречался с ним ни в Клубе, ни на эспланаде, его высочество ответил уклончиво: «Я почти не выходил...» Тарасконец же из деликатности воздержался от дальнейших расспросов. В жизни высоких особ

---

[24] Примечания: 24

Мазарини Джулио (1602-1661) — уроженец Сицилии; кардинал и первый министр Франции.

столько таинственного!

Как бы то ни было, князь Григорий оказался приятнейшим человеком. Потягивая розовое критское вино, он терпеливо слушал рассказ Тартарена о мавританке, а так как он знал всех здешних дам наперечет, то даже вызвался в самом скором времени разыскать ее.

Пили много и долго. Пили за алжирских дам, за свободную Черногорию…

А внизу, у самой террасы, плескалось море, и волны во мраке ночи бились о берег так, словно кто-то встряхивал мокрые простыни. Воздух был тепел, небо усеяно звездами.

В ветвях платанов пел соловей…

По счету уплатил Тартарен.

X

Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка

Ох и мастера же эти черногорские князья поддевать на удочку!

Проведя с тарасконцем вечерок «Под платанами», наутро, спозаранку, князь Григорий был уже у него в номере.

— Скорей, скорей, одевайтесь! Мавританка

ваша отыскалась… Ее зовут Байя… Двадцать лет, прекрасна, как ангел, и уже вдова…

— Вдова? Это мне повезло! — радостно воскликнул славный Тартарен, опасавшийся восточных мужей.

— Да, но она находится под неусыпным надзором, брата…

— А, черт!..

— Свирепого мавра, который торгует трубками на Орлеанском базаре…

Молчание.

— Ну, ничего! — продолжал князь. — Вы не робкого десятка, вас такая безделица не остановит. А затем можно будет купить у этого корсара несколько трубок, и, я думаю, он сдастся… Ну одевайтесь, одевайтесь… сердцеед вы этакий!

Бледный, взволнованный, пылая страстью, тарасконец спрыгнул с кровати и, поспешно застегивая просторные фланелевые кальсоны, спросил:

— Что же мне делать?

— Напишите вашей даме, только и всего, и попросите назначить свидание.

— А разве она знает французский язык? — с разочарованным видом спросил простодушный Тартарен, мечтавший о Востоке без всякой при-

меси.

— Ни единого слова не знает, — не моргнув глазом, ответил князь. — Вы мне будете диктовать, а я буду переводить.

— Ах, князь, как вы добры!

И тарасконец молча зашагал большими шагами по комнате — он собирался с мыслями.

Вы, конечно, понимаете, что алжирской мавританке так не напишешь, как какой-нибудь бокерской гризетке. На великое счастье нашего героя, в памяти его было живо все, что он прочел на своем веку, и это дало ему возможность, мешая напыщенную речь индейцев Густава Эмара с «Путешествием на Восток» Ламартина и отдаленными реминисценциями из «Песни песней», сочинить самое наивосточное письмо, какое только можно себе представить.

Начиналось оно:

«*Как страус в песчаной пустыне…*»

А кончалось:

«*Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе название этого цветка…*»

Вместе с письмом настроенный на возвышенный лад Тартарен намеревался, по восточному обычаю, послать букет цветов «со значением», но князь Григорий решил, что лучше купить у

брата несколько трубок: так-де суровый нрав его, несомненно, смягчится, а даме это тоже не может не доставить удовольствия, так как она завзятая курильщица.

— Идемте скорей покупать трубки! — сразу загоревшись, воскликнул Тартарен.

— Нет, нет!.. Я пойду один. Я сумею купить подешевле.

— Как? Вы хотите сами?.. О князь, князь!..

Тут доблестный муж, крайне смущенный, протянул кошелек услужливому черногорцу и попросил его ничего не жалеть, лишь бы дама осталась довольна.

К сожалению, хорошо задуманное предприятие вопреки ожиданиям не увенчалось скорым успехом. Как будто бы растроганная до глубины души красноречием Тартарена и уже заранее на все почти согласная мавританка и рада была бы принять его у себя, но брат оказался человеком щепетильным, и, чтобы усыпить его совесть, пришлось закупать у него трубки десятками, сотнями, целыми ящиками…

«На кой черт Байе такая пропасть трубок?» — изредка спрашивал себя бедняга Тартарен, но по-прежнему не скупился.

В конце концов, накупив горы трубок и излив

море восточной поэзии, он добился свидания.

Я не стану рассказывать вам о том, как билось у тарасконца сердце во время приготовлений к свиданию, с какой лихорадочной тщательностью он подстригал, помадил и опрыскивал духами свою жесткую бороду, бороду охотника за фуражками, и с какой предусмотрительностью рассовал он на всякий случай по карманам два-три револьвера и кастет с железными шипами.

Князь с его неизменной услужливостью явился на первое свидание в качестве переводчика. Дама жила в верхней части города. У дверей ее дома дымил папиросой юный мавр лет тринадцати-четырнадцати. Это и был знаменитый Али, пресловутый *брат.* Увидав гостей, он два раза постучал в дверь и деликатно удалился.

Дверь отворилась. На пороге появилась негритянка; она молча провела гостей узким внутренним двором в прохладную комнатку, где их ожидала дама, полулежавшая на низком диване… На первый взгляд она показалась тарасконцу меньше ростом и полнее мавританки в омнибусе… Да уж это она ли? Сомнение молнией прорезало мозг Тартарена, но тотчас погасло.

Все было обворожительно у этой женщины: и голые ножки, и пухлые пальчики, унизанные

перстнями, и розовые щеки, и стройный стан, а под корсажем из золотой парчи и под разводами пестрого платья проступали округлые, соблазнительные очертания тела, цветущего, но уже начинающего полнеть... Во рту у нее дымился янтарный мундштук и окутывал ее облаком белого дыма.

Войдя, тарасконец прижал руку к сердцу и, вращая выпученными, полными страсти глазами, отвесил ей самый что ни на есть мавританский поклон. Байя с минуту молча смотрела на него, потом вдруг, выронив янтарный мундштук, упала навзничь и закрыла лицо руками, и теперь видна была только ее белоснежная шея, сотрясавшаяся, точно мешочек с жемчугом, от дикого хохота.

XI
Сиди Тарт'ри бен Тарт'ри

Зайдите как-нибудь в сумерки в одну из алжирских кофеен Верхнего города, вы еще и теперь можете там услышать, как мавры толкуют между собой, подмигивая и посмеиваясь, о некоем Сиди Тарт'ри бен Тарт'ри, любезном и богатом европейце, который несколько лет назад проживал в верхнем квартале с одной дамочкой, местной

жительницей, по имени Байя.

Нетрудно догадаться, что этот самый Сиди Тарт'ри, оставивший по себе столь веселую память во всей Касбахской округе, есть не кто иной, как наш Тартарен…

Ничего не поделаешь! В жизни святых и в жизни героев бывают часы ослепления, смятения, слабости. Знаменитый тарасконец не составляет исключения — вот почему целых два месяца, позабыв о львах и о славе, он упивался восточной любовью и, подобно Ганнибалу в Капуе, утопал в неге[25] белого Алжира.

Доблестный муж нанял в самом сердце арабского города хорошенький домик в местном вкусе, с внутренним двором, банановыми деревьями, прохладными галереями и фонтанами. Там он и жил, вдали от городского шума, вместе со своей мавританкой, сам с головы до ног превратившись в мавра, посасывая с утра до вечера кальян и объедаясь вареньем с мускусом.

Разлегшись на диване прямо против Тартарена, Байя под гитару мурлыкала нечто монотонное

---

[25] Примечания: 25

После разгрома римской армии при Каннах (214 г. до н.э.) карфагенский полководец Ганнибал, вместо того, чтобы брать Рим, дал своим войскам отдых в Капуе — городе в Кампаньи. По преданию, зимуя там, карфагеняне изнежились и потеряли боеспособность.

или же, чтобы развлечь своего повелителя, исполняла танец живота, держа в руке зеркальце, любуясь своими белыми зубками, кривляясь и ломаясь.

Так как дама не знала ни слова по-французски, а Тартарен — ни слова по-арабски, то разговор у них часто иссякал, — словоохотливому тарасконцу это было в наказание за болтливость, которою он грешил в аптеке у Безюке и в оружейном магазине у Костекальда.

Но даже и в этом наказании таилась особая прелесть: то было некое сладостное оцепенение, выражавшееся в том, что Тартарен за целый день не говорил ни слова и только слушал бульканье кальяна, треньканье гитары да тихий плеск фонтана на выложенном мозаикой дворике.

Кальян, баня и любовь заполняли всю его жизнь. Тартарен и его возлюбленная выходили из дому редко. Кое-когда Сиди Тарт'ри садился на доброго мула, его дама вспрыгивала на круп, и они отправлялись есть гранаты в маленький садик, который он купил неподалеку... Но хоть бы раз он спустился в европейскую часть города! Кутящие зуавы, алькасары, где полно офицеров, вечный лязг сабель под аркадами — этот Алжир, представлявшийся ему столь же безобразным,

как любая кордегардия на Западе, он терпеть не мог.

В общем, тарасконец был счастлив. Особенно Тартарен — Санчо, большой любитель турецких сладостей, — тот был в полном восторге от своей новой жизни… У Тартарена — Дон Кихота при мысли о Тарасконе и обещанных львиных шкурах нет-нет да и просыпалась совесть… Но — ненадолго: один взгляд Байи, одна ложка чертовски вкусного душистого варенья, дурманящего, как напиток Цирцеи, — и грустные мысли рассеивались.

По вечерам приходил князь Григорий помечтать вслух о свободной Черногории… Отличаясь неутомимой услужливостью, этот любезный господин исполнял у них обязанности переводчика и даже, в случае нужды, домоправителя, совершенно бескорыстно, из любви к искусству… Кроме него, Тартарен принимал у себя только *тэрок*. Эти корсары со свирепым выражением лица, которые еще так недавно, сидя в своих темных лавчонках, внушали ему необоримый страх, при ближайшем знакомстве оказались добродушными, безобидными купцами, золотошвеями, кондитерами, кальянщиками; все это были люди благовоспитанные, услужливые, себе

на уме, осмотрительные, мастаки по части игры в карты. Чуть не каждый вечер эти господа приходили к Сиди Тарт'ри, обыгрывали его, поедали его варенье, а ровно в десять воссылали благодарения пророку и скромно удалялись.

После ухода гостей Сиди Тарт'ри и его верная подруга проводили остаток вечера на террасе — широкой белой террасе, которая служила их дому кровлей и господствовала над городом. Вокруг множество других террас, таких же белых, озаренных тихим светом луны, уступами спускалось к морю. Ветер доносил звон гитар.

…Внезапно в вышине мягко вспыхивала ясная, как созвездие, полнозвучная мелодия: на минарете ближней мечети появлялся красавец муэдзин, и его белый силуэт отчетливо вырисовывался на темной синеве ночи; дивным голосом, разносившимся далеко кругом, он славословил аллаха.

Байя выпускала из рук гитару, и ее большие глаза, устремленные на муэдзина, казалось, жадно впивали слова молитвы. И пока длилось пение, она вся дрожала от восторга, словно восточная святая Тереса… Тартарен взволнованно смотрел на нее и думал о том, какая это, должно быть, могучая и прекрасная вера, если она способна вызывать такой молитвенный жар.

Тараскон, закрой от стыда свои очи! Твой Тартарен помышляет о вероотступничестве.

XII
Нам пишут из Тараскона

В один прекрасный день Сиди Тарт'ри под безоблачным небом, овеваемый теплым ветерком, верхом на муле возвращался, на сей раз без подруги, из своего садика… Раскорячив ноги, потому что мешали сумки, набитые лимонами и арбузами, сложив руки на животе и покачиваясь всем корпусом в лад *трюх-трюху* своего мула, убаюканный звяканьем огромных стремян, сомлевший от неги и зноя, доблестный муж ехал среди чудесной природы.

Внезапно, при въезде в город, он был пробужден громовым голосом, который его окликал:

— Такое-сякое чудо морское!.. Да никак это господин Тартарен?

Услышав свою фамилию, услышав веселые звуки южного говора, тарасконец поднял голову и увидел совсем рядом добродушное загорелое лицо Барбасу, капитана «Зуава», — капитан пил абсент и курил трубку на пороге маленькой кофейной.

— А, Барбасу, доброго здоровья! — остановив мула, воскликнул Тартарен.

Вместо ответа Барбасу вытаращил на него глаза — и давай хохотать, так хохотать, что Сиди Тарт'ри от великого смущения съехал с седла на арбузы.

— Ах, дорогой господин Тартарен, какой на вас тюрбан!.. Так, значит, вы правда заделались *тэрком?..* А как плутовка Байя? Все поет «Красавицу Марко»?

— «Красавицу Марко»! — с возмущением повторил Тартарен. — Да будет вам известно, капитан, что особа, о которой вы говорите, — честная мавританская девушка, и по-французски она не знает ни слова.

— Байя? По-французски ни слова?.. Да вы что, с луны свалились?

Тут славный капитан захохотал еще громче.

Заметив, однако, что лицо у бедного Сиди Тарт'ри вытянулось, он спохватился:

— Впрочем, может быть, это другая... Я, наверно, спутал... Но только видите ли, господин Тартарен, я бы вам все-таки посоветовал держаться подальше от алжирских мавританок и от черногорских князей!..

Тартарен, изобразив на своем лице свирепость,

вытянулся на стременах.

— *Кнэзь* — мой друг, капитан!

— Хорошо, хорошо, только не сердитесь!.. Не хотите ли абсенту? Нет? Что от вас передать землякам? Ничего не надо? Ну, ну! Счастливо вам попутешествовать!.. Да, кстати, дружище: у меня добрый французский табак, отсыпьте себе на несколько трубок… Да берите, берите! От него вам вреда не будет… Это окаянный восточный табак заморочил вам голову.

Тут капитан принялся за абсент, а Тартарен в глубоком раздумье затрусил домой… Хотя он по своему душевному благородству и не поверил капитану Барбасу, однако эти наветы огорчили его, а кроме того, южный выговор капитана и его провансальские ругательства вызвали у Тартарена легкие угрызения совести.

Байю он не застал. Она была в бане… Негритянка показалась ему безобразной, дом — скучным… Не зная, куда деваться от тоски, он сел у фонтана и принялся набивать трубку табаком Барбасу. Табак был завернут в обрывок «Семафора». Когда он его развернул, ему бросилось в глаза название родного города.

«Нам пишут из Тараскона

Весь город в тревоге. Истребитель львов Тартарен, выехавший охотиться на крупных африканских хищников из семейства кошачьих, в течение нескольких месяцев не подает о себе вестей… Что же случилось с нашим доблестным соотечественником?.. Кто знал эту горячую голову, этого смельчака, этого неутомимого искателя приключений, тот не может без волнения задавать себе этот вопрос… Поглотил ли его, как и многих других, песок пустыни? Или же его растерзало своими смертоносными клыками одно из тех атласских чудовищ, шкуры которых он обещал принести в дар муниципалитету?.. Мучительная неизвестность! Однако негры-купцы, приехавшие на Бокерскую ярмарку, уверяют, что в пустыне им повстречался европеец, приметы которого сходятся с приметами Тартарена, и что европеец этот направлялся в Тимбукту… Да хранит господь нашего Тартарена!»

Прочитав эту заметку, тарасконец покраснел, побледнел, задрожал. Его мысленному взору предстал весь Тараскон: Клуб, охотники за фуражками, зеленое кресло у Костекальда и надо

всем этим — парящие, будто распластавший крылья орел, громадные усы бравого командира Бравида.

И тут Тартарену из Тараскона от одного сознания, что он, малодушный, целыми днями сидит, поджав под себя ноги, на циновке, в то время как у него на родине все убеждены, что он изничтожил львов, стало стыдно, и он заплакал.

Вдруг наш герой вскочил с криком: «На львов! На львов!» — бросился в пыльный чулан, где покоились походная палатка, аптечка, консервы, ящик с оружием, и вытащил их на двор.

Тартарен — Санчо приказал долго жить, остался лишь Тартарен — Дон Кихот.

Произведя осмотр своего имущества, вооружившись, снарядившись, обувшись в высокие сапоги, написав несколько слов князю и поручив его заботам Байю, вложив в конверт несколько смоченных слезами голубых кредиток, бесстрашный тарасконец, не теряя ни минуты, сел в дилижанс и укатил по Блидахской дороге, а негритянка, оставшись одна во всем доме, так и обмерла, когда увидела, что кальян, тюрбан, туфли — весь этот мусульманский хлам Сиди Тарт'ри валяется как попало под трехлистными пальметтами галереи…

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ.
У львов
I
Сосланный дилижанс

Это был старый допотопный дилижанс, обитый по старинной моде толстым синим, совершенно выцветшим сукном с громадными помпонами из грубой шерсти, которые за несколько часов пути в конце концов натирали вам спину до синяков. У Тартарена из Тараскона было место сзади, в углу; он расположился поудобнее и в ожидании той минуты, когда на него пахнет мускусом от крупных африканских хищников из семейства кошачьих, по необходимости удовольствовался приятным запахом старого дилижанса, причудливо сочетающим в себе множество запахов: мужских, конских, женских, запахи кожи, провизии и прелой соломы.

В заднем отделении дилижанса собралось довольно разношерстное общество: монах-траппист, евреи-купцы, две кокотки, догонявшие свою воинскую часть — 3-й гусарский полк, фотограф из Орлеанвиля… Но, несмотря на всю прелесть

и разнообразие этого общества, Тартарен был не расположен беседовать, — с лямкой на плече, с карабинами между колен, он по-прежнему предавался размышлениям… Его внезапный отъезд, черные глаза Байи, страшная охота, на которую он отправлялся, — от всего этого голова у него шла кругом, а тут еще европейский дилижанс с его добродушным, патриархальным обличьем, неожиданно оказавшийся в Африке: он смутно напоминал Тартарену Тараскон его юности, поездки за город, завтраки на берегу Роны, вызывал вереницу воспоминаний…

Постепенно стемнело. Кондуктор зажег фонари… Ветхий дилижанс, скрипя, подпрыгивал на старых рессорах, лошади бежали рысью, бубенчики звенели… Время от времени наверху, под брезентом империала, слышался ужасающий скрежет железа… Это скрежетало военное снаряжение.

Тартарен из Тараскона в полусне с минуту еще смотрел, как смешно подскакивают при толчках пассажиры, смотрел на эту пляску странных теней, потом глаза у него слиплись, мысль затуманилась, и дальше он лишь смутно различал визг колес да оханье дилижанса…

Вдруг чей-то старческий голос, хриплый,

сиплый, надтреснутый, назвал тарасконца по имени:

— Господин Тартарен! Господин Тартарен!

— Кто это?

— Это я, господин Тартарен. Вы меня не узнаете?.. Я старый дилижанс, курсировавший двадцать лет тому назад между Тарасконом и Нимом… Я часто вас возил, вас и ваших друзей, когда вы ездили охотиться за фуражками в Жонкьер или в Бельгард… Сперва я вас и не узнал: шапочка на вас, как у *тэрка,* и потом вы пополнели, но как только раздался ваш храп, — ах, разэтакий такой! — тут уж я сразу догадался!

— Ладно! Ладно! — слегка задетый, пробормотал Тартарен, но, сейчас же смягчившись, спросил: — А как ты сюда попал, старина?

— Ах, милый господин Тартарен, я попал сюда не по своей воле, можете мне поверить!.. Как только Бокерская железная дорога была закончена, меня признали ни на что больше не годным и отправили в Африку… И не я один подвергся этой участи! Сосланы почти все французские дилижансы. Нашли, что мы слишком реакционны, и вот мы теперь все здесь, отбываем каторгу… у вас во Франции это называется «алжирские

железные дороги»[26].

Тут старый дилижанс тяжело вздохнул, а затем продолжал:

— Ах, господин Тартарен, как я тоскую о моем милом Тарасконе! Хорошее то было время, — я был тогда молод! Посмотрели бы вы на меня утром, перед самым отъездом: вымыт я чисто-начисто, до блеска, колеса смазаны и сверкают, как новенькие, фонари — точно два солнца, брезент просмолен на совесть! А как это здорово, когда кучер щелкнет, бывало, несколько раз бичом на мотив: «Эй, Тараск, эй, Тараск, попадешь в тартарары!» — а кондуктор, с рожком на перевязи, в форменной фуражке набекрень, забросит одним махом свою всегда злую собачонку на брезент империала, крикнет: «Пошел! Пошел!» — и вскочит на козлы! Тут моя четверка, звеня бубенцами, под лай собак и гуденье рожка трогается, окна распахиваются, и весь Тараскон с гордостью смотрит, как мчится по большой дороге дилижанс.

Какая это прекрасная, широкая дорога, господин Тартарен, и в каком порядке она содержится!

---

[26] Примечания: 26

В 60-х годах прошлого века во Франции появилось множество компаний, получавших у правительства концессии и крупные ссуды на постройку в Алжире телеграфа, железных дорог и т.п. Однако деньги чаще всего использовались не по назначению, и никаких работ в Алжире не велось.

Километровые столбы, кучки щебня на равном расстоянии одна от другой, справа и слева прелестные оливковые рощи, виноградники… И через каждые десять шагов — постоялый двор, через каждые пять минут — остановка… А какие почтенные люди были мои пассажиры! Мэры и священники, ездившие в Ним, кто — к префекту, кто — к епископу, шелкопрядильщики, чинно возвращавшиеся домой из Мазе, школьники, разъезжавшиеся на каникулы, крестьяне в вышитых рубашках, с утра хорошенько побрившиеся, а наверху, на империале, вы все, господа охотники за фуражками, — вы всегда были такие веселые, и, возвращаясь домой вечером, уже при свете звезд, каждый из вас так мило пел *свой* романс!..

Теперь не то… Бог знает, кого я только не вожу! Каких-то басурманов, от которых я набираюсь насекомых, каких-то негров, бедуинов, солдафонов, проходимцев, нахлынувших сюда из разных стран, колонистов в отрепьях, отравляющих меня своим вонючим табаком, — и все это говорит на таком языке, в котором сам господь бог ничего не поймет… А потом вы же видите, какой за мной здесь уход! Никогда не почистят, никогда не помоют. На меня жалеют даже масло, чтобы смазать колеса. Вместо прежних рослых,

добрых, смирных моих коней — маленькие арабские лошадки, а в них точно бес сидит: лягаются, кусаются, подпрыгивают на бегу, словно козы, копытами ломают оглобли… Ай, ай!.. Вот оно!.. Начинается!.. А дороги! Здесь еще сносно, потому что начальство близко, а дальше и вовсе бездорожье. Пробирайся наугад, через горы и долы, сквозь заросли карликовых пальм и мастиковых деревьев… Определенных остановок нет. Где кондуктору вздумается, там и остановка: то у одной фермы, то у другой.

Иной раз из-за этого шалопая я даю крюку мили в две, оттого что ему заблагорассудилось навестить приятеля и выпить с ним абсенту или шипучки… А потом — гони, кучер, наверстывай! Солнце палит, пыль жжет. Ничего, гони! Зацепился, опрокинулся… Гони вовсю! Реки — вплавь, простужаешься, мокнешь, тонешь… Гони! Гони! Гони! А вечером меня, насквозь мокрого, ставят на ночевку во двор караван-сарая, — это в моем-то возрасте и с моим-то ревматизмом! — и я должен спать под открытым небом, на самом сквозняке. Ночью шакалы и гиены обнюхивают мой кузов, воры забираются ко мне погреться… Вот до чего я дожил, дорогой господин Тартарен, и такую жизнь мне суждено вести, пока в один

прекрасный день, растрескавшись на солнце, прогнив от ночной сырости, я не почувствую, что больше не могу, и не свалюсь где-нибудь на повороте этой треклятой дороги, и арабы на останках моего дряхлого скелета не сварят себе кускус.

— Блидах! Блидах! — крикнул кондуктор, отворяя дверцу.

II
Входит маленький господин

Сквозь запотевшие стекла Тартарен из Тараскона с трудом разглядел красивое здание супрефектуры и перед ним площадь правильной формы, окруженную аркадами, обсаженную апельсинными деревьями, а посреди площади в розовом предутреннем тумане маршировали какие-то ненастоящие, словно бы оловянные солдатики. В кофейнях отворялись ставни. На углу — овощной рынок… Все это было очаровательно, но львами здесь и не пахло.

«На юг!.. Дальше на юг!» — прошептал добрый Тартарен, забиваясь в уголок.

В эту минуту дверца отворилась. Струя свежего воздуха ворвалась в дилижанс и вместе с запахом апельсинного цвета принесла на своих крыльях

маленького господина в коричневом сюртуке, старенького, сухонького, морщинистого, степенного, с лицом в кулачок, в черном шелковом галстуке длиною в пять пальцев, с кожаным портфелем и с зонтиком — типичного деревенского нотариуса.

Обозрев бранные доспехи тарасконца, маленький господин, усевшийся как раз напротив него, видимо, очень удивился и с тягостной назойливостью принялся рассматривать Тартарена.

Лошадей перепрягли, дилижанс двинулся дальше… Маленький господин все смотрел на Тартарена… Наконец Тартарен не вытерпел.

— Вас это удивляет? — спросил он и, в свою очередь, уставился на маленького господина.

— Не удивляет, а мешает, — невозмутимо ответил тот.

И правда: походная палатка, револьвер, два ружья в чехлах, охотничий нож — все это, не считая дородности самого Тартарена из Тараскона, занимало довольно много места…

Ответ маленького господина возмутил его.

— А что же, мне на льва с вашим зонтиком прикажете идти? — вызывающе спросил великий человек.

Маленький господин посмотрел на свой зон-

тик, мягко улыбнулся и все так же хладнокровно спросил:

— Так вы, сударь…

— Тартарен из Тараскона, истребитель львов!

Произнеся эти слова, бесстрашный тарасконец тряхнул, словно гривой, кисточкой своей *шешьи*.

Весь дилижанс оторопел.

Монах-траппист перекрестился, девицы взвизгнули от страха, а фотограф из Орлеанвиля, мечтая о высокой чести сфотографировать истребителя львов, приблизился к нему.

Не смутился один лишь маленький господин.

— А вы уже много убили львов, господин Тартарен? — сохраняя полнейшее спокойствие, осведомился он.

Тарасконец за словом в карман не полез:

— Да, сударь, я убил много львов!.. Я хотел бы, чтобы у вас было столько же волос на голове.

При этих словах весь дилижанс расхохотался — на голом черепе у маленького господина торчало три рыжих волоска.

В разговор вмешался орлеанвильский фотограф:

— Опасная у вас профессия, господин Тартарен!.. Бывают ужасные мгновенья… Вот, например,

бедный Бомбонель…[27]

— А, да, охотник на пантер!.. — довольно презрительно заметил Тартарен.

— А вы его знаете? — спросил маленький господин.

— Вот так так!.. Как же не знать?.. Раз двадцать вместе охотились.

Маленький господин улыбнулся.

— Вы, значит, и на пантер охотитесь, господин Тартарен?

— Так, иногда, от нечего делать… — сердито буркнул тарасконец и, гордо подняв голову, отчего сердца двух девиц сразу так и запылали, добавил: — Это вам не лев!

— В сущности, пантера — это большая кошка… — робко заметил орлеанвильский фотограф.

— Совершенно верно! — подтвердил Тартарен; он был не прочь несколько принизить Бомбонеля, особенно в глазах дам.

Тут дилижанс остановился, кондуктор отворил дверцу и обратился к старичку.

— Вам выходить, сударь, — сказал он весьма почтительным тоном.

---

[27] Примечания: 27

Бомбонель Шарль-Лоран (1816-1890) — знаменитый охотник, автор книги «Бомбонель, или Истребитель пантер. Его охоты, описанные им самим» (1860).

Маленький господин встал и вышел из дилижанса, но, прежде чем затворить за собой дверцу, сказал:

— Позвольте, господин Тартарен, дать вам один совет.

— Какой совет, сударь?

— А вот послушайте! Вы мне внушаете симпатию, и я хочу вас предупредить… Скорей возвращайтесь в Тараскон, господин Тартарен!.. Здесь вам делать нечего… В глубине страны осталось всего несколько пантер, ну да это же мелочь! Разве это для вас дичь?.. А со львами все кончено. В Алжире их больше нет… Мой друг Шассен[28] недавно убил последнего.

Тут маленький господин поклонился, затворил за собой дверцу и, смеясь, удалился вместе со своим портфелем и зонтиком.

— Кондуктор! — изобразив на своем лице свирепость, заговорил Тартарен. — Кто этот старикашка?

— Как? Вы не знаете? Да ведь это господин Бомбонель!

---

[28] Примечания: 28
Шассен Жак (1821-1871) — знаменитый французский охотник.

III
Львиная обитель

Тартарен из Тараскона слез в Милианахе, а дилижанс продолжал свой путь на юг.

Двое суток терпеть жестокую тряску, две ночи подряд, не смыкая глаз, смотреть в окно, не покажется ли где-нибудь в поле или на обочине дороги громадная тень льва, — столь длительное бодрствование, несомненно, заслуживало нескольких часов отдыха. А затем, сказать по правде, после недоразумения с Бомбонелем честному тарасконцу, несмотря на его вооружение, свирепое выражение лица и красную феску, было неловко перед орлеанвильским фотографом и двумя девицами из 3-го гусарского.

Итак, он шел по широким милианахским улицам мимо красивых деревьев, мимо фонтанов, но, ища гостиницу поудобнее, бедняга все думал о том, что сказал ему Бомбонель… А если это правда? Если в Алжире нет больше львов?.. К чему тогда все эти скитания, к чему столько усилий?

Внезапно, повернув за угол, герой наш столкнулся нос к носу… угадайте с кем?.. С велико-

лепным львом, — перед входом в кофейню царственно восседал на собственном заду лев, купая в солнечных лучах рыжую гриву.

— Что же мне морочили голову, будто их тут нет?.. — отскочив, воскликнул Тартарен.

Услышав этот возглас, лев опустил голову и, взяв в пасть деревянную миску, стоявшую перед ним на тротуаре, смиренно протянул ее в сторону оцепеневшего Тартарена… Проходивший мимо араб бросил в миску два су, — лев завилял хвостом… Тут Тартарен понял все. Он увидел то, что вначале ему помешало увидеть волнение: толпу, обступившую жалкого слепого ручного льва, и двух ражих негров с дубинами, водивших его по улицам, как савояр носит сурка.

Кровь бросилась тарасконцу в голову.

— Негодяи! — громовым голосом крикнул он. — Так унижать благородное животное!..

Он подскочил ко льву и вырвал из его царственных челюстей презренную миску… Оба негра, решив, что это вор, взмахнули дубинами и бросились на тарасконца… Поднялась отчаянная кутерьма… Негры колотили, женщины визжали, дети хохотали. Старый еврей-сапожник кричал из своей мастерской: «К мировому шудье! К мировому шудье!» Даже лев, погруженный в вечную

тьму, издал нечто вроде рычания, и несчастный Тартарен после неравной борьбы грохнулся прямо на монеты и мусор.

В это время какой-то человек раздвинул толпу, единым словом заставил попятиться негров, одним мановением руки заставил шарахнуться женщин и детей, поднял Тартарена, почистил, отряхнул и усадил его, тяжело дышавшего, на тумбу.

— Кого я вижу? *Кнэзь*, это вы?.. — потирая бока, воскликнул добрый Тартарен.

— Да, да, мой храбрый друг, это я... Получив ваше письмо, я оставил Байю на попечение брата, сломя голову промчался пятьдесят миль в почтовой карете и подоспел как раз вовремя, чтобы вырвать вас из лап этих скотов, этих дикарей... Но, боже правый, как это вам удалось попасть в такую передрягу?

— У меня не было другого выхода, *кнэзь*... Я не могу видеть несчастного льва с миской в зубах, униженного, побежденного, посрамленного, служащего посмешищем всей этой мусульманской черни...

— Вы ошибаетесь, мой благородный друг. Напротив, они чтут этого льва, преклоняются перед ним. Это священное животное принадлежит

большому львиному монастырю, основанному триста лет тому назад Мухаммедом бен Аудом; монастырь отчасти напоминает огромную строгую обитель траппистов, но только рыкающую, пахнущую хищниками: там особого рода монахи вскармливают и приручают сотни львов, а потом братья-сборщики обходят с ними всю Северную Африку… Пожертвования, которые собирают братья, идут на содержание монастыря и его мечети, и вот отчего эти два негра сейчас так вспылили: они убеждены, что за каждый грош, за каждый украденный или потерянный грош из собранной милостыни лев тут же их растерзает.

Слушая этот неправдоподобный и тем не менее правдивый рассказ, Тартарен из Тараскона даже посапывал от удовольствия.

— Во всем этом для меня существенно вот что, — заключил он: — Что бы ни говорил уважаемый Бомбонель, а львы в Алжире еще есть!..

— Еще как есть! — с восторгом подхватил князь. — Завтра же мы с вами обследуем долину Шелиффа, и вот там вы увидите!..

— Что я слышу, *кнэзь?..* Вы тоже собираетесь на охоту?

— Черт возьми! Неужели вы думаете, что я позволю вам одному бродить по африканским

дебрям, среди этих диких племен, язык и обычаи которых вам неведомы?.. Нет, нет, доблестный Тартарен, я вас не оставлю!.. Я буду вашим неизменным спутником.

— О, *кнэзь*, *кнэзь*!..

Весь сияя, Тартарен прижал к груди доблестного князя Григория и с гордостью подумал о том, что и у него, как у Жюля Жерара, Бомбонеля и других знаменитых истребителей львов, есть свой князь-чужестранец, который будет сопровождать его на охоту.

IV
Караван в пути

На другое утро, чуть свет, бесстрашный Тартарен и не менее бесстрашный князь Григорий в сопровождении не то пяти, не то шести носильщиков-негров вышли из Милианаха и начали спускаться в долину Шелиффа по очаровательной крутой тропинке, на которую падала густая тень от кустов жасмина, туи, рожкового дерева и дикой оливы, между изгородями садиков, принадлежавших туземцам, под журчанье множества родников, весело сбегавших с уступа на уступ… Настоящий ливанский пейзаж!

Князь Григорий был так же обвешан оружием, как и великий Тартарен, но его преимущество составляло необыкновенное, великолепное кепи с золотым галуном и вышитыми серебром дубовыми листьями, что придавало его высочеству некоторое сходство с мексиканским генералом или же с начальником станции в каком-нибудь придунайском государстве.

Это залихватское кепи очень занимало тараскконца; когда же он, преодолевая неловкость, обратился к князю за разъяснениями, тот с важным видом ответил: «Мой головной убор незаменим во время путешествий по Африке», — и, смахивая рукавом пыль с козырька, начал рассказывать своему простодушному спутнику о том, какую важную роль играет кепи в наших взаимоотношениях с арабами, о том, что ни одна принадлежность военной формы не внушает им такого ужаса, как именно кепи, и что гражданские власти сочли за благо надеть кепи на всех своих служащих, начиная с дорожного мастера и кончая податным инспектором. Короче, по словам князя выходило так, что для того, чтобы управлять Африкой, не нужна ни светлая голова, ни голова вообще. Нужно кепи, красивое кепи с галуном, которое блестело бы на шесте, как

шляпа Гесслера[29].

Так, беседуя и философствуя, путники следовали дальше. Босоногие носильщики, крича, как обезьяны, прыгали с уступа на уступ. Громыхали оружейные ящики. Сверкали ружья. Встречные туземцы низко склонялись перед волшебным кепи… Начальник управления по делам арабов, вышедший со своей супругой подышать свежим воздухом на крепостной вал Милианаха, заслышав необычайный шум, увидев сверканье ружейных стволов среди ветвей и вообразив, что это набег, приказал опустить подъемный мост, бить сбор всех частей и немедленно объявил город на осадном положении.

Славное начало для похода на львов!

На беду, к концу дня дела пошли хуже. Один из негров, несших пожитки, наелся липкого пластыря из походной аптечки, и у него начались дикие боли в животе. Другой, напившись камфарного спирту, мертвецки пьяный, растянулся на обочине дороги. Третьего, того, который нес дорожный альбом, прельстила позолота застежек, и, вообразив, что это сокровища Мекки, он

---

[29] Примечания: 29

По преданию, австрийский наместник кантонов Швиц и Ури, Герман Гесслер, заставил швейцарцев кланяться своей шляпе, повешенной на шест; из-за этого он и был убит Вильгельмом Теллем (1307 г.).

стремглав пустился бежать с альбомом в Заккар… Надо было обсудить положение… Караван сделал привал и стал держать совет в прозрачной тени старой смоковницы.

— По-моему, — заговорил князь, пытаясь, но безуспешно, развести таблетку мясного бульона в усовершенствованной кастрюле с тройным дном, — по-моему, с этого дня мы должны отказаться от носильщиков-негров… Как раз недалеко отсюда арабский базар. Хорошо было бы там остановиться и купить несколько вислоухих…

— Нет, нет!.. Никаких вислоухих!.. — живо перебил его великий Тартарен, у которого при одном воспоминании о Черныше все лицо пошло красными пятнами, и с лицемерным видом прибавил: — Как же это маленькие ослики потащат всю нашу кладь?

Князь усмехнулся.

— Вы ошибаетесь, мой прославленный друг. На вид алжирский вислоухий тощ и слабосилен, но крестец у него крепкий… А иначе он бы не вынес всего того, что ему приходится выносить… Поговорите-ка с арабами… Вот как они объясняют систему нашего колониального управления: наверху, — говорят они, — сидит *мусью*, губернатор, и своей большущей дубиной бьет офицеров,

офицеры в отместку бьют солдата, солдат бьет колониста, колонист бьет араба, араб бьет негра, негр бьет еврея, еврей, в свою очередь, бьет осла, а бедному маленькому ослику бить некого, вот он и вытягивает спину и переносит все. Ваши ящики он тоже отлично понесет, можете быть уверены.

— Все равно, — возразил Тартарен из Тараскона. — Я полагаю, что ослы испортят нам общий вид каравана… Я бы предпочел что-нибудь более восточное… Вот если бы, к примеру, нам обзавестись хотя бы одним верблюдом…

— Да сколько вашей душе угодно, — сказал его высочество, и караван двинулся к арабскому базару.

Базар находился в нескольких километрах отсюда, на берегу Шелиффа… Тысяч пять или шесть одетых в лохмотья арабов копошились на солнцепеке и вели шумный торг среди глиняных кувшинов с черными маслинами, горшков с медом, мешков с пряностями, среди высившихся грудами сигар, среди пылавших очагов, где жарились истекавшие жиром бараньи туши, среди боен, устроенных под открытым небом, боен, где голые негры, по колена в крови, с окровавленными руками, свежевали короткими ножами козлят, висевших на жердях.

Вон палатка, вся в пестрых заплатах, — в углу склонился над толстой книгой вооружившийся очками мавр-нотариус… Здесь — толпа народа, яростные крики: идет игра в рулетку; рулетка — на мерке для зерна, вокруг кабилы, которые чуть что — за ножи… Немного дальше топот, смех и веселье: смотрят, как еврей-купец вместе со своим мулом барахтается в Шелиффе… А сколько собак, ворон, скорпионов! А что мух, что мух!..

Зато верблюдов не оказалось. В конце концов все же нашли одного, от которого мзабиты давно уже мечтали отделаться. Это был самый настоящий верблюд — жилец пустыни, верблюд классический, облезлый, печальный, с длинной, как у бедуина, головой и с горбом, который от слишком долгого поста сделался дряблым и уныло свисал набок.

Тартарену верблюд так понравился, что он изъявил желание погрузить на него решительно все… Уж это мне помешательство на Востоке!..

Верблюд опустился на колени. На него навьючили вещи.

Князь устроился у него на шее. Тартарен для пущей важности взобрался на самый горб, между двумя ящиками, расположился со всеми удобствами, приосанился и, с высоты своего величия

поклонившись всему сбежавшемуся сюда базару, подал знак к отправлению… Ах ты, черт, если бы тарасконцы могли его сейчас видеть!..

Верблюд выпрямился и, выбрасывая вперед длинные узловатые ноги, припустился во весь свой мах…

О, ужас! Всего каких-нибудь несколько скачков — и вот уже Тартарен смертельно побледнел, а его героическая шешья принимает одно за другим те положения, какие приходилось ей принимать на «Зуаве». Чертов верблюд качался, как фрегат на волнах.

— *Кнэзь, кнэзь*! — лепетал мертвенно-бледный Тартарен, цепляясь за сухую паклю, росшую на верблюжьем горбу. — *Кнэзь*, давайте слезем!.. Я боюсь… боюсь посрамить Францию…

Куда там! Верблюд разогнался, и теперь уже никакая сила не могла бы остановить его. Четыре тысячи босоногих арабов бежали сзади, размахивали руками, хохотали как сумасшедшие и сверкали на солнце сотнями тысяч белых зубов…

Великий человек из Тараскона принужден был покориться своей участи. Уныло мотался он на горбе. Какие только положения не принимала его *шешья*, и… и Франция была посрамлена.

V
Ночная засада в олеандровой роще

Несмотря на всю живописность этого верхового животного, наши истребители львов из уважения к *шешье* принуждены были от него отказаться. Словом, дальше они опять пошли пешком, и караван, делая небольшие переходы, без всяких приключений двигался к югу: тарасконец — впереди, черногорец — сзади, между ними — верблюд с оружейными ящиками.

Экспедиция продолжалась около месяца.

В течение этого месяца грозный Тартарен в поисках неуловимых львов странствовал от дуара к дуару[30] по бескрайней долине Шелиффа в страшном и забавном французском Алжире, где ароматы древнего Востока сливаются с резким запахом абсента и казармы, во французском Алжире, являющем собой помесь Авраама с Зузу[31], сочетание чего-то волшебного и простодушно

---

[30] Примечания: 30

Дуар — арабское селение в Алжире.

[31] Примечания: 31

То есть библейской патриархальности кочевников с французским солдафонством (зузу — кличка зуавов).

шутовского, как бы страницу из Ветхого завета в пересказе сержанта Раме или бригадира Питу… Любопытное зрелище для тех, кто умеет видеть… Дикий и уже испорченный народ, который мы цивилизуем, прививая ему наши пороки… Жестокая, безответственная власть фантастических башага[32], которые с важным видом сморкаются в широкие ленты ордена Почетного легиона и ни за что ни про что велят бить людей палками по пяткам. Неправый суд очкастых кадиев[33], этих тартюфов от Корана и от закона, которые, сидя под пальмами, думают только о Пятнадцатом августа и о повышениях и продают свои приговоры, как Исав — первородство, за чечевичную похлебку или, вернее, за кускус в сахаре. Распутные, вечно пьяные каиды[34], бывшие денщики какого-нибудь там генерала Юсуфа[35], хлещут шампанское с маонскими прачками и наедаются

---

[32] Примечания: 32

Башага — вожди кочевых племен, подчинившиеся колониальным властям.

[33] Примечания: 33

Кадий — судья у арабов.

[34] Примечания: 34

Каид — старейшина рода у арабов.

[35] Примечания: 35

Генерал Юсуф (1805-1866) — французский генерал; ребенком был захвачен турками и воспитан среди них, но в 1830 году перешел на сторону французов и до 1864 года участвовал в завоевании Алжира.

до отвала жареной бараниной, в то время как перед их палатками туземцы мрут с голоду и вырывают у собак объедки с господского стола.

А вокруг, куда ни глянь, невозделанные поля, выжженная трава, голые кусты, заросли кактусов и мастиковых деревьев — вот она, житница Франции!.. Житница — только, увы, без жита, зато изобилующая шакалами и клопами. Заброшенные дуары, туземцы, в ужасе бегущие куда глаза глядят, пытающиеся спастись от голода и устилающие дороги своими телами. Кое-где попадаются французские селения: дома обветшали, поля не засеяны, ненасытная саранча пожирает все вплоть до занавесок на окнах, а колонисты все до одного в кофейной: пьют абсент и обсуждают проекты реформ и конституции.

Вот что увидел бы Тартарен, прояви он малейшую наблюдательность, но, весь отдавшись своей львиной страсти, тарасконец шел вперед, не глядя по сторонам, вперив неподвижный взор в воображаемых чудищ, которые все не появлялись.

Так как походная палатка упорно не желала раскрываться, а таблетки мясного бульона — растворяться в воде, караван вынужден был утром и вечером делать привалы в арабских селениях.

Благодаря кепи князя Григория наших охотников всюду встречали с распростертыми объятиями. Они останавливались у ага, в их своеобразных дворцах — больших белых домах без окон, где кальян вполне уживается с комодом красного дерева, смирнские ковры — с новейшими лампами, кедровые ларцы, набитые турецкими цехинами, — с часами, украшенными фигурками в стиле Луи-Филиппа… Всюду в честь Тартарена устраивались пышные празднества — *диффа*, джигитовки… По случаю его прибытия целые *гумы*, сверкая на солнце бурнусами, палили из ружей. Затем, после пальбы, радушный ага подходил к Тартарену и предъявлял счет… Вот что такое арабское гостеприимство.

А львов все нет как нет! Их здесь не больше, чем на Новом мосту!..[36]

И все же тарасконец духом не падал. Бесстрашно углубляясь все дальше и дальше на юг, он целыми днями прокладывал себе дорогу в чаще, шарил карабином в ветвях карликовых пальм, у каждого куста кричал: «Кш! Кш!» А вечером, перед сном, небольшая двух-трехчасовая засада… Напрасный труд! Лев не показывался.

---

[36] Примечания: 36
Новый мост — находится в самом центре Парижа.

Но вот как-то вечером, часов около шести, когда караван пробирался сквозь лиловую чащу мастиковых деревьев, где жирные, отяжелевшие от зноя перепела там и сям подпрыгивали в траве, Тартарену из Тараскона почудилось — но только далекое-далекое, но только едва-едва слышное, но только едва-едва не заглушаемое ветром — чудесное рычание, которому он столько раз внимал в Тарасконе, расхаживая взад и вперед за балаганом Митен.

Сперва наш герой решил, что это ему показалось… Однако еще секунда — и по-прежнему отдаленное, но уже более явственное рычание послышалось снова, и на этот раз в ответ ему со всех сторон залаяли дуарские собаки, у верблюда задрожал от ужаса горб, загромыхали консервы и ящики с оружием.

Сомнений нет. Это лев… Скорей, скорей в засаду! Нельзя терять ни минуты.

Поблизости находился древний, увенчанный белым куполом *марабут* (гробница святого), над дверью которого, в нише, были выставлены огромные желтые туфли покойного, а по стенам развешена уйма самых разнообразных приношений: полы от бурнуса, золотые нитки, пряди рыжих волос… Тартарен из Тараскона оставил

здесь князя с верблюдом, а сам пошел искать место для засады. Князь Григорий изъявил желание последовать за ним, но тарасконец воспротивился: ему хотелось встретиться со львом один на один. На всякий случай он попросил его высочество никуда отсюда не уходить и передал ему на сохранение свой бумажник, туго набитый ценными бумагами и банковыми билетами, — он боялся, как бы лев не разорвал его своими когтями. Затем наш герой пошел на разведку.

В ста шагах от марабута, на берегу полувысохшей речки, подернутая дымкою сумерек, трепетала на ветру олеандровая рощица. Здесь Тартарен и устроил засаду по всем правилам: опустился на одно колено, карабин взял на изготовку, а большой охотничий нож грозно воткнул прямо перед собой в прибрежный песок.

Настала ночь. Розовый воздух полиловел, затем стал темно-синим… Внизу, меж голышей, словно ручное зеркальце, блестела прозрачная лужица. Это был водопой хищников. На противоположном склоне чуть белела тропинка, которую их огромные лапы проложили среди мастиковых деревьев. Этот таинственный спуск к реке невольно бросал в дрожь. А тут еще незримая жизнь африканских ночей: шорох задетой

ветки, бархатные лапы подкрадывающихся зверей, пронзительный вой шакалов, а в небе, на высоте ста — двухсот метров, огромные станицы журавлей, летящие с криком избиваемых младенцев, — не правда ли, есть от чего смутиться?

Тартарен и был смущен! И даже очень. У бедняги зуб на зуб не попадал! Нарезной ствол карабина выбивал о рукоять охотничьего ножа, воткнутого в землю, дробь кастаньет… Ничего не поделаешь! Иной раз трудно бывает взять себя в руки, да и потом, если бы герои никогда не испытывали страха, в чем же была бы тогда их заслуга?..

Ну да, Тартарен испытывал страх, испытывал все время. Тем не менее он держался молодцом час, другой, но всякий героизм имеет свои пределы… Вдруг тарасконец слышит, что совсем близко, на высохшем речном дне под чьими-то ногами осыпаются камешки. Он в ужасе вскакивает, посылает наугад две пули в ночную тьму и без оглядки бежит к марабуту, а в песке остается торчать его нож — в память о самом сильном испуге, какой когда-либо овладевал душой истребителя чудищ.

— *Кнэзь*, ко мне!.. Лев!..

Молчание.

— *Кнэзь, кнэзь*! Вы тут?

Князя тут не было. На белую стену марабута, залитую лунным сиянием, один только добрый верблюд отбрасывал причудливую тень своего горба… Князь Григорий удрал с бумажником и банковыми билетами… Целый месяц его высочество дожидался такого случая…

VI
Наконец!..

По прошествии чреватой событиями и трагической ночи, когда наш герой пробудился чуть свет и окончательно удостоверился, что князь сбежал со всей его мошной, — сбежал и уже не вернется, а он остался один в маленькой белой гробнице, обманутый, обворованный, брошенный, один в этом диком Алжире, не считая верблюда, и в кармане у него завалялось всего-навсего несколько мелких монет, — только тут впервые тарасконец разочаровался. Разочаровался в Черногории, разочаровался в дружбе, разочаровался в славе, разочаровался даже во львах, и, как Христос в Гефсиманском саду, великий человек горько заплакал.

И так он, все еще в раздумье, сидел у входа в

марабут, уронив голову на руки, зажав карабин между колен, а верблюд не спускал с него глаз, как вдруг кустарник зашевелился, и ошеломленный Тартарен в десяти шагах от себя увидел гигантского льва; лев приближался, высоко закинув голову и издавая страшный рев, и от этого рева задрожали стены марабута, сплошь увешанные всякой всячиной, и подпрыгнули даже туфли святого, покоившиеся в нише.

Один лишь тарасконец не дрогнул.

— Наконец! — воскликнул он, подскочив, и приставил приклад к плечу.

Бах! Бах! Фюить! Фюить!.. Готово… В голове у льва две разрывные пули… В одну минуту к огнедышащему небу Африки ужасающим фейерверком взметнулись кусочки мозга, капли дымящейся крови и клочья рыжей шерсти. Затем все рассеялось, и Тартарен увидел… двух рослых разъяренных негров, которые мчались на него с дубинами. Двух негров из Милианаха!

О, горе! То был ручной лев, жалкий слепец из Мухаммедовой обители, — вот кого сразили тарасконские пули.

На сей раз, клянусь Магометом, Тартарен отделался дешево. Негры-сборщики, эти исступленные фанатики, конечно, разорвали бы его

в клочки, не пошли христианский бог ему на помощь ангела-хранителя в образе сельского стражника Орлеанвильской общины, с саблей под мышкой прибежавшего на место происшествия по глухой тропе.

При виде муниципального кепи негры тотчас же присмирели. Величественный и невозмутимый, человек с бляхой составил протокол, велел взвалить на верблюда львиные останки и, предложив истцам и ответчику следовать за ним, направился в Орлеанвиль, а там это дело было передано в суд. Началась длинная, томительная процедура.

После Алжира диких племен Тартарену из Тараскона довелось познать другой Алжир, не менее забавный и не менее страшный, — Алжир городской, Алжир судов и адвокатов. Он познакомился с подозрительными стряпчими, обделывающими грязные делишки в кофейнях, с судейской богемой, с делами в папках, пропахших абсентом, с белыми галстуками, залитыми дешевым шампанским; он познакомился с судебными исполнителями, поверенными, ходатаями по делам, со всей этой тощей и голодной саранчой, облепляющей гербовую бумагу, съедающей колониста со всеми потрохами, обдирающей его

по листку, точно маисовый початок…

Прежде всего надлежало выяснить, на чьей территории был убит лев: на гражданской или на военной. В первом случае дело подлежало рассмотрению в гражданском суде; во втором случае Тартарен должен был предстать перед военным трибуналом, и при одном слове «трибунал» впечатлительный тарасконец уже рисовал себе, как его расстреливают у крепостной стены или как его гноят в подземелье…

Эти две территории недостаточно четко разграничены в Алжире — вот что самое ужасное… Наконец, после целого месяца беготни, хлопот, ожидания на солнцепеке во дворах арабских присутственных мест, было установлено, что хотя, с одной стороны, лев был убит на военной территории, но, с другой стороны, Тартарен, когда стрелял, находился на территории гражданской. Дело, следовательно, слушалось в гражданском суде, и наш герой был приговорен к возмещению убытков в размере двух тысяч пятисот франков, не считая судебных издержек.

Откуда взять такие деньги? Несколько пиастров, уцелевших от налета, совершенного князем, давным-давно ушли на оплату гербового сбора и на абсент для судейских.

Несчастный истребитель львов вынужден был продавать по частям, карабин за карабином, свои оружейные ящики. Он продал кинжалы, малайские криссы, кастеты… Бакалейный торговец купил у него консервы. Аптекарь — все, что осталось от липкого пластыря. Высокие сапоги, и те вслед за усовершенствованной походной палаткой перекочевали к старьевщику, который поставил их рядом с кохинхинскими диковинами… После того как вся сумма была выплачена, у Тартарена ничего больше не осталось, кроме львиной шкуры и верблюда. Шкуру он тщательно упаковал и отправил в Тараскон бравому командиру Бравида. (Что сталось с этой необыкновенной добычей, мы увидим дальше.) С помощью же верблюда он рассчитывал добраться до Алжира, но только не сев на него верхом, а продав его и купив на эти деньги место в дилижансе, что, конечно, является наилучшим способом путешествия на верблюдах. К несчастью, сбыть с рук верблюда не так-то просто — никто не давал за него ни лиара.

Тем не менее Тартарен решил добраться до Алжира во что бы то ни стадо. Ему не терпелось увидеть вновь голубой корсаж Байи, свой домик, фонтаны и в ожидании денег из Франции отдох-

нуть под белыми пальметтами своей галереи. И наш герой не колебался: измученный, но не сломленный, без гроша в кармане, он решил, делая частые привалы, идти пешком.

Верблюд не покинул его в беде. Странное животное прониклось к своему хозяину непостижимой нежностью и, видя, что тот уходит из Орлеанвиля, благоговейно двинулось следом за ним, приноравливаясь к его шагу и не отставая ни на пядь.

Первое время Тартарен был даже растроган: эта верность, эта прошедшая через все испытания преданность умилила его; к тому же верблюд был крайне неприхотлив и питался неизвестно чем. Однако по прошествии нескольких дней тарасконцу наскучил унылый спутник, неуклонно следовавший за ним по пятам и напоминавший ему все его злоключения; к ощущению скуки постепенно примешалось чувство досады: его уже раздражал печальный вид верблюда, горб, гусиный шаг. Одним словом, Тартарен его невзлюбил и думал теперь только о том, как бы от него избавиться, но животное проявляло упорство… Тартарен попробовал потерять верблюда — верблюд отыскал его; попробовал спастись бегством — верблюд бегал быстрее… Он

кричал на него: «Пошел!» — бросал в него камни. Верблюд останавливался и грустно смотрел на него, а потом, выждав с минуту, снова трогался в путь и неукоснительно каждый раз догонял его. Тартарен вынужден был смириться.

Когда же, прошагав восемь нескончаемо долгих дней, тарасконец, запыленный, выбившийся из сил, завидел издали, как сверкнули в зелени белые террасы окраинных домов Алжира, когда он оказался уже в пригороде, на шумной Мустафской улице, среди зуавов, бискарийцев, маонцев, толпившихся вокруг него и глазевших, как он шествует со своим верблюдом, последнее терпение у него лопнуло. «Нет, нет! — подумал он. — Это невозможно. Я не могу войти в Алжир с верблюдом!» Воспользовавшись затором в уличном движении, он свернул в поле и залег в канаве… Мгновение спустя он увидел, что наверху, по шоссе, встревоженно вытянув шею, вскачь промчался верблюд.

Тогда только, облегченно вздохнув, герой наш вылез из своего укрытия и окольной тропинкой, огибавшей его садик, возвратился в город.

VII
Катастрофа за катастрофой

Подойдя к своему мавританскому домику, Тартарен остановился в полном изумлении. День склонялся к закату, улица была безлюдна. Низкую стрельчатую дверь негритянка забыла притворить, и из дома неслись смех, звон бокалов, хлопанье пробок от шампанского, а покрывал весь этот очаровательный содом женский голос, веселый и чистый; он пел:

Красавица Марко! Ты любишь
Потанцевать среди цветов?..

— Что за черт! — бледнея, прошептал Тартарен и бросился во двор.

Несчастный Тартарен! Какое зрелище его ожидало!.. Под арками галереи среди бутылок, печенья, разбросанных подушек, трубок, тамбуринов и гитар стояла Байя без голубой кофты, без корсажа, в рубашке из серебристого газа, в широких, бледно-розовых шароварах, в заломленной набекрень фуражке морского офицера и пела «Красавицу Марко»... У ее ног, на циновке, пресыщенный любовью и вареньем, Барбасу,

коварный капитан Барбасу, слушал пение и помирал со смеху.

Появление Тартарена, отощавшего, изможденного, запыленного, с горящими глазами, в дыбом стоящей *шешье,* мгновенно прекратило эту прелестную оргию в турецко-марсельском вкусе. Байя взвизгнула, как испуганная левретка, и шмыгнула в дом. Барбасу, однако, ничуть не смутился, — он только еще громче захохотал.

— Ну, ну, господин Тартарен, что вы на это скажете? Убедились теперь, что она говорит по-французски?

Тартарен из Тараскона в бешенстве ринулся на него:

— Капитан!

— *Нэ волнэйся, дрэжэчек*! — крикнула мавританка и полным очаровательного задора движением перевесилась через балюстраду.

От неожиданности бедняга тарасконец плюхнулся прямо на тамбурин. Его мавританка умела говорить даже по-марсельски!

— Я вас предупреждал — держитесь подальше от алжирок! — наставительно заметил капитан Барбасу. — Это вроде вашего черногорского князя.

Тартарен насторожился:

— Вы знаете, где князь?

— Да, он отсюда недалеко! Он поселился на пять лет в уютной Мустафской тюрьме. Этого жулика поймали с поличным… Впрочем, его упрятывают не в первый раз. Его высочество где-то уже отбыл три года тюрьмы… Да позвольте! По-моему, как раз в Тарасконе.

— В Тарасконе?.. — воскликнул Тартарен, которого внезапно осенило. — Так вот почему он знает только одну часть нашего города!..

— Ну разумеется!.. Вид на Тараскон из окон тюрьмы… Ах, дорогой господин Тартарен, в этой проклятой стране надо вечно быть начеку, иначе нарвешься на большие неприятности… Взять хотя бы вашу историю с муэдзином…

— Какую историю? С каким муэдзином?

— Вот тебе раз!.. С тем муэдзином, что напротив, с тем, что ухаживал за Байей… На днях об этом было в «Акбаре», и весь Алжир до сих пор покатывается со смеху… В самом деле, забавно: муэдзин, распевая молитвы на своем минарете, перед самым вашим носом объяснялся девице в любви и, призывая имя аллаха, назначал ей свидания…

— Стало быть, в этой стране все сплошь прохвосты? — взревел несчастный тарасконец.

Барбасу ответил на это философическим жестом.

— Понимаете, дорогой мой, новые страны… Ну, да не в этом дело! Послушайтесь вы моего совета: возвращайтесь как можно скорее в Тараскон.

— «Возвращайтесь»… Легко сказать… А деньги?.. Разве вы не знаете, как меня обчистили в пустыне?

— Эка важность! — со смехом сказал капитан. — «Зуав» отбывает завтра, — если хотите, я вас доставлю на родину… Согласны, дружище?.. Ну и отлично. Теперь вам только вот что надо: тут еще осталось на несколько бокалов шампанского, полпирога… Присаживайтесь! Кто старое помянет, тому глаз вон!..

Поколебавшись с минуту для приличия, Тартарен наконец согласился. Он сел, чокнулся с капитаном, на звон бокалов Байя сошла вниз и допела «Красавицу Марко», пиршество зашло далеко за полночь.

Часов около трех утра, проводив своего друга-капитана, добрый Тартарен с легкостью в мыслях, но с тяжестью в ногах возвращался домой, а когда он проходил мимо мечети, то невольно вспомнил проказника-муэдзина; это его насмешило, и в голове у него тут же составился блестящий план

мести. Дверь была отперта. Он вошел, миновал длинный ряд коридоров, устланных циновками, поднялся наверх, потом еще выше и наконец очутился в маленькой турецкой молельне, где под самым потолком качался железный фонарь, отбрасывая на белые стены причудливые тени.

Муэдзин был тут: в высоком тюрбане и белом балахоне, он сидел на тахте и курил мостаганемскую трубку, а перед ним стоял большой стакан холодного абсента, к которому он, в ожидании того часа, когда ему надлежало призвать правоверных на молитву, благоговейно прикладывался… При виде Тартарена он от ужаса выронил трубку.

— Ни слова, поп!.. — сказал приводивший свой план в исполнение тарасконец. — Давай сюда тюрбан и балахон!..

Турецкий поп, весь дрожа, отдал тюрбан, балахон — все, что от него потребовали. Тартарен облачился и торжественно прошествовал на минарет.

Вдали сверкало море. Белые кровли поблескивали в лунном свете. Ветер, дувший с моря, доносил запоздалые звуки гитар… Муэдзин из Тараскона собрался с духом, а затем, воздев руки, начал выкрикивать тонким голосом:

— *Ла алла ил алла*... Магомет — старый шут... Восток, Коран, башага, львы, мавританки — все это не стоит ломаного гроша!.. Нет больше *тэрок*... Остались одни прощелыги... Да здравствует Тараскон!..

Славный Тартарен, пользуясь диким наречием, представлявшим собою смесь арабского с провансальским, на все четыре стороны, на море, на город, на равнину, на горы, изрыгал весело звучавшие тарасконские проклятья, а ему внятно и торжественно отзывались муэдзины, сначала с ближних минаретов, потом с дальних, и правоверные, жившие на самом краю Верхнего города, набожно били себя в грудь.

VIII
Тараскон! Тараскон!

Полдень. «Зуав» разводит пары, сейчас отойдет. С балкона кофейной «Валентин» господа офицеры наводят подзорную трубу, а затем, по старшинству, с полковником во главе, подходят взглянуть на счастливый кораблик, который отправляется во Францию. Это любимое развлечение всего штаба... Внизу искрится водная гладь рейда. Казенная часть старых турецких орудий,

врытых в землю вдоль набережной, ослепительно сверкает на солнце. Торопятся пассажиры. Бискарийцы и маонцы грузят вещи в лодки.

А у Тартарена из Тараскона вещей нет. Вот он со своим другом Барбасу идет по Морской улице, мимо небольшого базара, заваленного бананами и арбузами. Незадачливый тарасконец оставил на мавританском берегу вместе с оружейным ящиком и свои мечты, и теперь он с пустыми руками собирается отплыть в Тараскон… Только успевает он прыгнуть в капитанскую шлюпку, как с высокой площади, тяжело дыша, скатывается на набережную какое-то животное и галопом несется к нему. Это верблюд, преданный верблюд, целые сутки искавший своего хозяина по всему Алжиру.

Тартарен меняется в лице и делает вид, что верблюд не его, но верблюд приходит в исступление. Он мечется по набережной. Он зовет своего друга, он умильно смотрит на него. «Возьми меня с собой! — кажется, говорит его грустный взгляд. — Возьми меня в лодку и увези прочь, прочь от этой бутафорской Аравии, от этого нелепого Востока с локомотивами и дилижансами, где такому одногорбому отщепенцу, как я, нет больше места в жизни. Ты — последний турок, я

— последний верблюд… Так зачем же нам разлучаться, о Тартарен?..»

— Это не ваш верблюд? — спрашивает капитан.

— Нет, что вы! — отвечает Тартарен, содрогаясь при одной мысли, как бы он появился в Тарасконе с такой потешной свитой. И, без зазрения совести отрекшись от товарища по несчастью, он отталкивается от алжирской земли и приводит в движение лодку. Верблюд нюхает воду, вытягивает шею так, что хрустят суставы, со всего размаху бросается в море, плывет за шлюпкой к «Зуаву», и горб его пляшет на волнах, как тыква, а длинная шея торчит из воды, как водорез триремы.

Лодка и верблюд подплывают к пакетботу одновременно.

— А мне жаль дромадера! — говорит растроганный капитан Барбасу. — Возьму-ка я его, пожалуй, на борт… Приеду в Марсель и подарю Зоологическому саду.

С помощью канатов и блоков верблюда, отяжелевшего от морской воды, еле-еле втащили на палубу, и «Зуав» отвалил.

Плаванье продолжалось двое суток, и все это время Тартарен отсиживался у себя в каюте — не потому, чтобы море было неспокойно, и не пото-

му, чтобы очень страдала *шешья,* а потому, что чертов верблюд, стоило хозяину появиться на палубе, оказывал ему преуморительные знаки внимания… Свет еще не видел такого навязчивого верблюда!..

В иллюминатор, куда Тартарен время от времени заглядывал, ему было видно, что синева алжирского неба час от часу бледнеет, и, наконец, однажды утром он, к великой своей радости, услышал, как в серебристом тумане звонили марсельские колокола. Приехали… «Зуав» бросает якорь.

У нашего героя вещей не было, а потому он тотчас же молча сошел с «Зуава», быстро зашагал по марсельским улицам, то и дело в испуге оглядываясь, не бежит ли за ним верблюд, и облегченно вздохнул лишь после того, как расположился в вагоне третьего класса, в прямом поезде до Тараскона… Обманчивая безопасность! Поезд и на две мили не отошел от Марселя, как уже все пассажиры прильнули к окнам. Кричат, чему-то удивляются. Тартарен тоже смотрит, и… что же он видит? Верблюда, милостивые государи, неотвратимого верблюда — он мчался по шпалам за поездом среди равнины Кро и не отставал. Тартарен в отчаянии забился в угол и закрыл глаза.

После такой неудачной экспедиции он рассчитывал вернуться Домой инкогнито. Но присутствие этой громадины путало его карты. Как он возвращается, боже мой! Без единого су, без львов, без ничего… Зато с верблюдом!..

— Тараскон!.. Тараскон!..

Пора выходить…

О, ужас! Стоило *шешье* нашего героя показаться в раскрытой дверце, как громкий крик: «Да здравствует Тартарен!» — потряс застекленные своды вокзала. «Да здравствует Тартарен! Да здравствует истребитель львов!» Тут заиграла музыка, грянул хор… Тартарен рад был сквозь землю провалиться — он решил, что над ним издеваются… Но нет! Весь Тараскон в сборе, бросает шляпы, смотрит приветливо. Вот бравый командир Бравида, оружейник Костекальд, председатель суда, аптекарь, наконец, вся доблестная рать охотников за фуражками обступает своего вождя и с триумфом несет по вокзальной лестнице…

Вот он, особого рода мираж! Шкура слепого льва, отосланная командиру Бравида, — такова причина всей этой шумихи. Скромный трофей, выставленный в Клубе, поразил воображение тарасконцев, а потом и всего юга Франции. О Тартарене заговорил «Семафор». Была сочинена

целая эпопея. Тартарен убил уже не одного, а десять, двадцать, невесть сколько львов! Благодаря этому Тартарен, когда высаживался в Марселе, был уже знаменитостью, сам того не подозревая, а восторженная телеграмма прибыла в его родной город на два часа раньше него.

Но своей высшей точки всеобщее ликование достигло, когда некое фантастическое животное, покрытое потом и пылью, показалось позади нашего героя и, спотыкаясь, стало спускаться по лестнице. На мгновение Тараскону почудилось, будто вновь объявился Тараск.

Тартарен успокоил своих сограждан.

— Это мой верблюд, — пояснил он.

И, уже находясь под влиянием тарасконского солнца, чудного солнца, от которого люди простодушно лгут, прибавил, поглаживая дромадера по горбу:

— Благородное животное! Всех моих львов я убил на его глазах.

Тут он дружески взял под руку командира Бравида, побагровевшего от счастья, и, сопутствуемый верблюдом, окруженный охотниками за фуражками, приветствуемый всей толпой, чинно направился к домику с баобабом и уже по дороге начал рассказ о своих необычайных охотничьих

приключениях.

— Представьте себе, — говорил он, — однажды вечером, в Сахаре…

1872

КНИГА ВТОРАЯ.
Тартарен на Альпах.
Новые подвиги тарасконского героя

I

Появление незнакомца, в «Риги-Кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.

Десятого августа 1880 года, в час сказочно прекрасного заката на Альпах, прославленного путеводителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги (*Regina montium*[37]) и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов: то был знаменитый «Риги-Кульм», сверкавший стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость, — отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца.

В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караван-сарая

---

[37] Примечания: 37
царицу гор *(лат.)*

скучали наверху, в своих номерах, или, пригретые влажным теплом калориферов, развалясь на диванах в читальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанного дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами.

Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться на такую крутизну… Эх, Бедекер!..

Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю.

Скучающие туристы, все эти английские *мисс,* забавно подстриженные «под мальчика», прильнули к стеклам и, шагах в двадцати различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика.

Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом, но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник — это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика.

Когда же владелец арбалета остановился на

крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников, с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь клочья темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья у пояса, стягивавшего английскую куртку с широкими язычками, дополняли снаряжение этого безукоризненного альпиниста.

На пустынных высях Монблана или Финстерааргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..

Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи.

Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки, — по-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придавав-

ших этой горной вершине сходство с площадью Оперы в зимние сумерки.

Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.

Пришелец заговорил громоподобным голосом, этаким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:

— Разэтакий такой! Ну и погодка!..

Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.

У него захватило дух.

Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано Regina montium, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах, — все это огорошило его, впрочем, только на одну

секунду.

Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.

— Чем могу служить?.. — процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.

Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.

Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если б ему предложили совершить преступление.

— Чтобы я… чтобы я… на лифте!.. — И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.

Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:

— Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка…

И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» — повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.

Столовая в «Риги-Кульм» — зрелище воистину потрясающее.

На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и чернослива, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.

Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, — взгляд, исполненный ненависти или вожделения, — можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы — полнокровием.

В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули

наиболее важные особы, европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.

Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.

Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с пер-

вого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.

Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножья Вавилонской башни.

Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, — тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.

Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.

Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.

— А, чтоб его!.. Сквозняк!.. — воскликнул он и

устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.

Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:

— Это место занято, сударь…

Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:

— Нет, оно свободно… Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.

— Болен? Болен? — участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. — Надеюсь, не опасно, а?

Он произнес — «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.

Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина

с низким лбом, маслеными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, — он считал, что это полезно для здоровья.

— Ишь ты! Какие красивые запонки!.. — вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. — На яшме вырезаны ноты — *прррэлэстно!..*

Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.

— Вы, наверно, певец? *Чтэ*?

— *Non capisco*...[38] — пробурчал себе под нос итальянец.

Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.

— Пожалуйста, барон...

---

[38] Примечания: 38
не понимаю... *(итал.)*

Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.

При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким

прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос… Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:

Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом — Любовь[39].

Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся — только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.

— Опять чернослив!.. Да ни за что на свете!

Это было уже слишком.

Все задвигали стульями. Академик, лорд Чипндейл(?), боннский профессор и другие важные персоны из партии черносливцев встали и в знак протеста покинули зал.

Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно.

Ни рис, ни чернослив!.. Но тогда что же?..

---

[39] Примечания: 39
Слова песни принадлежат Ф.Мистралю (1830-1914).

Все направились к выходу, и было что-то леденящее в этом молчаливом шествии поднятых носов и надменно поджатых губ мимо несчастного альпиниста, — подавленный всеобщим презрением, он остался один в огромной, ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба, он собирался приготовить себе блюдо, которое так любят на юге!

Друзья мои, не презирайте никого! Презрение — это козырь в руках выскочек, позеров, уродов и глупцов, личина, за которой прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения, все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого.

Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок, он уже переступил через «роковой сороковой», он находился в той поре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада; он отлично знал цену жизни, сознавал всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его нимало не беспокоило, что о нем думают эти господа.

Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть: «Это я!..» — и все эти надменно выпяченные нижние губы тотчас расплывутся в почтительной улыбке. Но инкогнито его забавляло.

Он страдал лишь оттого, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярно похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшительными именами. Вот что угнетало его в «Риги-Кульм».

Особенно он страдал оттого, что не мог разговаривать!

«Этак и типун на языке вскочит...» — рассуждал сам с собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться.

Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни, подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал «кофе, но только без сахару. *Чтэ?».* И хотя официант не спросил его: «А почему без сахару?» — альпинист поспешил добавить: «Эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире».

Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант, неслышно, как привидение, ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипндейлу, — тот, развалясь на

диване, каркал: «Чимпэньского!.. Чимпэньского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина да прерывисто шуршит снег, ударяясь о стекла окон.

Читальный зал тоже наводил тоску: у всех в руках газеты, сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливанье, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жреца официальной истории, Шванталер и Астье-Рею, оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью, по прихоти судьбы встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных записках выражались не иначе, как «Круглый дурак Шванталер… *Vir ineptissimus*[40] Астье-Рею…»

Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать у огонька и понабраться от них ума-разума! От этих кариатид на него тотчас по-

---

[40] Примечания: 40
болван *(лат.)*

веяло холодом, а он этого так не любил! Он встал и зашагал по залу — не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться, — затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов вперемежку с толстыми Библиями и разрозненными томами «Записок Швейцарского клуба альпинистов». Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось.

Он опять начал бродить и наконец приотворил двери биллиардной, — там гонял шары итальянский тенор, играя торсом и манжетами, чтобы привлечь внимание своей хорошенькой соседки по табльдоту, сидевшей на диване между двумя молодыми людьми и читавшей им какое-то письмо. При появлении альпиниста она прервала чтение, а один из молодых людей, тот, что был выше ростом, поднялся с места, — это был настоящий мужепес с волосатыми ручищами, с грязными черными патлами и нечесаной бородой. Он сделал два шага навстречу вошедшему и посмотрел на него вызывающим и до того свирепым взглядом, что добрый альпинист, не потребовав никаких объяснений, благоразумно

и с достоинством сделал пол-оборота направо.

— Неприветливый все-таки народ эти северяне!.. — сказал он громко и, чтобы показать дикарю, что он его не боится, хлопнул дверью.

Последним прибежищем оставался салон. Альпинист туда вошел — ах, пропади он пропадом, этот салон!.. Ну и мрачно же было там, если б вы только знали! Мрачно, как в Сен-Бернардском монастыре, где монахи выставляют напоказ замерзших, которых они выкопали из-под снега, — выставляют в самых разнообразных положениях, в каких те закоченели. Вот что такое салон в «Риги-Кульм».

Дамы, все до одной застывшие, молчаливые, сидели группами на диванах, расставленных вдоль стен, некоторые поодиночке раскинулись в креслах. Мисс, все до одной, сидели, точно скованные холодом, за круглыми столиками, у ламп, и держали в руках кто альбом, кто журнал, кто вышиванье. Среди них находились генеральские дочки — восемь маленьких перуанок, бросавшихся в глаза шафранным цветом лица, подвижностью черт и тем контрастом, какой составляли их яркие ленты с серо-зелеными тонами английских платьев, эти бедные «жаркостранки», которых так легко было себе

представить гримасничающими, прыгающими по верхушкам кокосовых пальм и которые еще в большей степени, чем другие жертвы, вызывали чувство жалости своей вынужденной немотой и закоченелостью. А в глубине салона, у фортепьяно, виднелся зловещий силуэт старого дипломата — его маленькие безжизненные руки в митенках лежали на клавиатуре, бросавшей на его лицо желтоватый отсвет…

Силы и память изменили бедному фон Штольцу, и он безнадежно запутался в польке собственного сочинения: он проигрывал несколько тактов, но, забыв коду, всякий раз начинал сызнова и в конце концов, играя, уснул, а за ним, потряхивая причудливо взбитыми локонами или чепцами, отделанными кружевом, похожим на корочку от слоеного пирога, — чепцами, которые так любят англичанки и которые в мире путешественников являются признаком хорошего тона, — стали погружаться в сон и все дамы.

Появление альпиниста не пробудило их, и он, проникшись всей этой леденящей душу атмосферой уныния, рухнул на диван, но тут вдруг в прихожей весело и громко заиграла музыка: три бродячих музыканта, из тех, что обходят все швейцарские отели, из тех, что носят длинные,

до колен, сюртуки и у которых такие жалобные лица, явились с арфой, флейтой и скрипкой в «Риги-Кульм».

При первых же звуках музыки альпинист так и подпрыгнул.

— Ух ты! Браво!.. Музыку сюда!

И скорей бежать, скорей все двери настежь, скорей угощать музыкантов, поить их шампанским, и сам он при этом хмелеет, но не от вина, а от музыки. Он подражает флейте, подражает арфе, прищелкивает у себя над головой пальцами, вращает глазами, приплясывает, к великому изумлению туристов, со всех концов сбежавшихся на шум. И вдруг наш альпинист, завидев в дверях жену профессора Шванталера, уроженку Вены, толстушку с такими задорными глазками, что, несмотря на сплошь седые волосы, она кажется гораздо моложе своих лет, загоревшись при звуках вальса Штрауса, который раззадоренные музыканты играют с чисто цыганским остервенением, подбегает к ней, обнимает за талию и увлекает, крича остальным: «Что же вы? Что же вы?.. Танцуйте!»

Толчок дан — и вот уже все оттаяли, все закружились и понеслись. Танцуют в прихожей, в салоне, вокруг длинного зеленого стола в читаль-

ном зале. А ведь это он их так расшевелил, вот молодчина! Сам он, однако, больше не танцует — прошелся несколько туров и запыхался. Но он распоряжается балом, подгоняет музыкантов, подбирает пары, бросает боннского профессора в объятия к какой-то старой англичанке, на чопорного Астье-Рею напускает самую резвую из перуанок. Сопротивляться бесполезно. От этого ужасного альпиниста исходят какие-то токи, от которых вы срываетесь с места, от которых у вас вдруг становится легко на душе. И — ух ты, ух ты! Презрения, ненависти как не бывало. Нет больше ни рисолюбов, ни черносливцев — вальсируют все. Безумие распространяется, охватывает все этажи, и в широком пролете лестницы видно, как на площадке седьмого этажа кружатся, будто заводные куклы, служанки-швейцарки в своих тяжелых пестрых юбках.

И пусть на дворе бушует ветер, раскачиваются фонари, гудит телеграфная проволока, пусть крутятся снежные вихри на пустынной вершине. Здесь уютно, тепло, и на всю ночь хватит и тепла и уюта.

«Пойду-ка я все-таки спать...» — говорит себе добрый альпинист, ибо он человек благоразумный, ибо он из того края, где быстро воспламеня-

ются, но еще быстрее гаснут. Посмеиваясь в свою седоватую бороду, он пробирается, он крадется так, чтобы ускользнуть от фрау Шванталер, которая после тура вальса всюду ищет его, вцепляется в него, все хочет «плясирен… танцирен…».

Он берет ключ, подсвечник и на площадке второго этажа останавливается на минутку, чтобы полюбоваться делом рук своих, взглянуть на этих сидней, которых он заставил веселиться, которых он растормошил.

Тяжело дыша после прерванного вальса, к нему подбегает швейцарка и протягивает ему вместе с пером книгу для приезжающих:

— Будьте любезны, сударь, распишитесь…

Он колеблется. Стоит или не стоит сохранять инкогнито?

А впрочем, какое это имеет значение? Если даже весть о его прибытии и разнесется по отелю, все равно никто не догадается, зачем он приехал в Швейцарию. А зато любопытно будет посмотреть завтра утром, как вытянутся физиономии у всех этих «инглишменов», когда они узнают… Девчонка наверняка проболтается… То-то все удивятся, то-то все будут ошеломлены!..

— Как? Это он?.. Он!..

Мысли эти мелькнули у него в голове, стреми-

тельные, скользящие, как удары смычка. Он взял перо и небрежною рукою под именами Астье-Рею, Шванталера и других знаменитостей поставил имя, которое должно было затмить все предыдущие, — то есть свое имя. Затем он поднялся к себе в номер, даже не полюбовавшись тем впечатлением, какое он произвел на служанку, — так он был уверен в эффекте.

Швейцарка заглянула и прочла: «*ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА*».

А под этим: «*П.К.А.*»

Уроженка Берна, прочтя это, совсем не была ошеломлена.

Она понятия не имела, что означают буквы: П.К.А. Она ничего не слыхала о «Дардарене».

Э-эх, дикарка!

II

Тараскон — поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П.К.А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки

Когда название «Тараскон» звучит, как фанфара, в поезде Париж — Лион — Средиземное море под чистым, струящимся провансальским небом, головы любопытных пассажиров выглядывают из всех окон экспресса, и от вагона к вагону идет перекличка:

— А вот и Тараскон!.. Посмотрим, каков Тараскон!

А между тем ничего особенного в нем как будто и нет: мирный, чистенький городок, башни, кровли, мост через Рону. Места эти славятся и привлекают к себе беглый взор пассажиров, во-первых, тарасконским солнцем, чудотворством миража, порождающего столько неожиданностей, столько вымыслов, столько забавных нелепостей, а во-вторых, этим маленьким жиз-

нерадостным народцем ростом с чечевичное зернышко, отражающим и воплощающим в себе инстинкты всего французского юга, народом живым, подвижным, болтливым, взбалмошным, потешным, впечатлительным.

Летописец Тараскона на достопамятных страницах своей истории (назвать ее точнее ему не позволяет скромность) некогда попытался нарисовать картину счастливых дней маленького городка, жители которого посещали Клуб, распевали романсы, причем у каждого из них был свой любимый романс, и за неимением дичи устраивали любопытную охоту за фуражками. Потом вспыхнула война, и для Тараскона тоже настало грозное время, время его героической обороны: эспланаду заминировали, к Клубу и к Театральному кафе немыслимо было пробраться, жители, все, как один, вступили в вольные дружины, нацепили нашивки в виде скрещенных костей и черепа, все, как один, отрастили бороды и сверху донизу увешались секирами, палашами и американскими револьверами, — бедняги боялись близко подойти друг к другу на улице.

Много лет прошло с тех пор, много календарей было брошено в печь, но Тараскон ничего не забыл: отказавшись от прежних пустых раз-

влечений, он думал теперь только о том, как бы развить в себе силу и ловкость для будущего реванша. Стрелковые и гимнастические общества, у каждого из которых была своя форма, свое снаряжение, свой оркестр и свое знамя, фехтование, бокс, бег, борьба, в которой принимали участие даже лица из высшего круга, вытеснили охоту за фуражками и платонические охотничьи беседы у оружейника Костекальда.

Наконец, Клуб, тот самый старый Клуб, отказавшись от буйотты и безика, превратился в Клуб альпинцев по образцу знаменитого лондонского Эльпайн-клоба, слава которого гремит даже в Индии. Различие между этими двумя клубами заключается в следующем: тарасконцы, вместо того чтобы, покинув родимый край, стремиться достигнуть чужеземных высот, довольствуются тем, что у них под рукой или, вернее, под ногой, за чертой города.

Альпы в Тарасконе?.. Альп, правда, нет, но зато есть Альпины: эта цепочка горок, благоухающих тмином и лавандой, не слишком крутых и не очень высоких (всего 150-200 метров над уровнем моря), голубыми волнами застилает горизонт перед глазами путников, странствующих по дорогам Прованса, и каждую такую горку фан-

тазия местных жителей постаралась украсить баснословным и в то же время выразительным названием: Страшная гора, Край света, Пик великанов и т.д.

Любо смотреть, как в воскресное утро тарасконцы, все до одного в гетрах, опираясь на альпенштоки, с мешками и палатками за плечами, с горнистами впереди, отправляются совершать подъем, о котором, не щадя красок и употребляя самые сильные выражения, вроде «наводящие ужас обрывы, пропасти, теснины», как будто речь идет о восхождении на Гималаи, даст потом отчет местная газета «Форум». Понятно, что благодаря подобным забавам местные жители значительно окрепли и у них появились двойные мускулы, которые прежде составляли преимущество одного лишь Тартарена, доброго, неустрашимого, героического Тартарена.

Если Тараскон — олицетворение юга, то Тартарен — олицетворение Тараскона. Он не только первый его гражданин, он его душа, его гений, он воплощение всех его сумасбродств. Всем известны его былые подвиги, его певческие триумфы (о незабываемый дуэт из «Роберта Дьявола» в аптеке у Безюке!) и потрясающая одиссея его охоты на львов в Алжире, откуда он вывез великолепного

верблюда, последнего алжирского верблюда, который впоследствии изнемог под бременем лет и почестей и чей остов доныне покоится в городском музее среди прочих тарасконских достопримечательностей.

Зато сам Тартарен отлично сохранился: все такие же у него прекрасные зубы, все такой же меткий глаз, несмотря на то что ему перевалило за сорок, и прежнее пылкое воображение, приближающее и увеличивающее предметы не хуже любого телескопа. О нем и сейчас бравый командир Бравида с полным основанием мог бы сказать: «Он у нас молодец…»

Молодец-то молодец, да только на свой особый образец. В Тартарене, как во всяком тарасконце, уживаются две ярко выраженные породы — кролика садкового и кролика капустного. Кролик садковый — непоседа, смельчак, сорвиголова, кролик капустный — домосед, любит лечиться и безумно боится переутомления, сквозняка и всевозможных случайностей, которые могут оказаться роковыми.

Общеизвестно, что благоразумие не мешало Тартарену в случае необходимости действовать храбро, даже героически. Позволительно, однако, задать себе вопрос: что же он собирался делать

на Риги (на Regina montium) в таком возрасте и после того, как он столь дорогою ценой приобрел право на отдых и благоденствие?

На этот вопрос мог бы ответить один лишь вероломный Костекальд.

Костекальд, по роду своих занятий оружейник, представляет собою тип, довольно редкий в Тарасконе. Зависть, низкая, черная зависть, залегающая в злобной складке его тонких губ и чем-то вроде клубов желтого пара исходящая из его печени, заканчивает его широкое, тщательно выбритое, с правильными чертами лицо сплошь в каких-то вмятинах, точно от ударов молотка, напоминающее изображения Тиберия или Каракаллы[41] на старинных медалях. Зависть — это у него своего рода болезнь, и он даже не пытается ее скрыть; со свойственным ему бурным тарасконским темпераментом он сплошь да рядом не выдерживает и так говорит о своем недуге:

— Вы себе не представляете, как это мучительно…

Виновником Костекальдовых мучений был, разумеется, Тартарен. Столько почестей одному человеку! Везде и всюду он! И Костекальд вот

---

[41] Примечания: 41

Тиберий (I в.), Каракалла (III в.) — римские императоры.

уже двадцать лет медленно, незаметно, подобно древоточцу, забравшемуся в золоченого идола, подтачивает изнутри его громкую славу, долбит ее, подрывает. Когда вечерами в Клубе Тартарен рассказывал о своей охоте на львов, о скитаниях по необозримой Сахаре, Костекальд беззвучно посмеивался и недоверчиво покачивал головой.

— Ну, а как же шкуры, Костекальд?.. Ведь он же прислал нам львиные шкуры, и они висят в клубной зале!..

— Ах, ах, ах!.. А вы думаете, в Алжире мало скорняков?

— А следы пуль, эти круглые дыры в головах?..

— Ну и что? Разве во времена охоты за фуражками неопытные стрелки не покупали у наших шапочников простреленные дробью дырявые фуражки?

Разумеется, эти подвохи бессильны были поколебать славу Тартарена — истребителя хищных зверей, но в качестве альпиниста он был далеко не так неуязвим, и Костекальд этим пользовался и метал громы и молнии по поводу того, что председателем Клуба альпинцев избран человек, с годами явно «отяжелевший», да к тому же привыкший в Алжире к мягким туфлям и просторной одежде, еще больше располагающей к лени!

В самом деле, Тартарен редко принимал участие в восхождении на горы; он предпочитал напутствовать альпинцев, а потом, на торжественных заседаниях, вращая глазами и с такими интонациями, от которых бледнели дамы, читать потрясающие отчеты об экспедиции.

Напротив, Костекальд, жилистый, поджарый, «Петушья Нога», как его называли, лез всегда впереди всех; он облазил Альпины и на неприступных вершинах водрузил клубное знамя с изображением Тараска на звездном поле. Тем не менее он был всего лишь вице-президентом, В.П.К.А. Но он развил такую бешеную деятельность, что на предстоящих выборах Тартарена провалили бы наверняка.

Испытанные друзья Тартарена — аптекарь Безюке, Экскурбаньес и бравый командир Бравида — предупредили его, и на душе у нашего героя стало ужасно мерзко; в нем поднялась волна негодования, которую у натур возвышенных всегда вызывают неблагодарность и несправедливость. Он уже готов был махнуть на все рукой и покинуть родину, то есть перейти мост и по-

селиться в Бокере, у вольсков[42], но, впрочем, быстро успокоился.

Бросить свой домик, сад, изменить столь милым его сердцу привычкам, отказаться от президентского кресла в Клубе альпинцев, который он же и учредил, от пышных инициалов П.К.А., которые составляли украшение и отличительный знак его визитных карточек, бумаги для писем и даже подкладки его шляпы? Нет, это невозможно, ни, ни, ни! И тут его осенила счастливая мысль.

В сущности говоря, подвиги Костекальда представляли собою прогулки по Альпинам, не больше. Почему бы Тартарену в течение трех месяцев, которые еще оставались до перевыборов, не затеять какое-нибудь грандиозное предприятие? *Напрррмэр,* водрузить клубный стяг на вершине одной из самых высоких гор в Европе — на Юнгфрау или на Монблане?

Какой триумф по возвращении, какая пощечина Костекальду, когда «Форум» поместит отчет об этом восхождении! Пусть-ка он тогда попробует оспаривать у Тартарена президентское кресло!

Тартарен тотчас же принялся за дело: тайно

---

[42] Примечания: 42

Намек на предание о римском полководце Гае Марции Кориолане: недовольный новыми порядками в Риме, он перешел на сторону враждебного Риму племени вольсков.

от всех выписал себе уйму специальных трудов — «Восхождения на горы» Вимпера, «Ледники» Тиндаля, «Монблан» Стефана д'Арва[43], записки Английского и Швейцарского клубов альпинистов — и забил себе голову множеством альпинистских терминов, смысл которых оставался ему, однако, не совсем ясен, — всеми этими «каминами, кулуарами, фирнами, сераками, моренами и трещинами».

По ночам ему снились страшные сны: то будто он скользил без конца по льду, то стремглав летел в бездонную расселину, на него рушились обвалы, острые льдины пронзали ему грудь. И долго потом, уже проснувшись и напившись шоколаду, — по своему обыкновению, в постели, — он находился под тяжелым, гнетущим впечатлением от дурного сна. И тем не менее, встав с постели, он все утро усердно тренировался.

Через весь Тараскон тянется бульвар, который у местных жителей получил название Городского

---

[43] Примечания: 43

Вимпер Эдвард (1840-1911) — английский альпинист, исследователь Гренландии и Анд. Тиндаль Джон (1820-1893) — английский физик, изучавший альпийские ледники, книгу о которых он выпустил в 1860 году; несколько лет прожил в хижине на одном из ледников в Швейцарии. Стефан д'Арв — псевдоним французского географа и этнографа Камиля де Катлена, автора ряда книг о Южной Франции, Италии и Швейцарии, и том числе «Отчета о научном восхождении на Монблан в августе 1861 г.».

круга. Каждое воскресенье, после обеда, тарасконцы, люди косные, несмотря на всю живость их воображения, обходят этот круг, и непременно в одном направлении. Тартарен приучил себя обходить его восемь, а то и десять раз в течение утра, причем нередко и в обратном направлении. Он шел, заложив руки за спину, решительным, медленным, уверенным, настоящим «горным» шагом, и при виде его лавочники, напуганные столь явным нарушением местных обычаев, терялись в догадках.

У себя, в своем экзотическом садике, он учился прыгать через расселины, то есть перескакивал через бассейн, в котором среди водорослей плавали карпы; дважды при этом он падал в воду и вынужден был переодеваться. Но эти неудачи еще пуще его раззадоривали: будучи подвержен головокружениям, он, к великому ужасу старой служанки, которая никак не могла взять в толк, к чему все эти фокусы, ходил по узкой закраине колодца.

Одновременно он заказал хорошему авиньонскому слесарю «кошки» системы Вимпера и ледоруб системы Кеннеди; запасся он также спиртовкой, двумя непромокаемыми плащами и двумястами футов веревки собственного изобре-

тения, сплетенной из проволоки.

Прибытие этих предметов, а также таинственные разъезды, которых потребовало их изготовление, возбудили у тарасконцев живейшее любопытство. В городе говорили: «Президент что-то затевает». Но что именно? Разумеется, нечто сногсшибательное, ибо, пользуясь прекрасным выражением бравого и склонного к нравоучениям командира Бравида, каптенармуса в отставке, изъяснявшегося исключительно поговорками, «орел на мух не охотится».

Даже самым близким друзьям Тартарен не поверил своей тайны. Только на заседаниях Клуба все замечали, как дрожал у него голос и какие ослепительные молнии загорались у него во взоре, когда он обращался к Костекальду, косвенному виновнику новой экспедиции, трудность и опасность которой по мере ее приближения становились ему все яснее. Злосчастный Тартарен не закрывал на это глаза — напротив, экспедиция рисовалась ему в необыкновенно мрачном свете, настолько, что он даже счел необходимым привести в порядок свои дела и составить духовное завещание, а между тем для таких жизнелюбов, как тарасконцы, изъявление последней воли — это нож острый, и большинство из них умирает,

так и не составив завещания.

И вот представьте себе ясное июньское утро, безоблачный, роскошный небосвод, растворенную дверь кабинета, ведущую в маленький садик с заботливо посыпанными песком дорожками, садик, где четко вырезываются на земле недвижные лиловые тени экзотических растений и где чистый звук звонкой струйки воды выделяется среди радостных криков маленьких савояров, играющих у калитки в классы, и, наконец, самого Тартарена в мягких туфлях, в просторной фланелевой одежде, довольного, счастливого, с трубкой в зубах, пишущего и вслух перечитывающего только что написанное:

«*ВОТ МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ*

Конечно, можно приказать своему сердцу молчать, можно взять себя в руки, а все же, что ни говорите, это мучительные мгновения. Однако ни рука, ни голос у Тартарена ни разу не дрогнули, пока он распределял между своими согражданами те сокровища из разных стран, которые он собрал, за которыми он так ухаживал и которые хранились у него в домике в таком образцовом порядке:

Клубу альпинцев — баобаб (arbos gigantea), пусть он стоит на камине в зале заседаний;

Бравида — карабины, револьверы, охотничьи ножи, малайские криссы, томагавки и прочие виды оружия;

Экскурбаньесу — все чубуки, индейские трубки, наргиле, трубочки для курения гашиша и опиума;

Костекальду — да, да, Тартарен не забыл и Костекальда! — *знаменитые отравленные стрелы („Не прикасайтесь!“)*».

Быть может, этот последний пункт был составлен не без тайной надежды, что предатель наколется на стрелу и умрет; во всяком случае, из самого текста завещания это отнюдь не явствовало, и заканчивалось оно словами, дышавшими поистине божественной кротостью:

«*Прошу моих дорогих альпинцев не забывать своего президента. Пусть они простят моему врагу, как прощаю ему я, несмотря на то что он главный виновник моей смерти...*»

Тут Тартарен невольно остановился — слезы так и хлынули у него из глаз. Его мысленный взор нарисовал такую картину: вот он, разбившись, лежит у подножья высокой горы, вот его кладут на повозку, а затем отсылают в Тараскон его изуродованные останки. О, сила провансаль-

ского воображения! Он уже присутствовал на собственных похоронах, слышал заупокойное пение, слышал речи над своей могилой: «*Бэдный Тартарррен, вечная ему памят*ь!..» И, затерянный в толпе друзей, он сам себя горько оплакивал.

Однако вид кабинета, сплошь залитого солнцем, лучи которого играли на рядах оружия и трубок, и песенка фонтана, доносившаяся из сада, вернули его к действительности. Зачем же все-таки умирать? Зачем даже уезжать? Кто его гонит? Что за идиотское честолюбие! Рисковать жизнью ради президентского кресла и инициалов!..

Но это была опять-таки слабость, столь же мимолетная, как и предшествовавшая ей. В пять минут завещание было закончено, скреплено подписью и огромной черной печатью, после чего великий человек занялся последними приготовлениями к отъезду.

Тартарен садковый снова восторжествовал над Тартареном капустным. О тарасконском герое можно было сказать то же, что было сказано о Тюренне: «Его плоть не всегда была готова идти на битву, но дух его вел помимо него».

В тот же вечер, когда часы на ратуше пробили десять, когда улицы опустели и словно расширились и лишь кое-где запоздало стучал дверной

молоток да перекликались впотьмах сдавленные, охрипшие от страха голоса: *«Ннэ,* спокойной ночи!..» — а затем хлопали двери, кто-то крался по темному городу, где фасады домов были освещены лишь фонарями, а розовые и зеленые шары освещали фасад стоявшей на Малой площади аптеки, в окне которой четко очерчивался силуэт Безюке, дремавшего за конторкой над фармакопеей. Этот скромный аванс Безюке брал у себя ежевечерне, от девяти до десяти, с тем чтобы, как он выражался, быть пободрее, если ночью потребуются его услуги. Между нами говоря, это была чистейшая тарасконада, потому что никто никогда его не будил и, чтобы спать спокойно, он сам же отвязывал на ночь проволоку у звонка.

Внезапно в аптеку вошел Тартарен, таща на спине плащи, с дорожным мешком в руках, до того бледный и расстроенный, что аптекарь перепугался не на шутку, ибо его пламенному тарасконскому воображению тотчас представилось нечто ужасное.

— Несчастный!.. Что с вами?.. Вас отравили?.. Скорей, скорей рвотного!

И, опрокидывая склянки, он заметался по комнате. Чтобы удержать Безюке, Тартарену пришлось схватить его в охапку.

— Да выслушайте вы меня, *чэрррт побери*!

В голосе его слышалась сдержанная досада актера, которому сорвали эффектный выход. Все еще держа железною рукою аптекаря, замершего за прилавком, Тартарен спросил его шепотом:

— Мы одни, Безюке?

— Ну да!.. — сказал тот, с безотчетным страхом оглядываясь по сторонам. — Паскалон спит (Паскалон был его ученик), маменька тоже, а что?

— Закройте ставни, — не ответив на вопрос, скомандовал Тартарен. — Нас могут увидеть с улицы.

Безюке, дрожа всем телом, повиновался. Старый холостяк, он всю жизнь прожил с матерью и был тих и застенчив, как девушка, что составляло резкий контраст с его загрубелой кожей, толстыми губами, большим крючковатым носом и длинными усами — одним словом, с наружностью пирата из еще не покоренного Алжира. Подобные противоречия в Тарасконе нередки, ибо головы тарасконцев просятся на полотно — до того они выразительны, до того ярко в них запечатлелись характерные особенности римлян и сарацин, обладатели же их занимаются безобидными ремеслами и проживают в тишайшем захолустном городке.

Так, например, Экскурбаньес, похожий на конкистадора, сподвижника Писарро[44], содержит галантерейную лавочку и вращает горящими глазами, продавая на два су ниток, а Безюке, наклеивающий ярлычки на коробочки с лакрицей и на пузырьки с *sirupus gummi*[45], напоминает старого пирата — грозу берберийских берегов.

Как только ставни с помощью болтов и задвижек были плотно затворены, Тартарен, любивший называть собеседников просто по именам, начал так:

— Послушайте, Фердинанд…

И он тут же все и выложил, излил все, что накипело у него в сердце, всю свою досаду на неблагодарных сограждан, рассказал о происках Петушьей Ноги, о том, что соперник собирается провалить его на выборах, и о том, как он, Тартарен, намерен парировать удар.

Прежде всего надо держать его замысел в тайне и открыть только тогда, когда это будет необходимо, когда от этого будет зависеть успех его затеи, которому, впрочем, всегда может помешать ка-

---

[44] Примечания: 44

Писарро Франсиско (1475-1541) — один из главарей конкистадоров (завоевателей Америки), покоривший державу инков в Перу.

[45] Примечания: 45

камедным сиропом *(лат.)*

кая-нибудь случайность, какая-нибудь страшная катастрофа…

— А, черт вас возьми, Безюке, да не свистите же вы, когда с вами разговаривают!

Это у Безюке вошло в привычку. Он был несловоохотлив от природы, что вообще не часто встречается в Тарасконе и благодаря чему аптекарь и заслужил доверие президента, но своим толстым губам он постоянно придавал форму буквы «О», и из его раскрытого рта дыхание вырывалось с каким-то присвистом, точно он всем на свете смеялся в лицо, даже во время самых серьезных разговоров.

Вот и теперь: наш герой намекал на возможность своей близкой кончины и, кладя на прилавок большой запечатанный пакет, говорил: «Вот тут мое завещание, Безюке, — своим душеприказчиком я назначаю вас», а Безюке, который никак не мог отстать от своей дурной привычки, все только насвистывал: «Фью! Фью! Фью!»; однако в глубине души он был очень взволнован и сознавал всю важность своей роли.

Между тем час расставания был уже недалек, и аптекарь предложил выпить за успех предприятия «чего-нибудь вкусненького. *Чтэ?..* По стаканчику эликсира Гарюс!». Раскрыв и обша-

рив несколько шкафчиков, он наконец вспомнил, что ключи от Гарюса у маменьки. Если разбудить ее, то придется объяснять, в чем дело. Решено было заменить эликсир «Мецким сиропом», прохладительным напитком, скромным и вполне невинным, который изобрел сам Безюке и о котором он помещал в «Форуме» такого рода объявления: «*Мецкий сироп, десять су с посудой, полезно и приятно*». «Мертвецкий сироп, десять су с посудой, черви бесплатно», — переиначивал злобный Костекальд, не выносивший чужого успеха. Однако своим ужасным каламбуром Костекальд достиг лишь увеличения спроса на мертвецкий сироп, и тарасконцы от него в полном восторге.

Приятели совершили возлияние, обменялись еще несколькими словами, обнялись, и Безюке засвистел себе в усы, по которым катились крупные слезы.

— *Ннэ*, прощайте!.. — чувствуя, что и сам сейчас заплачет, буркнул Тартарен, а так как железная штора над дверью была спущена, то герой наш принужден был выбираться из аптеки на четвереньках.

Это было начало его дорожных испытаний.

Три дня спустя он сошел с поезда в Фицнау, у

подножья Риги. Для разгона, для тренировки он избрал Риги отчасти по причине ее небольшой высоты (1800 метров, раз в десять выше Страшной горы — самой высокой из Альпинских гор!), отчасти потому, что с нее открывается дивная панорама Бернских Альп, белых и розовых, теснящихся вокруг озер и словно ждущих, когда альпинист остановит на какой-нибудь из высот свой выбор и двинется на приступ.

Тартарен был уверен, что дорогой его узнают и, может быть, даже станут за ним следить, ибо по наивности своей воображал, что он так же знаменит и широко известен во всей Франции, как и в Тарасконе, а потому, прежде чем попасть в Швейцарию, нарочно дал крюку и только уже на самой границе облекся в доспехи. И хорошо сделал: во французских вагонах все его снаряжение ни за что бы не поместилось.

Но, несмотря на то что швейцарские купе на редкость удобны, наш альпинист, с непривычки путавшийся во всех своих приспособлениях, наступал пассажирам на ноги альпенштоком, зацеплял их на ходу крючьями, и куда бы он ни входил — в вокзал, в отель или же на пакетбот, — всюду на него вместе с возгласами удивления обрушивались толчки и проклятья, и все прово-

жали его злобными взглядами, причину которых он не мог себе уяснить и от которых страдала его любвеобильная и общительная натура. А тут еще серое, затянутое тучами небо и проливной дождь.

В Базеле дождь поливал маленькие беленькие домики, уже и так чисто-начисто вымытые руками служанок и дождевою водой. В Люцерне дождь поливал сваленные на пристани тюки и чемоданы, имевшие такой вид, будто их только что вытащили из воды после кораблекрушения. Когда же Тартарен сошел с поезда в Фицнау, на берегу Озера четырех кантонов, то здесь ливень низвергался на зеленеющие склоны Риги, по которым ползли черные тучи, потоками прядал со скал, обдавал водяною пылью, стекал со всех камней, со всех еловых иголок. Никогда еще тарасконцу не приходилось видеть столько воды.

Он зашел в трактир и спросил себе кофе со сливками, с медом и с маслом, а надо заметить, что это действительно очень вкусно, и Тартарен наслаждался этим еще в пути. Подкрепившись и вытерев уголком салфетки липкую от меда бороду, он решил немедленно начать свой первый подъем.

— *Э, чтэ,* — заговорил он, взваливая на спину

мешок, — за сколько времени можно подняться на Риги?

— За час, за час с четвертью, сударь. Но торопитесь, — до отхода поезда только пять минут.

— Поезд на Риги?.. Да вы что, шутите?

В мутное трактирное окно ему показали отходивший поезд. Два больших крытых вагона без вентиляции приводились в движение локомотивом с короткой пузатой трубой, похожей на котел, — этаким чудовищным насекомым, впившимся в гору и, пыхтя, карабкающимся по ее отвесным склонам.

Мысль о том, чтобы подняться на гору в этой отвратительной машине, привела в негодование обоих Тартаренов — и садкового и капустного. Первому показался нелепым этот механический способ подъема на Альпы. Что же касается второго, то висящие в воздухе мосты, через которые лежал железнодорожный путь, и перспектива падения с тысячеметровой высоты, стоит только поезду чуть-чуть сойти с рельсов, наводили его на весьма печальные размышления, и основательность их подтверждалась видом маленького кладбища в Фицнау, у самой горы, — этих белых могильных холмов, что лепились один к другому, точно белье, развешанное во дворе прачечной.

Очевидно, кладбище устроено здесь не зря — чтобы в случае чего путешественники могли воспользоваться его гостеприимством.

«Пойду-ка я пешком, — сказал себе отважный тарасконец. — Это будет для меня упражнением. А ну!..»

И, внимательно следя за движениями своего альпенштока, чтобы не осрамиться перед трактирной прислугой, теснившейся на пороге, и не слушая ее наставлений, тронулся в путь. Сперва он шел в гору по дороге, которая была вымощена крупным неровным булыжником, так же суживавшимся кверху, как суживается к концу переулок в южном городке, и по обочинам которой тянулись еловые желоба для стока воды.

Справа и слева — бесконечные фруктовые сады, влажные и тучные луга, прорезанные такими же, как вдоль дороги, водостоками — выдолбленными деревянными колодами. От этого на всей горе, сверху донизу, воздух полнился немолчным плеском, а когда альпинист задевал на ходу своим ледорубом ветви дуба или орешника, всякий раз поднимался такой шум, словно Тартарена сверху поливали из лейки.

— Свят, свят, свят, сколько воды! — вздыхал южанин.

Но дело приняло совсем уже скверный оборот, когда мостовая неожиданно кончилась и Тартарену пришлось шлепать по воде и перепрыгивать с камня на камень, чтобы не промочить гетры. В довершение всего хлынул дождь, он лил не переставая, от него не спасала никакая одежда, и с каждым шагом у Тартарена усиливалось ощущение холода. Когда он останавливался передохнуть, ему чудилось, будто он затонул в широко раскинувшемся шуме воды, поглотившем все остальные звуки; оглядываясь назад, он смотрел, как облака длинными и тонкими стеклянными палочками протягиваются к озеру и как блестят в просветах домики Фицнау, похожие на только что покрытые лаком игрушки.

Навстречу Тартарену попадались мужчины, дети — все они шли, пригнув головы, сгорбившись под тяжестью плетушек с провизией для какой-нибудь виллы или пансиона, балконы которых вырисовывались на склоне горы.

— «Риги-Кульм»? — чтобы удостовериться, та ли это дорога, спрашивал Тартарен.

Но его странное одеяние, в особенности вязаный шлем, закрывавший ему лицо, наводило страх на прохожих, и они, вытаращив глаза, молча прибавляли шагу.

Однако и эти встречи становились все реже. Последним живым существом на его пути была старуха — под огромным красным зонтом, воткнутым в землю, она полоскала белье в водостоке.

— «Риги-Кульм»? — спросил ее альпинист.

Старуха подняла на него бессмысленные испуганные глаза, выставив подпиравший ей голову зоб величиною с колокольчик вроде тех, какие подвешивают швейцарским коровам. Пристально посмотрев на Тартарена, она разразилась неудержимым хохотом, и от этого хохота рот у нее растянулся до ушей, а щелки глаз совсем закрыло морщинами; когда же она вновь раскрывала глаза, то вид Тартарена, стоявшего перед нею как вкопанный, с ледорубом на плече, всякий раз приводил ее в еще более веселое расположение духа.

— Громы небесные! Если б это не женщина… — пылая гневом, проворчал тарасконец. Он пошел дальше — и заблудился в ельнике, где ноги так и разъезжались на мокром мху.

Выше пейзаж изменился. Ни троп, ни деревьев, ни пастбищ. Мрачные голые скаты, крутые обрывы, по которым приходилось взбираться на четвереньках, наполненные желтой грязью рвы,

которые Тартарен переходил медленно, нащупывая дно альпенштоком и, как точильщик, высоко поднимая ноги. Ежеминутно поглядывал он на маленький компас, висевший у него, точно брелок, на длинной цепочке для часов, но то ли под влиянием высоты, то ли под влиянием резких колебаний температуры стрелка компаса словно ополоумела. Ориентироваться самому не представлялось возможным: в десяти шагах ничего не было видно из-за густого желтого тумана, а затем пошел мелкий дождь со снегом, началась гололедица, и подъем делался все труднее и труднее.

Вдруг Тартарен остановился — впереди что-то смутно белело… Береги глаза!..

Он вступил в полосу вечных снегов…

Тотчас же достал он из футляра очки и прочно насадил их на переносицу. Минута была торжественная. Слегка взволнованный и вместе с тем гордый, Тартарен вообразил, что он одним рывком приблизился на тысячу метров к вершинам и к великим опасностям.

Дальше Тартарен продвигался с особенной осторожностью, все время думая о расселинах и трещинах, о которых столько написано в книгах, и в глубине души проклиная обитателей трактира, посоветовавших ему идти прямо и

без проводника. А вдруг он взбирается не на ту гору? Ведь он идет уже больше шести часов, а подняться на Риги можно и за три часа. Дул ветер, холодный ветер, и во мгле сумерек кружил снег.

Ночь застигла его на дороге. Где бы найти хоть какую-нибудь лачугу, хотя бы выступ скалы, чтобы укрыться от непогоды? Вдруг он увидел прямо перед собой, на пустынном и голом плоскогорье, нечто вроде деревянной дачи с вывеской, на которой, несмотря на изрядные размеры букв, он с трудом разобрал: «Фо-тогра-фия Ри-ги-Кульм». В ту же минуту чуть поодаль показался громадный трехсотоконный отель, празднично светившийся в вечернем мраке огнями своих фонарей.

III

Тревога на вершине Риги. Спокойствие! Спокойствие! Альпийский рог. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону

— Кто идет?.. Кто там?.. — весь превратившись в слух и напряженно вглядываясь в темноту, восклицал Тартарен.

Во всем отеле слышалась беготня, хлопанье дверей, пыхтенье, крики: «Скорей, скорей!..» А снаружи доносились призывные звуки трубы, резкие вспышки пламени освещали оконные стекла и занавески…

Пожар!..

Тартарен вскочил с постели, оделся, обулся и бегом пустился вниз по лестнице, — там еще горел газ и по ступенькам спускался шумливый рой мисс в наскоро надетых шапочках, в зеленых шалях, в красных шерстяных платках — словом, во всем, что попалось им под руку, когда они вставали.

Чтобы подбодрить себя и успокоить барышень,

Тартарен, торопясь и всех расталкивая, вопил: «Спокойствие! Спокойствие!» — голосом пронзительным, как у морской чайки, сдавленным, отчаянным, каким иногда кричат во сне, голосом, от которого даже у храбрых людей душа в пятки уходит. А эти юные мисс смеялись, глядя на него: наверно, он казался им очень смешным. Ну, да что с них взять, в этом возрасте разве думают об опасности?

К счастью для Тартарена, следом за девицами шел престарелый дипломат, весьма легкомысленно одетый: из-под пальто у него выглядывали белые кальсоны и кончики тесемок.

Наконец-то мужчина!..

Размахивая руками, Тартарен подбежал к нему.

— Ах, барон, какое несчастье!.. Вы что-нибудь знаете?.. Где это?.. С чего началось?

— А? Что?.. — ничего не понимая, лепетал оторопевший барон.

— Да ведь пожар!..

— Какой пожар?..

У бедного дипломата был до того подавленный и до того глупый вид, что Тартарен оставил его в покое и опрометью кинулся к выходу «подавать помощь»…

— Помощь! Помощь! — повторял барон, а за ним пятеро слуг, которые до этого стоя спали в прихожей и теперь в полном недоумении переглядывались.

Как только Тартарен вышел на крыльцо, он сразу понял, что ошибся. Никакого пожара. Собачий холод, кромешная тьма, сквозь которую пробивается лишь слабый свет смоляных факелов, — их пламя колеблется, на снегу от них длинные кроваво-красные полосы.

На нижней ступеньке крыльца игрок на альпийском роге выревывал жалобную, однообразную, состоявшую всего из трех нот пастушескую мелодию, которой в «Риги-Кульм» имеют обыкновение будить поклонников солнца и возвещать им, что дневное светило скоро взойдет.

Уверяют, будто первый его отблеск загорается на самой вершине горы, за отелем. Чтобы не сбиться, Тартарену нужно было только держаться того направления, откуда доносился неумолкаемый смех мисс. Но он шел медленно, — его одолевала дремота, ноги после шестичасового подъема слушались плохо.

— Это вы, Манилов?.. — внезапно послышался в темноте звонкий женский голос. — Помогите мне… Я потеряла туфлю.

Тартарен узнал чужеземный щебет своей юной соседки по табльдоту, разглядел ее стройный силуэт на тускло отсвечивавшем снегу.

— Я не Манилов, сударыня, но я рад быть вам полезным…

Слегка вскрикнув от испуга и от неожиданности, девушка отшатнулась, но Тартарен этого не заметил, — он уже наклонился и шарил по скошенной, хрустевшей от мороза траве.

— Э, да вот она!.. — торжествующе воскликнул он.

Отряхнув миниатюрную туфельку от снега, он опустился на одно колено и галантнейшим тоном попросил в награду сделать ему такую милость — позволить обуть Золушку.

Золушка, более суровая, чем в сказке, ответила в высшей степени сухо: «Нет!» — и запрыгала на одной ножке, стараясь попасть другой ногой, которую обтягивал шелковый чулок, в коричневую туфельку. Но это ей так бы и не удалось без помощи нашего героя, который, почувствовав на своем плече прикосновение крошечной ручки, весь так и загорелся.

— У вас хорошее зрение, — сказала она в знак благодарности, ощупью пробираясь рядом с ним дальше.

— Привычка выслеживать зверя, сударыня.

— А вы разве охотник?

Она произнесла это с оттенком насмешки и недоверия. Чтобы убедить ее, Тартарену надо было только назвать свое имя, но, как все носители славных имен, он отличался скромностью и в то же время любил пококетничать. Желая немножко поинтриговать ее, он сказал:

— *Ну дэ, я эхэтник*...

— А на какого же зверя вы чаще всего охотитесь? — продолжая над ним потешаться, допытывалась она.

— На диких зверей, на крупных хищников... — думая поразить ее, ответил Тартарен.

— И много вы их нашли на Риги?

Галантный тарасконец за словом в карман не лез: он уже собирался ответить ей комплиментом, что на Риги он видел только газелей, как вдруг его прервали на полуслове две приближавшиеся тени.

— Соня!.. Соня!.. — звали они.

— Мне надо идти... — сказала она и, повернувшись к Тартарену, глаза которого, привыкшие к темноте, различили черты ее красивого бледного лица в обрамлении мадридской мантильи, добавила уже серьезно: — Опасную охоту вы

затеяли, милейший… Как бы вам не сложить здесь кости…

И она тотчас же исчезла во мраке вместе со своими спутниками.

Угрожающая интонация, с какой это было сказано, дошла до сознания тарасконца позднее, а сейчас он был озадачен обращением «милейший», которое не подобало ни его сединам, ни его полноте, и внезапным уходом девушки как раз в тот момент, когда он собирался назвать себя и полюбоваться произведенным впечатлением.

Он сделал несколько шагов в сторону удалявшейся группы и услышал невнятный говор, покашливанье и чиханье сбившихся в кучу и с нетерпением ожидавших восхода солнца туристов, наиболее смелые из которых взобрались на небольшую вышку, выделявшуюся на исходе ночи белизною оснеженных столбов.

На востоке протянулась полоска света, и его приветствовали новый призыв охотничьего рога и облегченный вздох туристов, похожий на тот, который вызывает у театральной публики третий звонок. Сначала едва заметная, как щель от неплотно прикрытой крышки, полоска света мало-помалу распространялась и расширяла горизонт. Но снизу поднимался густой желтый

туман, и чем ярче разгоралась заря, тем он становился въедливее и плотнее. Это был как бы занавес, отделяющий сцену от зрителей.

Потрясающее зрелище, обещанное путеводителями, не состоялось. Взамен предлагались вниманию причудливые фигуры невыспавшихся вчерашних танцоров, — накрывшись шалями, одеялами, всем чем угодно, вплоть до пологов, они вырисовывались нелепыми и забавными китайскими тенями. Из-под разнообразных головных уборов: шелковых и пуховых шапочек, капоров, шляпок, фуражек с наушниками выглядывали опухшие со сна лица, выражавшие полную растерянность, — такие лица бывают у потерпевших кораблекрушение, выброшенных на необитаемый остров и настороженно вглядывающихся в даль, не мелькнет ли где парус.

Не видать, нет, не видать!

Впрочем, некоторые добросовестно старались различить гребни гор. С вышки доносилось кудахтанье перуанского семейства, окружившего какого-то верзилу в клетчатом ульстере[46] до пят, а верзила, не моргнув глазом, описывал невидимую панораму Бернских Альп, указывая и

[46] Примечания: 46
Ульстер — длинное пальто свободного покроя.

называя вслух повитые туманом горы:

— Налево вы видите Финстерааргорн, высота — четыре тысячи двести семьдесят пять метров… Вон там Шрекгорн, Веттергорн, Монах, Юнгфрау[47] — обратите внимание, сударыни, какие у нее изящные очертания…

«Бывают же такие нахалы!.. — сказал себе Тартарен и, подумав немного, добавил: — А ведь голос-то у него все-таки знакомый!»

Особенно было ему знакомо произношение этого человека, то южное *прррэизншэние*, которое, как запах чеснока, распознается на расстоянии. Однако, занятый мыслью разыскать юную незнакомку, он не стал задерживаться и продолжал тщетно вглядываться в группы туристов. Должно быть, она, по примеру прочих, вернулась в отель, — всем в конце концов надоело дрогнуть тут и для согревания притоптывать ногами.

Сгорбленные спины, прикрытые шотландскими пледами, бахрома от которых волочилась по снегу, постепенно удалялись, исчезали в сгущавшемся тумане. Скоро на всем холодном, пустынном плоскогорье, которое облегал серый саван, не осталось никого, кроме Тартарена и иг-

---

[47] Примечания: 47
Юнгфрау означает по-немецки «Дева».

рока на альпийском роге, продолжавшего уныло дуть в свой огромный инструмент, точно пес, лающий на луну.

Этот бородатый старикашка носил тирольскую шляпу с зелеными кистями, свисавшими ему на спину, — на шляпе, как на фуражках у служащих отеля, золотыми буквами было написано: Regina montium. Тартарен подошел и сунул ему мелочь, — он видел, что так делали другие туристы.

— Пойдем-ка спать, старина, — сказал он и, с тарасконской развязностью похлопав его по плечу, добавил: — А уж и врут про солнечный восход на Риги! *Чтэ*?

Старик продолжал дуть в рог, выводя состоявшую из трех нот ритурнель и смеясь беззвучным смехом, от которого у него стягивались морщины у глаз и тряслись зеленые кисти.

Тартарен все же не жалел ни о чем. Встреча с хорошенькой блондинкой вознаградила его за прерванный сон, ибо, хотя ему и шел пятый десяток, он, однако, сохранил сердечный жар и романтическое воображение — этот пылающий очаг жизни. Когда он, поднявшись к себе в номер, лег и закрыл глаза, ему все еще казалось, будто в руке у него крошечная невесомая туфелька, а в

ушах звучал прерывистый голосок девушки: «Это вы, Манилов?»

Соня… Какое красивое имя!.. Конечно, она — русская, а молодые люди, путешествующие вместе с ней, — разумеется, друзья ее брата… Потом все смешалось, прелестная златокудрая головка слилась с другими расплывчатыми сонными грезами — со склонами Риги, с водопадами в сутанах брызг и пены. И вскоре героический храп великого человека, звучный и ритмичный, наполнил его номерок и добрую часть коридора.

После первого звонка к завтраку Тартарен, прежде чем сойти вниз, пожелал удостовериться, тщательно ли расчесана у него борода и ладно ли сидит на нем альпинистский костюм, но тут его бросило в дрожь. Приклеенное двумя облатками к зеркалу незапечатанное анонимное письмо заключало в себе недвусмысленную угрозу:

> «Чертов француз! Тебе не укрыться под маской. На сей раз мы тебя пощадили, но если ты еще когда-нибудь попадешься нам на узкой дорожке, то берегись!»

Тартарен был огорошен; он несколько раз перечел письмо, но так ничего и не понял. Кого беречься? Чего беречься? Как это письмо сюда

попало? Конечно, когда он спал, — ведь по возвращении с заревой прогулки он его не заметил. На его звонок явилась горничная с широким, плоским, бледным, изрытым оспой лицом, похожим на швейцарский сыр, но он ничего не мог от нее добиться, кроме того, что она «шестный девушка» и никогда не позволит себе без зова войти к мужчине.

— Что за притча! — повторял крайне взволнованный Тартарен, так и этак вертя в руках письмо.

В первую минуту он заподозрил Костекальда: узнав о его намерении совершить восхождение и решив сорвать ему этот замысел, Костекальд строит каверзы, запугивает его. Однако по зрелом размышлении это показалось ему неправдоподобным, и в конце концов он остановился на том, что письмо написано в шутку… Может быть, это юные мисс, которые так весело хохочут прямо ему в лицо… Молоденькие англичанки и американки так бесцеремонны!

Прозвонил второй звонок. Тартарен спрятал анонимное письмо в карман: «Там разберемся!..» Свирепое выражение, которое он придал в эту минуту своему лицу, должно было свидетельствовать о его бесстрашии.

За столом — опять неожиданность. Вместо хорошенькой соседки, которую «чистым золотом осыпала Любовь», он увидел ястребиную шею старой англичанки, букли которой сметали крошки со скатерти. Кто-то из сидевших поблизости сообщил, что девушка и ее спутники уехали с утренним поездом.

— Дьявольщина! Меня провели!.. — громко воскликнул итальянский тенор, тот самый, который накануне заявил Тартарену, что не понимает по-французски. Очевидно, за ночь он выучился! Тенор вскочил, швырнул салфетку и убежал, совершенно ошеломив тарасконца.

Из вчерашних гостей за табльдотом оставался теперь один Тартарен. Так всегда бывает в «Риги-Кульм»: тут редко кто задерживается долее суток. Зато обстановка не меняется — шеренги соусников неизменно делят общество на два враждебных лагеря. Сегодня утром численное превосходство было явно на стороне рисолюбивого воинства, усиленного несколькими знатными особами, и черносливцы держались, как говорится, тише воды, ниже травы.

Тартарен не примкнул ни к тем, ни к другим, и, чтобы избежать широковещательных заявлений, он еще до десерта поднялся к себе в номер,

собрал вещи и спросил счет — Regina montium с ее табльдотом глухонемых ему опостылела.

Стоило Тартарену прикоснуться к ледорубу, крючьям и веревкам, стоило ему облачиться во все свои доспехи, и его вновь охватила альпинистская страсть, он сгорал от нетерпения «взять» настоящую гору, где нет ни фуникулеров, ни фотографов. Он лишь колебался между Финстерааргорном, как более высокой горой, и Юнгфрау, как горой более знаменитой, красивое название которой своей девственной белизной напоминало ему девушку из России.

Взвешивая все «за» и «против», он в ожидании счета рассматривал в громадном, мрачном и безлюдном зале развешанные по стенам большие раскрашенные фотографии ледников, покрытых снегом горных склонов и славящихся своею опасностью горных проходов. Вот альпинисты тащатся, как муравьи, один за другим, по острому краю синей ледяной глыбы, вон там громадная расселина с серо-зелеными краями, — через нее перекинут мостик, по которому ползет на коленях дама, а за ней, приподняв сутану, аббат.

Тарасконский альпинист так и впился обеими руками в свой ледоруб. Ведь он понятия не имел о том, с какими это сопряжено трудностями. А

теперь уж поздно!..

Вдруг он стал бледен как полотно.

Прямо перед ним в черной раме висела гравюра с известного рисунка Гюстава Доре, запечатлевшего катастрофу на горе Сервен: четыре человека сорвались с почти отвесного ледяного склона и, кто ничком, кто навзничь, катятся, раскинув руки и силясь что-нибудь нащупать, за что-нибудь ухватиться, уцепиться за порванную веревку, на которой только что держалось ожерелье из человеческих жизней и которая теперь стремительно влечет навстречу смерти, увлекает в пропасть груду тел вместе с ледорубами, зелеными вуалями, со всеми пожитками, еще так недавно радовавшими людей и вдруг оказавшимися для них гибельными.

— Вот тебе раз! — невольно вырвалось у перепуганного Тартарена.

Это восклицание услышал метрдотель, а так как он был человек весьма учтивый, то и счел своим долгом успокоить тарасконца. Оказалось, что подобные происшествия случаются все реже и реже. Конечно, осторожность необходима; главное, нужно подыскать хорошего проводника.

Тартарен спросил, нельзя ли указать ему кого-нибудь понадежнее… Бояться-то он не боится, но

взять себе в спутники верного человека все-таки не мешает.

Метрдотель призадумался и с важным видом начал крутить бакенбарды.

— Надежного?.. Эх, жаль, вы раньше не сказали! Утром был тут у нас такой человек, вполне подходящий, — посыльный одного перуанского семейства…

— А горы-то он знает? — с видом многоопытного альпиниста спросил Тартарен.

— Он все горы знает: и швейцарские, и савойские, и тирольские, и индусские, все на свете, он все их излазил, знает как свои пять пальцев, про любую из них вам расскажет… Это просто находка!.. Я думаю, он с удовольствием согласится… С таким человеком малого ребенка куда угодно пустить не страшно.

— А где он? Где мне его найти?

— В Кальтбаде, сударь, — он там снимает помещение для своих путешественников… Мы ему позвоним по телефону.

Телефон на Риги!

Этого только не хватало! Но Тартарен ничему уже не удивлялся.

Через пять минут метрдотель сообщил ему ответ.

Посыльный перуанцев уехал в Телльсплатте и, по всей вероятности, там заночует.

Телльсплатте — это часовня, воздвигнутая в память Вильгельма Телля, одна из многих швейцарских святынь. Туда стекались толпы путешественников — ради фресок, которые тогда заканчивал известный базельский художник.

Пароходом туда можно добраться за час, самое большее — за полтора. Тартарен тотчас же принял решение. Правда, на это уйдет целый день, но зато он почтит память Вильгельма Телля, одного из любимых своих героев, а кроме того, какая это будет удача, если он разыщет такого чудесного проводника и уговорит его отправиться вместе на Юнгфрау!

А ну, скорее в путь!..

Он поспешил уплатить по счету, в котором и заход и восход солнца значились в особой графе рядом со свечой и с прислугой, и, сопутствуемый ужасающим лязгом железа, сеявшим страх и трепет на его пути, двинулся к вокзалу, ибо тратить время на спуск пешком — это для такой ненастоящей горы, как Риги, право же, слишком много чести!

IV

На пароходе. Идет дождь. Тарасконский герой приветствует тени героев умерших. Правда о Вильгельме Телле. Разочарование. Тартарен из Тараскона никогда не существовал. «Эге! Да это Бомпар!»

Снег он оставил на Риги, а внизу, на озере, снова попал под дождь — мелкий, частый, неразличимый, нечто вроде пара, в котором едва заметно проступали очертания дальних ступенчатых гор, похожих на облака.

Дул фен[48] и завивал барашками озеро, чайки летали так низко, словно их несла волна. Казалось, пароход вышел в открытое море.

И вспомнился Тартарену его отъезд из Марселя пятнадцать лет тому назад, когда он вздумал охотиться на львов, безоблачное, слепящее, раскаленное добела небо, синее море, но какое синее: цвета синьки, подернутое рябью оттого, что дул мистраль, и усеянное блестками, сверкавшими,

---

[48] Примечания: 48
Фен — теплый ветер с гор.

точно крупинки соли, горны, заливавшиеся в фортах, звон во все колокола, восторг, ликование, солнце, феерия первого путешествия!

А теперь все совсем другое: почерневшая от сырости, почти безлюдная палуба, на ней сквозь туман, как сквозь промасленную бумагу, виднеются редкие фигуры пассажиров в ульстерах и в плащах, а за ними — закутавшийся в дождевик рулевой, стоящий неподвижно, с торжественным и зловещим видом, под объявлением на трех языках:

ОБРАЩАТЬСЯ К РУЛЕВОМУ С РАЗГОВОРАМИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Объявление повесили зря, так как на «Винкельриде»[49] никто ни с кем не разговаривал: ни на палубе, ни в салонах первого и второго классов, до отказа набитых угрюмыми пассажирами, спавшими, читавшими, зевавшими среди ручного багажа, разложенного на скамейках. Так, по всей вероятности, выглядит партия ссыльных, которых на другой же день после государствен-

[49] Примечания: 49

Пароход назван в честь полулегендарного героя борьбы за освобождение Швейцарии от ига Австрии, Арнольда Винкельрида, который в битве при Земпахе (1386 г.) первым бросился на копья австрийцев.

ного переворота отправляют в изгнание.

Время от времени хриплый рев парохода возвещал близость пристани. На палубе шаркали ноги, скрипели перетаскиваемые чемоданы. Из тумана выплывал берег и медленно приближался, открывая взору темно-зеленые склоны гор, виллы, зябко прятавшиеся в мокрый кустарник, грязные, обсаженные тополями дороги, тянувшиеся вдоль дорог роскошные отели, названия которых золотыми буквами были обозначены на вывесках, — «Отель Мейера», «Отель Мюллера», «Озерный», — и в их заплаканных окнах скучающие лица туристов.

Пароход пришвартовывался, люди сходили, всходили, все одинаково забрызганные грязью, мокрые, молчаливые. На набережной — мелькание зонтов и быстро отходивших омнибусов. Затем по воде начинали бить колеса, вспенивая ее своими плицами, берег отступал назад и растворялся в тумане вместе с отелями Мейера, Мюллера и «Озерным», а во всех этажах отелей, в распахивавшихся на секунду окнах появлялись трепетавшие платки и протянутые руки, как бы говорившие: «Смилуйтесь, сжальтесь, возьмите нас с собой!.. Если б вы знали!..»

Изредка «Винкельрид» встречался с другим

каким-нибудь пароходом, название которого обозначалось черными буквами на белом кожухе — «Германия», «Вильгельм Телль»: такая же мрачная палуба, такие же отливавшие зеркальным блеском плащи, столь же невеселая прогулка — независимо от того, в каком направлении двигались пароходы-призраки, и при встрече пассажиры смотрели друг на друга тоскливыми глазами.

И подумать только, что все эти люди путешествовали ради собственного удовольствия и что ради собственного удовольствия очутились в плену пансионеры отелей Мейера, Мюллера и «Озерного»!

И здесь, как и в «Риги-Кульм», особенно угнетала, мучила, сковывала Тартарена — сильнее, чем холодный дождь и пасмурное небо, — невозможность поговорить. Правда, внизу он увидел знакомые лица: члена Джокей-клоба с племянницей (гм! гм!), академика Астье-Рею и профессора Шванталера, двух непримиримых врагов, обреченных целый месяц жить бок о бок, прикованных Компанией Кука[50] к одному и тому же круговому маршруту, и еще кое-кого, но никто

[50] Примечания: 50

Компания Кука — туристское агентство, основанное в 1832 году американцем Томасом Куком (1806-1892).

из этих прославленных черносливцев не желал узнавать тарасконца, чей шлем, железные доспехи и веревка, перекинутая через плечо, делали, однако, его фигуру весьма заметной и совершенно своеобразной. Все они точно стыдились вчерашнего бала, той необъяснимой веселости, которою их заразил этот пылкий толстяк.

Одна лишь фрау Шванталер, маленькая, пухленькая фея с розовым улыбающимся личиком, подошла к своему кавалеру и, словно собираясь танцевать менуэт, приподняла двумя пальчиками юбку.

— Плясирен… танцирен… ошень карашо, — лепетала милая дама.

Было ли это только воспоминание, или ей снова захотелось ритмичного кружения? Как бы то ни было, она впилась в Тартарена, но он, чтобы отделаться от нее, поднялся на палубу: он предпочитал промокнуть до костей, лишь бы не попасть в смешное положение.

А дождь все лил, и небо было все такое же мутное! И, как назло, целый отряд «Армии спасения» был взят на борт в Беккенриде: десять толстых девиц с глупыми лицами, в платьях цвета морской воды и в шляпках «Гринэуэй» жались друг к дружке под тремя громадными красными зон-

тами и распевали псалмы под гармонику, а на гармонике играл человек, похожий на Давида Ла Гамма, долговязый, костлявый, с безумными глазами. Неуверенные, фальшивившие голоса девиц, пронзительные, как голос чайки, пробивались, прорывались сквозь дождь и клубы черного дыма, которые пригнетал ветер. Ничего более унылого Тартарен не слыхал за всю свою жизнь.

В Бруннене воинство, набив карманы путешественников тощими брошюрками духовно-нравственного содержания, сошло с парохода. И стоило гармонике и пению несчастных вопленицсмолкнуть, как небо местами очистилось и в просветах заголубело.

Пароход между тем вошел в озеро Ури, затененное, зажатое между двумя неприступными горами, а справа, у подножья Зеелисберга, внимание туристов привлекло то самое Грютлийское поле, где Мельхталь, Фюрст и Штауффахер поклялись освободить свою отчизну[51].

Тартарен, глубоко взволнованный, невзирая на всеобщее изумление, благоговейно обнажил

---

[51] Примечания: 51

Согласно преданию, эти представители подвластных Австрии швейцарских кантонов Унтервадьд, Ури и Швиц, собравшись в ночь с 7 на 8 ноября 1307 года на поле Рютли, дали клятву освободить свои земли от ига австрийцев.

голову и трижды взмахнул фуражкой, дабы почтить память героев. Кое-кто из пассажиров, неверно истолковав этот жест, ответил ему учтивым поклоном.

Наконец пароход сипло взвыл, и этот вой многократно повторило в узком проходе эхо. Надпись на дощечке, которую вывешивали на палубе перед каждой новой пристанью, как на публичных балах перед каждой новой фигурой кадрили, на сей раз возвещала: «Телльсплатте».

Приехали.

Часовня стоит в пяти минутах ходьбы от пристани, у самого озера, как раз на той скале, на которую во время бури прыгнул из лодки Гесслера Вильгельм Телль[52]. С неизъяснимо блаженным чувством шел Тартарен берегом озера вслед за путешественниками, избравшими круговой маршрут Кука («по историческим местам»), и вспоминал, воскрешал в памяти главнейшие

---

[52] Примечания: 52

По преданию, Телль отказался поклониться шляпе Гесслера и за это был задержан в городе Альтдорфе. Наместник обещал отпустить его, если Телль — самый меткий стрелок в Швейцарии — собьет стрелой яблоко с головы своего сына. Теллю удалось это сделать, но он поклялся убить Гесслера стрелой, которую спрятал на груди. Гесслер заметил это и арестовал Телля, но по дороге в тюрьму Телль бежал, выпрыгнув из лодки. Вскоре он убил Гесслера. Это послужило сигналом к восстанию трех кантонов.

эпизоды великой драмы[53], которую он знал, как свою собственную биографию.

Вильгельм Телль во все времена был его идеалом. Когда в аптеке у Безюке гости играли в «Кто что любит» и каждый писал на бумажке, которую потом тщательно складывал, какого поэта, какое дерево, какой запах, какого героя, какую женщину он больше всего любит, то в одной из записок неизменно стояло:

Любимое дерево? — Баобаб.

Любимый аромат? — Запах пороха.

Любимый писатель? — Фенимор Купер.

Кем бы я хотел быть? — Вильгельмом Теллем…

И вся аптека единодушно восклицала: «Это Тартарен!»

Представьте же себе теперь, как он был счастлив и как билось у него сердце, когда он подходил к часовне, которую воздвиг в память Вильгельма Телля благодарный народ! Ему казалось, что сам Вильгельм Телль, с луком и стрелами, весь еще пропитанный озерной водой, сейчас отворит

---

[53] Примечания: 53
Драма Шиллера «Вильгельм Телль» (1804).

ему дверь.

— Сюда нельзя!.. Я тут работаю… Сегодня музей закрыт… — раздался в часовне громкий голос, еще усиленный гулкими сводами.

— Член Французской академии Астье-Рею!

— Профессор Шванталер!..

— Тартарен из Тараскона!..

В стрельчатом окне над порталом показался взобравшийся сюда по лесам и видный почти до пояса живописец в рабочей блузе, с палитрой в руке.

— Мой *famulus*[54] сейчас вам отворит, господа, — сказал он почтительно.

«Я так и знал, ей-ей! — подумал Тартарен. — Мне надо было только назвать себя».

Тем не менее он из деликатности уступил дорогу другим и скромно вошел в часовню последним.

Живописец, красавец мужчина с шапкой золотых волос, придававших ему сходство с художником эпохи Возрождения, встретил посетителей, стоя на приставной лестнице, которая вела на леса, устроенные для росписи верхней части часовни. Фрески, изображавшие главные

---

[54] Примечания: 54
прислужник *(лат.)*

эпизоды жизни Вильгельма Телля, были закончены, кроме одной, воспроизводившей сцену с яблоком на площади в Альтдорфе. Над этой сценой как раз сейчас и трудился живописец, а его юный famulus, как он его называл, с волосами архангела, с голыми руками и босыми ногами, в средневековом одеянии, позировал ему для фигуры сына Вильгельма Телля.

Все эти исторические личности в красных, зеленых, желтых и синих одеждах, изображенные на узких улицах или под сводами древних башен больше чем в натуральную величину, чтобы их хорошо было видно снизу, вблизи производили не совсем выгодное впечатление, но так как путешественники ехали сюда восхищаться, то они выразили живописцу свое восхищение. К тому же никто из них ничего не смыслил в живописи.

— На мой взгляд, все это очень колоритно! — изрек Астье-Рею, держа в руке саквояж.

А Шванталер, со складным стулом под мышкой, тоже в грязь лицом не ударил и продекламировал две строчки из Шиллера, добрая половина коих застряла, впрочем, в его густой бороде. Тут заахали дамы, и некоторое время только и было слышно:

— *Schon!.. Oh! Schon!..*[55]

— *Yes… lovely…*[56]

— Упоительно, дивно…

Можно было подумать, что действие происходит в кондитерской.

Внезапно возгремел некий голос и, точно звук трубы, спугнул всеобщее благоговейное молчание:

— А по-моему, так никто не стреляет… Он у вас арбалет неправильно держит…

Можете себе представить изумление живописца при виде небывалого альпиниста, который с крюком в руке, с ледорубом на плече, рискуя при каждом своем повороте кого-нибудь сокрушить, стал наглядно доказывать ему, что движение Вильгельма Телля передано неверно!

— Уж я-то это дело знаю… Можете не сомневаться…

— Да вы кто такой?

— Как кто такой?.. — воскликнул сильно задетый тарасконец.

Так, значит, это не перед ним распахнулась дверь часовни?

---

[55] Примечания: 55
Прекрасно… О! Прекрасно!.. *(нем.)*

[56] Примечания: 56
Да… прекрасно… *(англ.)*

— Спросите, кто я такой, у пантер Заккара и у львов Атласа, — сказал он, приосанившись, — быть может, они вам ответят.

Все в ужасе шарахнулись.

— Но почему же все-таки я неверно передал движение? — спросил живописец.

— А ну, смотрите на меня!

Тартарен дважды топнул ногой так, что пыль поднялась столбом, и, нацелившись из ледоруба, точно из арбалета, принял соответствующую позу.

— Чудесно! Он прав… Стойте так…

И, обратившись к «фамулусу», живописец крикнул:

— Картон, уголь, живо!

В самом деле: тарасконец, коренастый, широкоплечий, выставивший вперед голову в вязаном шлеме с подбородником и, сверкая своим маленьким глазом, целившийся в перепуганного «фамулуса», представлял собою превосходную натуру.

О, волшебная сила воображения! Ему уже казалось, что перед ним на площади Альтдорфа стоит его сын, которого у него, кстати сказать, никогда не было. Одну стрелу Тартарен собирается метнуть из арбалета, а другая у него за

поясом, — ею он пронзит сердце тирана. И так он это живо себе представил, что и окружающие были заворожены.

— Это Вильгельм Телль! — сидя на скамейке и с лихорадочной поспешностью набрасывая эскиз, повторял живописец. — Ах, милостивый государь, как жаль, что я не знал вас прежде! Я писал бы с вас…

— Да что вы! Вы находите некоторое сходство? — не меняя позы, спросил польщенный Тартарен.

Да, живописец именно таким представлял себе своего героя.

— И черты лица тоже?

— Это не важно!.. — Немного отодвинувшись, живописец взглянул на эскиз. — Мужественное, энергичное выражение — это все, что нужно. Ведь о Вильгельме Телле ничего неизвестно, — может быть, он никогда и не существовал.

Тартарен от неожиданности выронил арбалет:

— А, идите вы!..[57] Никогда не существовал!.. Что вы мне сказки рассказываете?

---

[57] Примечания: 57

«А, идите вы!..» и «А, чтоб!..» — распространенные в Тарасконе ругательства, смысл коих не совсем ясен; дамы — и те употребляют их иногда, но неизменно смягчая: «А, чтоб!.. извините за выражение!..» *(Примеч. А. Доде.)*

— Спросите у этих господ…

Астье-Рею, уперев свой тройной подбородок в белый галстук, торжественно возгласил:

— Это датская легенда.

— *Islandische*…[58] — с не менее величественным видом заявил Шванталер.

— Саксон Грамматик[59] рассказывает, что некий отважный лучник по имени Тоб или Пальтаноке…

— *Es ist in der Vilkinasaga geschrieben*…[60]

Оба вместе:

— …был приговорен датским королем Гарольдом Голубые Зубы…

— …*dass der Islandische Konig Needing*…[61]

Уставившись в одну точку, вытянув руки, не глядя друг на друга и ничего не слушая, они говорили одновременно поучающим, безапелляционным тоном, тоном профессора, вещающего с

---

[58] Примечания: 58

исландская… *(нем.)*

[59] Примечания: 59

Саксон Грамматик — датский летописец XII века.

[60] Примечания: 60

В «Вилькина-саге» написано… *(нем.)*

«Вилькина-сага» — немецкая компиляция, созданная в XIII веке на основе героических саг исландского эпоса «Эдда».

[61] Примечания: 61

…что исландский король Некдинг… *(нем.)*

кафедры неоспоримые истины. Они горячились, выкрикивали даты, имена: «Юстингер Бернский! Иоанн Винтертурский!..»

Постепенно все посетители втянулись в этот жаркий, яростный спор. Все размахивали складными стульями, зонтами, чемоданами, а несчастный живописец, опасаясь за прочность лесов, бегал от одного к другому и просил успокоиться. Как только буря утихла, он опять взялся за свой эскиз и стал искать таинственного альпиниста, чье имя могли ему сообщить только пантеры Заккара и львы Атласа, но альпиниста и след простыл.

Альпинист в это время быстрым и нервным шагом поднимался вверх по узкой дорожке, обсаженной буками и березами, к отелю «Телльсплатте», где должен был ночевать посыльный перуанцев, и, в пылу разочарования рассуждая вслух, с остервенением втыкал альпеншток в размытую дождями землю.

Вильгельм Телль никогда не существовал! Вильгельм Телль — легенда! И это ему прехладнокровно заявляет живописец, которому поручено расписать часовню Телльсплатте! Тартарен обвинял его в святотатстве, негодовал на наш век, век отрицания, разрушения, нечестия, век ничего не

уважающий: ни славы, ни величия, черт побери!

Так же вот через двести-триста лет, когда речь зайдет о Тартарене, найдутся новые Астье-Рею и Шванталеры и станут доказывать, что Тартарен никогда не существовал, что это провансальская или же берберийская легенда! Тяжело дыша от возмущения и от крутого подъема, он остановился и присел на скамейку.

Отсюда в просветах между деревьями виднелось озеро и белые стены часовни, похожей на только что воздвигнутый мавзолей. Рев парохода и плеск шлепающегося в воду причала возвещали прибытие новых туристов. С путеводителями в руках они собирались на берегу, а потом, воздевая руки, передавая друг другу легенду о Вильгельме Телле и сопровождая свою речь скупыми жестами, направлялись к часовне. И тут вдруг, благодаря неожиданному обороту мыслей, все представилось Тартарену в смешном виде.

Он подумал о том, что вся история Швейцарии зиждется на этом вымышленном герое; в честь его на площадях маленьких городов воздвигаются часовни, а в музеях больших городов — статуи, устраиваются патриотические празднества, на которые стекаются со знаменами представители всех кантонов. И потом банкеты, тосты, речи,

крики «ура», пение, слезы, душащие грудь, — все это ради великого патриота, который, как всем хорошо известно, никогда и не существовал.

А еще говорят про Тараскон! Такой тараскона-ды и там ни за что никому не придумать!

Придя в веселое расположение духа, Тартарен двинулся бодрым шагом вперед и скоро вышел на Флюэленскую дорогу, возле которой вытянул свой длинный фасад с зелеными ставнями отель «Телльсплатте». В ожидании звонка к обеду пансионеры ходили взад и вперед по дороге, где что ни шаг, то выбоина, мимо облицованного ракушками фонтана, мимо вереницы карет с опущенными оглоблями и перешагивали через лужи, в которые гляделся медно-красный закат.

Тартарен спросил о проводнике. Ему ответили, что он обедает.

— А ну, ведите меня к нему!

Это было сказано таким повелительным тоном, что, несмотря на священный ужас, который здесь испытывали при одной мысли, что придется по-беспокоить столь важную особу, служанка повела альпиниста через весь отель, где его появление вызывало легкий столбняк, к драгоценному проводнику, кушавшему отдельно в маленькой комнате окнами во двор.

— Милостивый государь! — держа на плече ледоруб, заговорил Тартарен. — Прошу меня извинить…

Но он тут же осекся, а посыльный, длинный, тощий, с салфеткой у подбородка, окутанный облаком душистого пара, поднимавшегося от тарелки с горячим супом, уронил ложку:

— Э, да это господин Тартарен!

— Эге! Да это Бомпар!

В самом деле: перед ним сидел Бомпар, бывший буфетчик Тарасконского клуба, малый славный, но отягощенный чудовищным воображением, по причине чего он за всю свою жизнь не сказал ни единого слова правды и был прозван в Тарасконе «Выдумщиком». Заслужить в Тарасконе репутацию выдумщика — судите после этого сами, что же он должен был собой представлять! Так вот он, этот несравненный проводник, облазивший Альпы, Гималаи и даже Лунные горы!

— А! Ну, теперь я понимаю… — произнес Тартарен, слегка разочарованный и все же обрадованный встречей с земляком, в восторге от того, что слышит родной говор.

— Вы уж, господин Тартарен, пообедайте со мной. *Чтэ*?

Тартарен немедленно согласился — он пред-

вкушал удовольствие посидеть за маленьким уютным столиком, накрытым на две персоны, без этих сеющих смуту соусников, удовольствие чокаться, говорить за едой, есть превкусные вещи, все самое свежее, отменно приготовленное, ибо содержатели отелей прекрасно ухаживают за господами посыльными: кормят их отдельно, подают им лучшие вина и изысканнейшие блюда.

И уж тут посыпались всякие «*э, ну чтэ*, все-таки»!

— Так это ваш голос я слышал нынче ночью там, на вышке?..

— *Кнэчно!..* Я предлагал барышням полюбоваться... А до чего же хорош восход солнца на Альпах, правда?

— Чудо как хорош! — сказал Тартарен; заговорил он сперва не совсем уверенно, только чтобы не противоречить собеседнику, но быстро воспламенился, и нельзя было не даться диву, слушая, как два тарасконца восторженно славят пиршество для глаз, которое им будто бы открылось на Риги. Можно было подумать, что это выдержки из Жоанна и Бедекера.

С каждой минутой разговор становился все задушевнее, откровеннее, начались уверения, излияния, и от этих излияний навертывались

непрошеные слезы на блестящие, живые глаза, в которых, несмотря на всю провансальскую чувствительность обоих собеседников, ни на минуту не угасали искорки шутливости и лукавства. Впрочем, этим и ограничивалось сходство двух друзей, так как во всем остальном Бомпар, поджарый, подсушенный, обветренный, покрытый морщинами, которыми его наградила профессия, являл собою полную противоположность Тартарену, низкорослому, плотному, румяному, с гладкой кожей.

Чего только не навидался милейший Бомпар с тех пор, как покинул Клуб! Ненасытное воображение влекло его все вперед и вперед, перебрасывало из страны в страну, подвергало всевозможным превратностям судьбы! И он повествовал о своих приключениях, описывал представлявшиеся ему счастливые случаи, когда он мог бы разбогатеть, рассказывал о том, как он упускал эти случаи, о том, какая неудача постигла, например, его последнее изобретение, дававшее возможность сократить военный бюджет за счет расходов на солдатскую обувь…

— И знаете, каким образом?.. Ах, боже мой, да это же так просто!.. Я предлагал подковать солдат.

— А, идите вы! — ужаснулся Тартарен.

Но Бомпар продолжал совершенно спокойно, с характерным для него видом тихо помешанного:

— Ведь правда, замечательная идея? Ну и вот, а министерство даже не сочло нужным мне ответить… Ах, дорогой господин Тартарен, я так бедствовал, я так нуждался, прежде чем мне удалось поступить на службу в Компанию…

— В какую Компанию?

Бомпар с таинственным видом понизил голос до шепота:

— Тес! Потом, только не здесь… Ну, а что новенького у вас в Тарасконе? — спросил он обычным своим голосом. — Вы мне еще не рассказали, какими судьбами очутились вы у нас в горах…

Настала очередь Тартарена изливать душу. Беззлобно, но с оттенком предзакатной грусти, тоски, охватывающей с годами великих художников, необыкновенных красавиц, всех покорителей народов и сердец, рассказал он про отступничество сограждан, про заговор, имевший целью отнять у него пост президента, и про свое решение совершить геройский подвиг — совершить великое восхождение, водрузить тарасконское знамя выше, чем кто-либо водружал его до сих пор, доказать наконец тарасконским альпинистам, что

он всегда был достоин… всегда был достоин…

Тут голос у Тартарена дрогнул, и он вынужден был умолкнуть, но немного погодя продолжал:

— Вы меня знаете, Гонзаг…

Невозможно передать, сколько сердечности, сколько сближающей нежности вложил он в трубадурское имя Бомпара. Это все равно, как если бы он пожал ему руку и приложил ее к своему сердцу…

— Вы меня знаете! *Чтэ?* Вы знаете, я не струсил, когда нужно было идти на львов, и во время войны, когда мы с вами вместе организовали оборону Клуба…

Бомпар кивнул головой, и лицо его приняло мрачное выражение, — он как сейчас видел все это перед собой.

— Так вот, мой друг, чего не могли сделать ни львы, ни пушки Круппа, то удалось Альпам… Мне страшно.

— Не говорите этого, Тартарен!

— Почему? — с невыразимой кротостью в голосе молвил герой. — Я говорю правду…

Просто, без малейшей рисовки рассказал он о том, какое впечатление произвел на него рисунок Доре, воспроизводящий катастрофу в Сервене, которая так и стоит у него перед глазами. Подоб-

ные опасности пугают его, и вот почему, услыхав про необыкновенного проводника, способного предотвратить их, он решил вверить свою судьбу Бомпару.

— Вы ведь никогда не были проводником, Гонзаг? — спросил он самым естественным тоном.

— Как не бывал!.. — с улыбкой ответил Бомпар. — Только я совершал не все, о чем рассказываю…

— Само собой! — поддержал его Тартарен.

— Выйдем на дорогу, — шепнул Бомпар, — там можно говорить свободнее.

Надвигалась ночь. Теплый, влажный ветер гнал разорванные облака по небу, где хотя и смутно, но все еще виден был серый пепел дотлевавшего заката. Приятели шли рядом по направлению к Флюэлену; оба похожие на тени, они двигались молча, натыкаясь на безгласные тени проголодавшихся туристов, шедших обратно в отель, — двигались до тех пор, пока дорога не превратилась в длинный, тянущийся вдоль берега туннель, местами открытый со стороны озера наподобие террасы.

— Остановимся здесь… — Голос Бомпара гулко, подобно пушечному выстрелу, прокатился под сводами туннеля.

Они сели на парапет и невольно залюбовались чудесным видом на озеро, к которому сбегали густо разросшиеся черные ели и буки. Дальше виднелись более высокие горы, вершины которых тонули во мраке, а за ними еще и еще — те представляли собой нечто совсем уже неясное, голубоватое, похожее на облака. Между ними в расселинах залегли едва различимые белые полосы ледников. И вдруг эти ледники засверкали радужными бликами — желтыми, зелеными, красными. Гору освещали бенгальским огнем.

Из Флюэлена взлетали ракеты и рассыпались многоцветными звездами, венецианские фонари мелькали на невидимых лодках, сновавших по озеру, — оттуда доносились звуки музыки и веселый смех.

Точь-в-точь декорация для феерии, заключенной в рамку геометрически правильных, холодных гранитных стен туннеля.

— Какая, однако, забавная страна Швейцария!.. — воскликнул Тартарен.

Бомпар расхохотался.

— Какая там Швейцария!.. Во-первых, никакой Швейцарии на самом деле и нет!

V
Откровенный разговор в туннеле

— Швейцария в настоящее время, господин Тартарен, — а, да что там!.. — просто обширный курзал, открытый с июня по сентябрь, только и всего, казино с панорамами, куда люди отовсюду съезжаются развлекаться, и содержит его богатейшая Компания, у которой миллионов этих самых куры не клюют, а правление ее находится в Женеве и в Лондоне. Можете себе представить, сколько потребовалось денег, чтобы взять в аренду, причесать и приукрасить весь этот край с его озерами, лесами, горами и водопадами, чтобы просодержать целое войско служащих и статистов, чтобы отстроить на вершинах гор отели с газом, с телеграфом, с телефоном!..

— А ведь верно, — вспомнив Риги, вслух думает Тартарен.

— Как же не верно!.. А вы еще ничего не видели… Заберитесь подальше — во всей стране вы не найдете ни единого уголка без эффектов и бутафории, как за кулисами в оперном театре: во-

допады, освещенные *a giorno*[62], турникеты при входе на ледники, а для подъема — сколько угодно гидравлических двигателей и фуникулеров. Только ради своих английских и американских клиентов Компания заботится о том, чтобы некоторые наиболее известные горы — Юнгфрау, Монах, Финстерааргорн — казались дикими и опасными, хотя на самом-то деле риска там не больше, чем в других местах.

— Ну, хорошо, мой друг, а расселины, эти страшные расселины… Если туда упасть?

— Вы упадете на снег, господин Тартарен, и даже не ушибетесь. Внизу, на дне расселины, непременно найдутся носильщики, охотники или еще кто-нибудь; вас поднимут, почистят, отряхнут да еще любезно спросят: «Не надо ли понести вещи, сударь?..»

— Да что вы мне голову морочите, Гонзаг?

Но Бомпар, придав себе еще больше важности, продолжает:

— Содержание этих расселин составляет один из самых крупных расходов Компании.

На минуту в туннеле воцаряется молчание, и вокруг тоже все затихает. Погасают разноцветные

---

[62] Примечания: 62
ярким светом *(итал.)*

огни, не взлетают больше ракеты, и не скользят по озеру лодки. Но зато восходит луна, и под ее неуловимым голубоватым светом с врезающимися в него клиньями глубокой тени все становится каким-то неправдоподобным…

Тартарен не знает, верить или не верить приятелю. Он припоминает все то необычайное, что ему довелось видеть за эти несколько дней, — восход солнца на Риги, комедию с Вильгельмом Теллем, — и ему начинает казаться, что в россказнях Бомпара доля правды есть: ведь в каждом тарасконце краснобай уживается с простаком.

— А как же все-таки вы объясните, мой друг, страшные катастрофы… Сервенскую, например?..

— Это произошло шестнадцать лет назад, господин Тартарен, Компании тогда еще не было.

— Ну, а случай на Веттергорне в прошлом году, когда погибли два проводника вместе с путешественниками?..

— А, черт подери, да ведь надо же хоть чем-нибудь приманить альпинистов!.. Англичане не полезут на гору, где никто никогда не сломил себе шею… Веттергорн с некоторых пор захирел, а после этого незначительного происшествия сборы немедленно поднялись.

— Ну, а как же два проводника?..

— Целы и невредимы, так же как и путешественники. Проводников только убрали с глаз долой, полгода продержали за границей… Дорогостоящая реклама, но Компания достаточно богата, чтобы позволить себе такую роскошь.

— Послушайте, Гонзаг…

Тартарен встал и положил руку на плечо бывшему буфетчику.

— Ведь вы не желаете мне зла. *Чтэ?* Ну так вот, скажите мне по чистой совести… Сами знаете, альпинист я неважный.

— Очень даже неважный, что верно, то верно!

— А как вы думаете: могу я все-таки без особого риска попытаться взойти на Юнгфрау?

— Головой вам ручаюсь, господин Тартарен… Доверьтесь проводнику, только и всего!

— А если у меня голова закружится?

— Закройте глаза.

— А если я поскользнусь?

— Ну и что ж такого?.. Здесь все как в театре… Все предусмотрено. Опасности ни малейшей…

— Ах, если б вы все время находились при мне и напоминали мне об этом!.. Пожалуйста, голубчик, сделайте доброе дело, пойдемте вместе!..

На что бы лучше! Но, увы, до конца сезона

Бомпар связан с перуанцами. Тартарен выразил удивление по поводу того, что Бомпар принял на себя обязанности посыльного, прислужника.

— Ничего не поделаешь, господин Тартарен!.. Наше дело маленькое… Компания имеет право распоряжаться нами, как ей заблагорассудится.

И тут Бомпар давай перечислять все свои превращения за три года: проводник в Оберланде, игрок на альпийском роге, заядлый охотник на серн, ветеран, служивший еще при Карле X[63], протестантский пастор, проповедующий в горах…

— Это еще что такое? — с изумлением спрашивает Тартарен.

— Да, да! — не моргнув глазом, продолжает Бомпар. — Если бы вы путешествовали по немецкой Швейцарии, то не раз могли бы заметить на головокружительной высоте пастора, проповедующего под открытым небом со скалы или с кафедры, которой ему служит неотесанная деревянная колода. Вокруг него в живописных позах располагаются пастухи, сыровары с кожа-

---

[63] Примечания: 63

Начиная с XVII века швейцарская гвардия охраняла французских королей. В 1815 году она была восстановлена, и четыре полка швейцарцев служили в охране последних Бурбонов — Людовика XVIII и Карла X — вплоть до Июльской революции 1830 года.

ными фуражками в руках, женщины, одетые и убранные так, как принято у них в кантоне. Вид прелестный: луга, травянистые или же только что скошенные, потоки, сбегающие с гор на дорогу, стада, позвякивающие тяжелыми колокольцами на каждом уступе, и все это — э-эх! — все это одна декорация, все это фигуранты. Но об этом знают только служащие Компании: проводники, пасторы, посыльные, трактирщики, и в их интересах не разглашать тайны, иначе можно лишиться клиентов.

Огорошенный альпинист молчит, что всегда является у него признаком наивысшего потрясения. В глубине души у него еще остаются некоторые сомнения в достоверности Бомпаровых сведений, но все же он приободряется, — восхождение на Альпы уже не кажется ему таким страшным, и его беседа с Бомпаром становится все веселее. Приятели говорят о Тарасконе, о том, что они оба вытворяли в молодости.

— Кстати о проказах, — вдруг вспоминает Тартарен, — со мной сыграли славную шутку в «Риги-Кульм»... Представьте себе, нынче утром...

И он рассказывает о письме, приклеенном к зеркалу, особенно подчеркивая обращение «Чертов француз».

— Ведь это мистификация! *Чтэ?..*

— Не знаю… Может быть…

Бомпару дело все же представляется серьезнее. Он спрашивает, не вышло ли у Тартарена на Риги с кем-либо истории, не сказал ли он чего-нибудь лишнего.

— Чего-нибудь лишнего? Да будет вам! С англичанами да с немцами рта не раскроешь — они немы как рыбы: это у них называется хорошим тоном.

Подумав, Тартарен, однако, вспоминает, что он повздорил — и притом крупно — с каким-то казаком, неким Ми… Милановым.

— Маниловым, — поправляет Бомпар.

— А вы его знаете?.. По-моему, этот самый Манилов обозлился на меня из-за русской девушки…

— Да, да, из-за Сони… — озабоченно бурчит Бомпар.

— А вы и ее знаете? Ах, мой друг, это жемчужина, это очаровательная серенькая куропаточка…

— Соня Васильева… Она выстрелом из револьвера убила на улице председателя военно-полевого суда генерала Фелянина, который приговорил ее брата к пожизненной каторге.

Соня — убийца! Этот ребенок, эта блондиночка… Тартарену не верится. Но Бомпар приводит

неопровержимые доказательства, описывает во всех подробностях это громкое дело. Вот уже два года, как Соня живет в Цюрихе, где поселился потом ее чахоточный брат Борис, бежавший из Сибири. Все лето она заставляет его дышать чистым горным воздухом. Бомпар часто встречал их в кругу друзей, таких же, как они, заговорщиков, эмигрантов. Васильевы, люди очень неглупые, очень энергичные, все еще довольно состоятельные, возглавляют партию нигилистов вкупе с Болибиным, который убил шефа жандармов, и Маниловым, который в прошлом году устроил взрыв в Зимнем дворце.

— А, прах их побери! — восклицает Тартарен. — Приятные, однако, соседи были у меня в «Риги»!

Да, но это еще только цветочки. Бомпар не сомневается, что пресловутая записка исходила от этих молодых людей. Знает он все их нигилистические фокусы! Царь каждое утро находит подобные предостережения у себя в кабинете или под салфеткой…

— Но к чему все эти угрозы? — бледнея, говорит Тартарен. — Что я им сделал?

Бомпар полагает, что они приняли его за шпиона.

— Меня? За шпиона?

— Ну да!

Во всех нигилистических центрах — в Цюрихе, Лозанне, Женеве — русское правительство содержит многочисленную тайную агентуру и тратит на это большие деньги. Совсем недавно оно подговорило бывшего начальника французской полиции и человек десять корсиканцев под разными личинами следить и наблюдать за русскими изгнанниками с тем, чтобы в конце концов схватить их. А ведь тарасконского альпиниста с его очками и с его выговором не мудрено принять за соглядатая.

— Черт побери! Теперь мне понятно… — бормочет Тартарен. — По пятам за ними всюду ходит проклятый итальянский тенор… Это, конечно, сыщик… А мне-то что же все-таки делать?

— Самое главное — старайтесь не попадаться им на глаза, они же вас предупредили.

— А, пошли они с их предупреждением!.. Первому, кто ко мне приблизится, я размозжу голову вот этим самым ледорубом.

И глаза тарасконца сверкнули во мраке туннеля. Но на Бомпара это не действует успокоительно: он знает, как ужасна ненависть нигилистов, ненависть, которая расставляет ловушки, ведет подкопы, взрывает. Тут недостаточно быть

таким молодцом, каков наш тарасконский президент, — отныне будь начеку: осмотри кровать в гостинице, прежде чем лечь, осмотри стул, прежде чем сесть, осмотри борт на пароходе, ибо он может неожиданно подломиться — и ты ушел на дно. А кушанья, а стаканы, вымазанные невидимым ядом!

— Бойтесь киршвассера, которого вам нальют в вашу флягу, парного молока, которое вам принесет пастух. *Они* ни перед чем не останавливаются, уверяю вас!

— Как же теперь быть? Я пропал! — упавшим голосом говорит Тартарен и, схватив своего приятеля за руку, умоляет: — Посоветуйте мне, Гонзаг!

После минутного раздумья Бомпар намечает план. Выехать завтра чуть свет, переехать озеро, перебраться через Брюннигский перевал и заночевать в Интерлакене. На следующий день — Гриндельвальд и Малая Шейдек. Еще через день — Юнгфрау! А затем, не теряя ни минуты, скорей, скорей в Тараскон!

— Завтра же еду, Гонзаг... — решительно заявляет наш герой, устремив полный ужаса взор к таинственному горизонту, окутанному непроглядным ночным мраком, и к холодно по-

блескивающей озерной глади, под которой так и чудятся ему всевозможные козни…

VI

Брюннигский перевал. Тартарен попадает в лапы к нигилистам. Исчезновение итальянского тенора и авиньонской веревки. Новые подвиги стрелка по фуражкам. Бах! Бах!

— *Сатитесь!.. Сатитесь ше!*

— Куда же я, черт побери, сяду? Все места заняты! Меня никуда не пускают…

Это происходило в самом конце Озера четырех кантонов, на Альпнахском берегу, сыром, болотистом, как дельта; почтовые экипажи собираются тут целыми обозами, берут пассажиров, сходящих с пароходов, и переправляют их через Брюнниг.

С утра зарядил мелкий дождь — каждая его капля была не больше острия иголки. Добрый Тартарен, связанный по рукам и ногам своим снаряжением, толкаемый почтовыми и таможенными чиновниками, громоздкий, шумный, точно музыкальный клоун на ярмарке, каждое движение которого заставляет звучать то треугольник, то барабан, то бубен, то цимбалы, бегал

от экипажа к экипажу. У всех дверок его встречал один и тот же вопль ужаса, одно и то же недовольное, ворчливое: «ПолнО!» — произносимое на всех языках, и каждый пассажир считал своим долгом расставить пошире локти, чтобы занять побольше места и не пустить такого опасного, такого громыхающего соседа.

Несчастный потел, пыхтел, кричал: «А, черт вас всех дери!» — и отчаянно размахивал руками в ответ на возгласы нетерпения, которые неслись из всех дилижансов: «Пошел!», «*All right!*», «*Andiamo!*», «*Vorwarts!*»[64]. Лошади бились, кучера ругались. Под конец вмешался почтальон, краснорожий верзила в мундире и плоской фуражке: он распахнул дверцу полузакрытого ландо, впихнул туда Тартарена, как тюк, и, застыв в величественной позе возле крыла экипажа, протянул руку за *Trinkgeld*[65].

Униженный, возмущенный своими соседями, которые встретили его *manu militari*[66], Тартарен, сделав вид, что не замечает их, засунул портмоне

---

[64] Примечания: 64
Отлично! *(англ.)* Поехали! *(итал.)* Вперед! *(нем.)*

[65] Примечания: 65
чаевыми *(нем.)*

[66] Примечания: 66
здесь: враждебно *(лат.)*

поглубже в карман и поставил ледоруб рядом с собой, и все это он делал в сердцах, все это выходило у него нарочито грубо, — можно было подумать, что он сошел с парохода, курсирующего между Дувром и Кале[67].

— Здравствуйте!.. — вдруг послышался знакомый нежный голос.

Тартарен вскинул глаза и замер от ужаса: он увидел перед собой хорошенькое розовое личико Сони, сидевшей напротив, под поднятым верхом, рядом с высоким молодым человеком, столь плотно закутанным в пледы и одеяла, что виден был только его мертвенно-бледный лоб, на который свисали пряди волос, такие же тоненькие и золотистые, как дужки его очков, очков для близоруких; вне всякого сомнения, это был ее брат. С ними ехал еще один человек, которого Тартарен узнал сразу, — Манилов, тот самый, что взрывал Зимний дворец.

Соня, Манилов… Ну, значит, мышеловка!

Вот где они приведут в исполнение свою угрозу! На Брюннигском крутом перевале, где с обеих сторон пропасти. И тут наш герой, озаренный

---

[67] Примечания: 67

То есть через Ла-Манш, между Англией и Францией. Доде намекает на грубость, которая якобы была свойственна английским туристам во Франции.

внезапным страхом, раскрывшим ему всю глубину опасности, мгновенно представил себе, как он лежит на каменистом дне пропасти, как он повисает на самой вершине дуба. Бежать? Но как и куда? Экипажи тронулись, вот они уже мчатся в ряд под звуки рожка, стайки мальчишек суют в дверцы букетики эдельвейсов. Обезумевший Тартарен решил было, не дожидаясь покушения, напасть самому и раскроить альпенштоком череп сидевшему рядом с ним казаку, но, поразмыслив, счел за благо воздержаться. Всего вероятнее, эти люди попытаются напасть на него позднее, в местах безлюдных, а до тех пор он еще, пожалуй, успеет дать тягу. Да и потом, никаких проявлений недоброжелательства с их стороны больше не замечалось. Соня ласково улыбалась ему своими красивыми бирюзовыми глазами, высокий бледный молодой человек смотрел на него с любопытством, а Манилов, явно смягчившись, любезно подвинулся, чтобы Тартарену было куда положить мешок. Может быть, они поняли свою ошибку, прочитав в «Риги-Кульм», в книге для приезжающих, славное имя Тартарена?.. Решив окончательно в этом удостовериться, он заговорил непринужденно и благожелательно:

— Какая приятная встреча, молодые люди!..

Но только позвольте мне наконец представиться… Вы же не знаете, кто я, а я-то отлично знаю, кто вы.

— Тсс! — приставив к губам пальчик, обтянутый шведской перчаткой, произнесла улыбающаяся Соня и показала на козлы: рядом с кучером сидели под одним зонтом тенор в манжетах и еще один русский юноша; оба смеялись и разговаривали друг с другом по-итальянски.

В выборе между агентом полиции и нигилистами Тартарен не колебался.

— А вы хоть знаете, что это за человек? — спросил он шепотом, приблизив свое лицо к свежему личику Сони, а она в ответ моргнула ему, и ясные ее глаза вдруг стали строгими и суровыми.

Герой вздрогнул, но так, как вздрагивают в театре: он испытывал то блаженное состояние, когда по телу у вас бегают мурашки и вы поудобнее усаживаетесь в кресле, чтобы еще внимательнее следить за крайне запутанной интригой. Его лично это уже не касалось, наконец-то рассеялись мучительные ночные страхи, отравившие то удовольствие, которое ему всегда доставляло по утрам кофе по-швейцарски, кофе с маслом и с медом, и вынуждавшие его держаться на пароходе как можно дальше от борта, и теперь он дышал

полной грудью и находил, что жизнь прекрасна, а что эта русская девушка в дорожной шапочке, в фуфайке, доходившей ей чуть не до самого подбородка, обтягивавшей руки и обрисовывавшей ее еще слишком тоненькую, но безукоризненно изящную фигурку, неотразимо очаровательна. И какое же она еще дитя! Все у нее детское: и этот чистый смех, и пушок на щеках, и та милая грация, с какою она укрывает пледом ноги своему брату: «Как ты себя чувствуешь?.. Тебе не холодно?» Ну кто поверит, что этой маленькой худенькой ручке в замшевой перчатке хватило сил и духу убить человека!

Спутники ее теперь тоже не кажутся ему столь кровожадными, как прежде. Они смеются от души, только у больного смех превращается в сдержанную, страдальческую улыбку, застывающую на его бескровных губах, а шумнее всех смеется Манилов: совсем еще юный, несмотря на свою клочковатую бороду, он резвится, как школьник на каникулах, временами на него нападает буйная веселость.

Третий спутник, по фамилии Болибин, беседовавший на козлах с итальянцем, тоже веселился напропалую; он поминутно оборачивался, чтобы перевести рассказы мнимого певца о его успехах

в петербургской опере, о его победах, о том, как по окончании гастролей поклонницы преподнесли ему запонки, на которых выгравированы три ноты: *la*, *do*, *re*, то есть *l'adore*[68]. Этот каламбур, без конца повторявшийся в ландо, развеселил всех, а тенор еще пуще заважничал и все покручивал ус, с таким дурацки победоносным видом поглядывая на Соню, что Тартарен невольно усомнился: да полно, уж не самые ли обыкновенные перед ним туристы и не самый ли это настоящий тенор?

Экипажи между тем мчались во весь опор, проезжали мосты, огибали озерца, катились мимо цветущих лугов, мимо прекрасных, омытых дождем и безлюдных садов; был воскресный день, и попадавшиеся навстречу крестьяне шли в праздничных одеждах, а женщины все были с длинными косами и все до одной надели на себя серебряные цепочки. Дорога, змеясь, начала подниматься в гору, между буковой и дубовой рощей. Слева с каждым поворотом все шире и все пленительнее открывался вид на реки и долины, где белели колокольни церквей, а вдали сверкала под лучами невидимого солнца снежная верши-

[68] Примечания: 68
обожаемый *(франц.)*

на Финстерааргорна.

Вскоре пошли места дикие и унылые. С одной стороны — глубокая тень, вкривь и вкось растущие по отлогому склону деревья, в чаще которых рокочет вспененный поток; справа — нависшая над дорогой громадная скала, ощетинившаяся ветками, торчащими из расселин.

В ландо никто уже не смеялся. Все, запрокинув головы, пытались разглядеть, где же кончается это гранитное ущелье.

— Ни дать ни взять леса Атласа!.. Ну, точь-в точь!.. — с важностью сказал Тартарен, но, видя, что на него никто не обращает внимания, добавил: — Вот только рычания львов не хватает.

— А вы слышали, как рычат львы? — спросила Соня.

Он да не слышал!..

— Я Тартарен из Тараскона, сударыня… — с мягкой и снисходительной улыбкой заявил Тартарен.

Экие варвары! Что Тартарен, что какой-нибудь там Дюпон — это им решительно все равно. Они даже имени такого никогда не слыхали.

Однако он не обиделся и на вопрос девушки, было ли ему страшно, когда рычали львы, ответил:

— Нет, сударыня… Мой верблюд дрожал подо

мной, как в лихорадке, а я осматривал курки так же спокойно, словно передо мной было стадо коров… На расстоянии это примерно звучит так… Вот!..

Чтобы дать Соне точное представление о том, как рычит лев, он самым густым своим басом издал грозное: «Р-р-р!..» — и, отраженное скалой, оно потом еще усилилось и раскатилось. Лошади взвились на дыбы. Во всех экипажах пассажиры в ужасе повскакали с мест, силясь понять, что же произошло, доискиваясь причины переполоха, а так как верх ландо был приподнят, то они сейчас же узнали альпиниста по его шлему и по его неумещающейся амуниции.

— Да что же это за скотина! — повторяли они.

А он, сохраняя полнейшее хладнокровие, продолжал подробно объяснять, как нужно нападать на льва, как нужно его добивать и снимать с него шкуру, как он приделал к своему карабину бриллиантовую мушку, чтобы вернее целиться ночью. Девушка, наклонившись к нему, слушала его очень внимательно, и ноздри ее чуть вздрагивали.

— Говорят, Бомбонель все еще охотится. Вы с ним знакомы? — спросил ее брат.

— Да, — без особого восторга ответил Тарта-

рен. — Он недурной охотник… Но у нас есть и получше.

Тонкий намек!

— Понятное дело, охота на крупных хищников сопряжена с сильными волнениями, — меланхолически продолжал он. — И когда их нет, то в душе образуется пустота, а чем ее заполнить — не знаешь.

Манилов понимал по-французски, хотя и не говорил; он слушал Тартарена с таким напряженным вниманием, что его мужицкий лоб прорезала крупная морщина, похожая скорее на рубец, потом засмеялся и что-то сказал своим друзьям.

— Манилов утверждает, что вы наш собрат, — пояснила Тартарену Соня. — Мы, как и вы, охотимся на крупных хищников.

— Ну да, правильно… На волков, на белых медведей.

— Да, на волков, на белых медведей и на других вредных животных.

Тут снова раздался смех, шумный, долго не смолкавший, но на сей раз язвительный и злобный, смех, обнажавший зубы и показывавший Тартарену, в каком дурном и опасном обществе он путешествует.

Экипаж неожиданно остановился. Подъем делался круче, и дорога в этом месте описывала большой круг вплоть до верхней точки Брюннигского перевала, куда, если двинуться прямиком по откосу, чудесной буковой рощей, можно дойти минут за двадцать. После утреннего дождя везде было скользко и мокро, но пассажиры, воспользовавшись прояснением, почти все вышли из экипажей и двинулись гуськом по узкой тропинке для санок.

Из ландо, в котором сидел Тартарен — а оно ехало позади всех, — мужчины вышли. Соне показалось, что уж очень грязно, и она предпочла остаться; когда же альпинист, слегка замешкавшись из-за своего снаряжения, стал после всех вылезать из ландо, она сказала ему вполголоса:

— Останьтесь со мной за компанию!..

При этом у нее был такой лукавый вид, что воображению бедного Тартарена, потрясенного до глубины души, тотчас представился прелестный, хотя и неправдоподобный роман, и его старое сердце учащенно забилось.

Однако его постигло разочарование: девушка, высунувшись из ландо, с тревогой следила за Болибиным и итальянцем, о чем-то оживленно беседовавшими на самом краю санной тропинки,

меж тем как Манилов и Борис уже стали по ней взбираться.

Мнимый тенор, видимо, колебался. Он инстинктивно чувствовал, что ему опасно оставаться одному в обществе этих трех мужчин. Наконец он решился, и Соня долго смотрела ему вслед, водя по своей пухлой щечке букетом лиловых цикламенов, этих горных фиалок, темные листья которых оттеняют яркость цветка.

Лошади шли шагом, кучер слез с козел и шел впереди со своими товарищами, все пятнадцать экипажей, наезжавших один на другой из-за крутизны подъема, двигались порожняком, в полной тишине. Тартарен, крайне взволнованный, предчувствуя что-то недоброе, не смел поднять глаза на свою соседку, — он боялся, что из-за одного какого-нибудь слова или взгляда станет если не главным, то, во всяком случае, второстепенным действующим лицом драмы, которая, казалось ему, должна вот-вот разыграться. Но Соня не обращала на него внимания, взгляд у нее был отсутствующий, и она все еще рассеянно гладила фиалками свою покрытую легким пушком щеку.

— Итак, — заговорила она после долгого молчания, — теперь вы знаете, кто мы, я и мои друзья… Что же вы о нас думаете? Что думают о нас фран-

цузы?

Тартарен то краснел, то бледнел. Он боялся каким-нибудь неосторожным словом вооружить против себя столь мстительных людей. А с другой стороны, как можно вступать в союз с убийцами? Поэтому он заговорил иносказательно:

— Сударыня! Вот вы мне только что заявили; охотники на гидр и на чудищ, на деспотов и на хищников — это-де собратья. Я же вам на это отвечу, как ответил бы член братства святого Губерта…[69] Я лично держусь того мнения, что и против диких зверей надлежит пользоваться лишь узаконенным оружием… Жюль Жерар, наш знаменитый охотник на львов, применял разрывные пули… Я этого не одобряю, я никогда так не поступал… На льва и на пантеру я хаживал с добрым двуствольным карабином, становился прямо против зверя, и — бах! бах! — по пуле в каждом глазу.

— В каждом глазу!.. — воскликнула Соня.

— Я ни разу не промахнулся.

Он глубоко верил в то, что говорил.

Девушка посмотрела на него с наивным восторгом и вслух подумала:

---

[69] Примечания: 69

Т.е. охотник. Святой Губерт считался покровителем охоты.

— Лучше всего действовать наверняка.

Внезапно захрустели ветки, наверху зашевелился кустарник, кем-то раздвигаемый так быстро и ловко, что Тартарен, у которого все мысли были заняты охотничьими приключениями, тотчас вообразил, будто он в Заккаре караулит зверя. С обрыва бесшумно спрыгнул Манилов и очутился возле самого экипажа. На его исцарапанном колючками лице сверкали маленькие глазки, окруженные сетью морщин, с бороды и всклокоченных волос стекала вода, которой его обрызгал кустарник. Тяжело дыша, ухватившись короткими, толстыми, волосатыми руками за ручку дверцы, он сказал что-то по-русски Соне, и та живо обратилась к Тартарену:

— Веревку!.. Скорей!..

— Ве-веревку?.. — пролепетал герой.

— Скорей, скорей!.. Вам ее вернут.

Без дальних слов она своими изящными пальчиками, затянутыми в перчатки, помогла ему отцепить знаменитую веревку, изготовленную в Авиньоне. Манилов, радостно захрюкав, схватил всю связку и с гибкостью дикой кошки в три прыжка скрылся в чаще кустарника.

— Что там такое?.. Что они затевают?.. У него такой свирепый вид... — бормотал Тартарен, не

решаясь прямо высказать свою мысль.

Манилов — и свирепость! Ах, как плохо он его знает! Лучше, мягче, отзывчивее человека в целом свете не сыщешь. И тут Соня, глядя на Тартарена своими ясными синими глазами, рассказала один эпизод, по ее мнению, характерный для этой исключительной натуры: однажды ее друг, выполняя опасное поручение Революционного комитета, вскочил в сани, в которых он должен был мчаться от погони, и сейчас же пригрозил кучеру, что выпрыгнет из саней, если тот будет бить и погонять лошадь, а между тем от быстроты ее бега зависело его спасение.

Тартарен нашел, что это черта истинно античная. Затем, подумав о том, сколько людей пострадало из-за Манилова, неповинного в этих жертвах, как неповинны бывают в своих жертвах землетрясение или вулкан, из-за Манилова, который вместе с тем не мог допустить, чтобы в его присутствии мучили животное, альпинист по простоте душевной спросил девушку:

— А что, при взрыве в Зимнем дворце много погибло народу?

— Очень много, — печально ответила Соня. — А тот человек, которого нужно было уничтожить, уцелел.

И тут она с сокрушенным видом умолкла. Она опустила голову, ее длинные золотистые ресницы касались бледно-розовых щек — в эту минуту она была как-то особенно хороша. Плененный красотою молодости, той свежестью, какой дышала эта странная девочка, Тартарен пожалел, что навел Соню на грустные мысли.

— Борьба, которую мы ведем, наверно, кажется вам жестокой, бесчеловечной?

Она произнесла эти слова, наклонившись к нему, лаская его своим дыханием и взглядом. И герой наш заколебался…

— Если народ угнетают, если народ душат и необходимо его освободить, то всякое оружие хорошо и законно, ведь правда?..

— Разумеется, разумеется…

По мере того как Тартарен отступал, девушка становилась все настойчивее:

— Вы мне говорили о том, что надо чем-то заполнить душевную пустоту. Не кажется ли вам, что гораздо благороднее и интереснее пожертвовать своей жизнью ради великого дела, чем рисковать ею ради того, чтобы убить льва или взлезть на ледник?

— В самом деле… — увлекшись и совсем потеряв голову, пробормотал Тартарен, снедаемый

бешеным, неодолимым желанием поцеловать маленькую горячую руку, которую Соня для большей убедительности положила ему на плечо совершенно так же, как ночью на «Риги-Кульм», когда он нашел ее туфлю. Наконец он не выдержал и взял эту руку, которую облегала перчатка, в свои. — Послушайте, Соня, — заговорил он своим добродушным басом, в котором теперь звучали отеческие и интимные нотки, — послушайте, Соня…

Его прервала неожиданная остановка ландо. То была вершина Брюннигского перевала. Пассажиры и кучера спешили к экипажам — всем хотелось наверстать время и как можно скорее добраться до ближайшего селения, где предстояло позавтракать и переменить лошадей. Трое русских заняли свои места, место итальянца пустовало.

— Он сел в один из передних экипажей, — ответил на вопрос кучера Борис и обратился к Тартарену, который был явно встревожен: — Надо будет взять у него вашу веревку. Он унес ее с собой.

Тут в ландо снова раздался хохот, а храбрый Тартарен по-прежнему пребывал в мучительном неведении; он не знал, чему же верить и что же

думать об этих убийцах, которые так веселятся и у которых такой невинный вид. Укутывая больного плащами и пледами, так как теперь от быстрой езды стало еще холоднее, Соня переводила на русский язык свой разговор с Тартареном; особенно мило выходило у нее это: «Бах! Бах!», — которое спутники потом повторяли за ней, восхищаясь героем, и только Манилов недоверчиво покачивал головой.

Станция!

Посреди большого села на площади стоит старый трактир с прогнившим деревянным балконом и с проржавленной вывеской. Здесь останавливается вереница экипажей, и, пока выпрягают лошадей, проголодавшиеся путешественники стремглав несутся к трактиру и набиваются в выкрашенную зеленой краской и пахнущую сыростью залу на втором этаже, где стол бывает накрыт не больше чем на двадцать персон. А наехало шестьдесят, и вот отчего минут пять продолжается невообразимая толкотня, раздаются крики, вокруг соусников идет яростная перебранка между рисолюбами и черносливцами — к великому ужасу хозяина, который, хотя почтовые дилижансы всегда прибывают вовремя и пора бы, кажется, к этому привыкнуть, сам уже

сбился с ног и загонял служанок, а служанки тоже всегда мечутся как угорелые, им вся эта сутолока на руку: можно подавать только половину блюд, обозначенных на карте, можно давать какую угодно сдачу, так, чтобы швейцарские беленькие су сходили за пятьдесят сантимов.

Соне эта бестолочь надоела.

— Не позавтракать ли нам в экипаже?.. — предлагает она.

Молодые люди сами идут раздобывать кушанья: прислуге не до них. Манилов возвращается, потрясая холодной бараньей ножкой. Болибин несет хлеб и сосиски, однако наилучшим провиантмейстером оказался Тартарен. Собственно говоря, ему представлялся удобный случай, воспользовавшись суматохой, улизнуть от своих спутников или, во всяком случае, разузнать про итальянца, но он об этом и не подумал — теперь его занимает одна мысль: как он будет завтракать с «малюткой» и как он покажет Манилову и другим, на что способен расторопный тарасконец.

Когда он, храня сосредоточенный и важный вид, сходит с крыльца, держа в своих могучих руках большой поднос с тарелками, салфетками, изысканными кушаньями и швейцарским шампанским с золотой головкой, Соня хлопает в

ладоши и выражает ему свое восхищение:

— Как же это вам удалось?

— Сам не знаю… Так как-то!.. Мы, тарасконцы, народ дошлый.

О, блаженные минуты! На всю жизнь запомнится нашему герою этот милый завтрак почти что на Сониных коленях, — завтрак, фоном которому служит опереточная декорация: сельская площадь, деревья, рассаженные в шахматном порядке, а под их сенью поблескивают позолота и шелк прогуливающихся парами, разряженных, как куклы, швейцарок.

Какой вкусный хлеб, какие сочные сосиски! Само небо словно улыбается сотрапезникам, — оно такое приветливое, доброе, неяркое! Дождь, конечно, идет, но чуть-чуть, и моросит-то он, кажется, только для того, чтобы разбавить швейцарское шампанское, небезопасное для головы южанина.

Подле веранды пристроился тирольский квартет: два великана и два карлика в тяжелых и ярких лохмотьях, словно оставшихся у них от распродажи прогоревшего ярмарочного балагана, орут что есть мочи, и голоса их сливаются со звоном тарелок и стаканов. Они уродливы, глупы, неповоротливы, их тощие шеи вытягива-

ются от напряжения. Но Тартарен в восторге, — к великому изумлению сельчан, обступивших распряженное ландо, он швыряет певцам пригоршнями мелочь.

— *Та страствует Вранция*! — слышится чей-то дрожащий голос.

Из толпы выходит высокий старик в каком-то необыкновенном голубом мундире с серебряными пуговицами и фалдами до пят, в гигантском кивере, похожем на кадку для кислой капусты, и под тяжестью этого кивера с высоким султаном старик идет, балансируя руками, точно канатный плясун.

— *Старий зольтат… королевской квартии. Карль Тесьятий…*

А тарасконец, в чьей памяти еще живы рассказы Бомпара, хохочет, подмигивает старику и говорит вполголоса:

— Слыхали мы это, старина…

Но все же дает ему серебряную монету и наливает полный стакан вина; старик берет его и тоже подмигивает и смеется, хотя сам не знает чему. Затем, вынув из угла рта огромную фарфоровую трубку, поднимает стакан и пьет «за успехи Компании», и это окончательно утверждает Тартарена в мысли, что перед ним сослуживец

Бомпара.

Э, да не все ли равно, за что пить!

Стоя в ландо, Тартарен высоко поднимает стакан и со слезами на глазах громогласно провозглашает тост сперва «за Францию, за родину...», потом за гостеприимную Швейцарию и говорит, что он счастлив отдать ей должное и во всеуслышание выразить благодарность за радушный прием, оказываемый ею всем побежденным, всем изгнанникам. Затем обращается к своим спутникам и, понизив голос, желает им поскорее вернуться домой, свидеться с дорогими родителями, с верными друзьями, желает им отличиться на славном поприще, желает скорейшего окончания междоусобицы, — нельзя же, мол, так мучиться всю жизнь!

Пока он произносит тост, глаза Сониного брата насмешливо и холодно улыбаются за дымчатыми стеклами очков. Манилов вытянул шею, сдвинул свои насупленные брови, и на лице у него написано: скоро ли этот толстый барин перестанет болтать? А Болибин, похожий на маленькую уродливую обезьянку, вскарабкавшуюся на плечи к тарасконцу, сидит на козлах и строит рожи, отчего его измятое, желтое, как у татарина, лицо становится еще смешнее.

Одна только Соня слушает Тартарена вполне серьезно, силясь понять, что же это за странный тип. Думает ли он о том, что говорит? Соответствуют ли истине его рассказы о себе? Сумасшедший ли он, комедиант или просто болтун, как уверяет Манилов, у которого слово с делом не расходится и в устах которого определение «болтун» приобретает особенно обидный смысл?

Разгадка близка. Провозгласив тост, Тартарен садится, но тут вдруг раздается выстрел, за ним другой, третий, где-то совсем близко, и герой наш в сильном волнении вскакивает, навастривает уши, встревоженно нюхает воздух.

— Кто стрелял?.. Где это?.. Что случилось?..

Этот фантазер мысленно сочиняет целую драму: вооруженное нападение на экипажи, удобный случай защитить жизнь и честь прелестной девушки. Да нет, выстрелы гремели просто-напросто в *Stand'e*[70], где сельская молодежь каждое воскресенье стреляет по мишеням. Лошадей еще не запрягли, и Тартарен, как ни в чем не бывало, предлагает спутникам пойти посмотреть стрельбище. У него свои соображения, у Сони, согласившейся с ним пойти, свои.

---

[70] Примечания: 70
балагане *(нем.)*

Предводительствуемые старым королевским гвардейцем, качающимся из стороны в сторону под своим громадным кивером, они переходят площадь, за ними следует толпа любопытных.

Этот крытый соломой «штанд» на четырехугольных столбах из свежеоструганной ели напоминает наш самый что ни на есть деревенский ярмарочный тир, с тою лишь разницей, что сюда любители приходят со своим оружием — шомполками старой системы и что стрелки они довольно меткие. Сложив руки на груди, Тартарен оценивает выстрелы, громко делает замечания, дает советы, но сам не стреляет. Русские наблюдают за ним и подают друг другу знаки.

— Бах!.. Бах!.. — передразнивает его повадку и его тарасконский акцент Болибин.

Тартарен оборачивается, он покраснел, внутри у него все кипит.

— За мной дело не станет, молодой *челвэк*... Бах-бах так бах-бах... Сколько вам будет угодно!

Зарядить старый двуствольный карабин, который, по всей вероятности, служил не одному поколению охотников на серн, недолго: бах!.. бах!.. — и готово дело. Обе пули попадают куда нужно. Со всех сторон восторженные крики. Соня торжествует, Болибин уже не смеется.

— Это еще что, — говорит Тартарен, — вот я вам сейчас покажу…

«Штанда» ему уже недостаточно, он ищет цель, он должен что-нибудь сокрушить, толпа в ужасе шарахается от этого небывалого альпиниста, коренастого, свирепого, с карабином в руке, заявляющего старому королевскому гвардейцу, что он сейчас на расстоянии пятидесяти шагов разобьет у него в зубах трубку. Старик с дикими воплями скрывается в толпе, и только его султан дрожит мелкой дрожью над головами теснящихся сельчан. Однако Тартарену непременно надо всадить во что-нибудь пулю.

— А ну-ка, прах его возьми, по-тарасконски!..

И с этими словами матерый стрелок по фуражкам изо всех сил напрягает свои двойные мускулы, подбрасывает головной убор, бьет по нему влет и пробивает.

— Браво! — кричит Соня и просовывает в дырочку, проделанную пулей в суконной фуражке, букет горных фиалок, которым она еще недавно поглаживала себе щеку.

С этим прелестным трофеем Тартарен садится в ландо. Гудит рожок, экипажи трогаются, лошади мчатся во весь дух по так называемому Бриенцскому спуску — по прекрасной дороге, пробитой в

скалах в виде карниза и отделенной от пропасти глубиной больше чем в тысячу футов всего лишь тумбочками, стоящими в двух метрах одна от другой. Но Тартарен уже не замечает опасности и не наслаждается окрестными видами, не смотрит на Мейрингенскую долину, над которой вьется светлый пар, на реку с ровными берегами, на озеро, на селения, лепящиеся одно к другому вдали, на горы, заслоняющие горизонт, на ледники, которые порой сливаются с облаками и при каждом повороте переставляются вокруг дороги, как декорация: то удаляются, то открываются взору.

Преисполненный нежных чувств, герой наш любуется прелестной малюткой, сидящей напротив него, и думает, что слава — это лишь призрак счастья, что грустно доживать век одинокому в своем величии, как Моисей, что этот хрупкий северный цветок, пересаженный в тарасконский садик, оживил бы однообразную жизнь его владельца и что цветок этот несравненно прекраснее и благоуханнее вечнозеленого баобаба, arbos'a gigantea в горшочке. А Соня смотрит на Тартарена своими детскими глазами, хмурит свой высокий, задумчивый и упрямый лоб и о чем-то мечтает. Но кто может угадать, о чем мечтают девушки?

VII

Тарасконские вечера. Где он? Недоумение. Цикады на Городском кругу зовут Тартарена домой. Муки тарасконского страстотерпца. Клуб альпинцев. Что произошло в аптеке. Ко мне, Безюке!

— Вам письмо, господин Безюке!.. Из Швейцарии, да!.. Из Швейцарии! — на склоне дня весело кричал почтальон, быстрым шагом направляясь к аптекарю с противоположного конца Малой площади и размахивая чем-то в воздухе.

Безюке, сидевший в одной жилетке возле своего дома и дышавший свежим воздухом, вскочил, выхватил из рук почтальона письмо и унес в свое святилище, насквозь пропитанное смешанным запахом эликсиров и сушеных трав, но не распечатал до тех пор, пока не ушел почтальон, которого он в награду за добрую весть угостил и подкрепил стаканчиком чудного мертвецкого сиропа.

Целых две недели ждал Безюке этого письма из Швейцарии, целых две недели он изнывал от

нетерпения! Наконец-то оно пришло! И как только Безюке увидел мелкий, убористый, но твердый почерк на конверте, увидел название почтовой конторы «Интерлакен» и большой фиолетовый штемпель «Отель Юнгфрау, содержатель Мейер», из глаз у него брызнули слезы, а его усищи, как у берберийского корсара, задрожали, и сквозь них просочился легкий добродушно-ребячий посвист.

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ПРОЧИТАВ, УНИЧТОЖИТЬ».

Слова эти, выведенные огромными буквами в начале страницы, этот телеграфно-аптекарский стиль (что-то вроде: «Наружное. Перед употреблением взбалтывать») так взволновали аптекаря, что он стал читать письмо вслух таким голосом, каким говорят в бреду:

«Со мной случилось нечто ужасное…»

Но в соседней комнате его могла услышать г-жа Безюке, дремавшая после ужина, мог услышать и ученик, мерными ударами пестика что-то толокший в лаборатории. Понизив голос, Безюке несколько раз прочитал письмо, и лицо его

покрылось смертельной бледностью, а волосы в буквальном смысле слова встали дыбом. Он оглянулся по сторонам — трах!.. трах!.. — письмо в мелкие клочья и скорей в корзину! Да, но ведь обрывки могут найти и сложить. Безюке лезет за ними под стол, но в эту минуту его окликает старчески дрожащий голос:

— Э, Фердинанд, это ты?

— Я, маменька… — отвечает несчастный корсар и от ужаса всем своим мощным телом застывает на четвереньках под столом.

— Что ты там делаешь, сокровище мое?

— Что делаю?.. М-м… Готовлю глазные капли для мадемуазель Турнатуар.

Маменька вновь погружается в дремоту, а пестик ученика, на минуту притихший, возобновляет свои медлительные удары и, подобно ходу маятника, убаюкивает и дом и Малую площадь, сомлевшие в духоте летнего вечера. А Безюке ходит большими шагами перед аптекой, и лицо его то розовеет, то зеленеет, в зависимости от того, мимо какого шара лежит сейчас его путь. Он размахивает руками, бормочет бессвязные слова: «Несчастный… погиб… роковая любовь… Как его вызволить?» — но, несмотря на расстройство чувств, он все же провожает веселым свистом

драгун, которые, возвращаясь с ученья, исчезают под сенью платанов Городского круга.

— А, здравствуйте, Безюке!.. — окликает его вынырнувшая из пепельно-серого сумрака чья-то спешащая тень.

— Куда это вы, Пегулад?

— Да в Клуб, куда же еще!.. На вечернее заседание… Насчет Тартарена и насчет выборов президента… Вам тоже надо пойти.

— Ну да, ну да, я приду!.. — отвечает аптекарь, которого внезапно озаряет гениальная мысль.

Он возвращается домой, надевает сюртук и ощупывает карманы, чтобы удостовериться, здесь ли ключ от входной двери и американский кастет, без которого ни один тарасконец не отважится выйти на улицу после того, как пробили зорю. Потом зовет: «Паскалон!.. Паскалон!..» — зовет тихонько, чтобы не разбудить старушку.

С восторженной душой фанатика, с низким лбом, с глазами как у бешеной козы, с пухлыми щечками, на которых играл нежный золотистый румянец, словно на поджаристых бокерских булочках, аптекарский ученик Паскалон был еще совсем юн и уже лыс, точно вся полагавшаяся ему растительность пошла на его курчавую рыжеватую бороду. В дни больших альпийских

празднеств Клуб неизменно поручал ему нести знамя, и оттого П.К.А. внушал юнцу страстную любовь, пламенное, хотя и безмолвное благоговение — благоговение свечи, горящей пред алтарем на Пасху.

— Паскалон! — шепотом сказал аптекарь, кончиком уса щекоча ему ухо. — Я получил известие от Тартарена… Известие тревожное…

Ученик побледнел.

— Успокойся, дитя мое, — может, еще все обойдется… Аптеку я, понимаешь ли, оставляю на тебя… Если спросят мышьяку — не давай, опиума тоже, ревеню тоже… Ничего не давай. Если я к десяти часам не вернусь, закрой ставни и ложись. Вот так!

Безюке двинулся решительным шагом и, ни разу не обернувшись, растворился во тьме, объявшей Городской круг, а Паскалон сейчас же бросился к корзине посмотреть, нет ли там обрывков таинственного письма, которое принес почтальон, жадными дрожащими руками стал в ней рыться и наконец вывалил все ее содержимое на конторку.

Кто знает, как быстро возбуждаются тарасконцы, тот легко себе представит переполох, начавшийся в городе после внезапного исчез-

новения Тартарена. Ах, ах, ах, э-эх, ну что ты скажешь, — тарасконцы совсем потеряли голову, тем более что дело было в августе и от жары у них едва не трескались черепа и не вываливались мозги! С утра до вечера в городе только об этом и говорили, имя «Тартарен» беспрестанно слетало и с поджатых губ почтенных дам в чепцах, и с накрашенных губ гризеток с бархатками в волосах: «Тартарен, Тартарен...» — а на Городском кругу под сенью отягченных белой пылью платанов ошалелые цикады, стрекоча в дрожащем от зноя воздухе, словно давились двумя звучными слогами; «Тар-тар... Тар-тар...»

Толком никто ничего не знал, а потому, разумеется, каждый располагал точными сведениями и подробно объяснял, куда и зачем уехал президент. Слухи ходили самые невероятные. По одной версии, он поступил в монастырь к траппистам, по другой — увез Дюгазон[71], по третьей — переселился на необитаемый остров, чтобы основать колонию под названием «Порт-Тараскон», по четвертой — путешествует по Центральной Африке и разыскивает Ливингстона.

---

[71] Примечания: 71

Дюгазон Роза (1755-1821) — знаменитая певица, выступавшая в Комической опере в Париже. Ее имя передается по наследству актрисам этого театра, с успехом исполнившим роли, в которых блистала Дюгазон.

— А, да ну, Ливингстона!.. Ливингстон два года тому назад умер…

Но тарасконское воображение ни с временем, ни с пространством не считается. И вот что любопытно: россказни о траппистах, колониях, дальних путешествиях — то были идеи самого Тартарена, мечты этого вечно бодрствующего сонливца, которыми он в свое время поделился с друзьями, и вот теперь друзья буквально не знали, на что подумать; тая обиду на Тартарена за то, что он не посвятил их в свои замыслы, они в присутствии посторонних напускали на себя крайнюю сдержанность и с видом заговорщиков многозначительно переглядывались. Экскурбаньес подозревал, что обо всем осведомлен Бравида, а Бравида говорил:

— Аптекарю, наверное, все известно. Недаром он глядит в сторону, как собака, стащившая кость.

По правде сказать, тайна сия была для аптекаря власяницей — она причиняла ему страшные мучения, он испытывал нестерпимый зуд, то краснел, то бледнел и беспрестанно косил глазами. Вспомните, что несчастный был тарасконец, и теперь скажите, найдется ли во всем мартирологе более страшная пытка, нежели муки

святого Безюке, знавшего нечто и вынужденного молчать.

Вот почему в тот вечер, несмотря на ужасающее известие, он шел на заседание бодрым шагом человека, которому вдруг на душе стало легче… *Накнэц-то!* Теперь он может говорить, может поделиться, может рассказать о том, что его так тяготило! И, торопясь избавиться от гнета, он на ходу бросал полунамеки гулявшим на Городском кругу. День выстоял жаркий, и теперь, хотя время было позднее — часы ратуши показывали без четверти восемь и в темноте становилось жутковато, — народ высыпал на улицы; обыватели, пока их дома проветривались, сидели на лавочках и дышали воздухом, ткачихи, разгуливавшие впятером, а то и вшестером и державшиеся за руки, накатывались на встречных волнами болтовни и смеха. И всюду разговор шел о Тартарене. Аптекаря останавливали по дороге и спрашивали:

— Ну что, господин Безюке, писем все нет?..

— Есть, друзья мои, есть… Прочтите завтрашний «Форум»…

Он прибавил шагу, но обыватели шли за ним, привязывались к нему, и на всем Городском кругу стоял шум голосов и топот ног, пока наконец

человечье стадо не остановилось перед большими, ярко освещенными квадратами открытых окон Клуба.

Заседания происходили в той зале, где прежде играли в буйотту, а длинный стол, покрытый тем же самым зеленым сукном, был теперь столом канцелярским. В самом центре возвышалось президентское кресло с вышитыми на спинке буквами: ***П.К.А.***, а сбоку стоял стул секретаря. Сзади висело развернутое знамя Клуба, а под ним — широкая глянцевитая карта, на которой были нанесены Альпины с обозначением их названий и высот. По углам стояли стоймя, точно биллиардные кии, почетные альпенштоки, отделанные слоновой костью, а на витрине были выставлены редкости, найденные в горах: кристаллы, кремни, окаменелости, два морских ежа и саламандра.

За отсутствием Тартарена в президентском кресле восседал помолодевший, сияющий Костекальд. Стул полагался Экскурбаньесу, исполнявшему обязанности секретаря, но этот лохматый, волосатый, бородатый непоседа испытывал неодолимую потребность шуметь и суетиться и никак не мог усидеть на месте. По всякому поводу он махал руками, топал ногами, устрашающе рычал; неистовый, дикий восторг выражался у

него в криках: «Хо-хо-хо!» — переходивших затем в грозный воинственный клич на тарасконском наречии: «*Двайте шумэть*!.. Давайте шуметь!..» За медную глотку, от которой у вас лопались барабанные перепонки, Экскурбаньеса прозвали «Гонгом».

Вокруг на волосяных диванах сидели члены президиума.

На самом видном месте — каптенармус в отставке Бравида, которого весь Тараскон называл «командиром»; этот коротышка, чистюля стремился за свой маленький ростик, придававший ему сходство с кадетиком, вознаградить себя тем, что отпускал усы, как у Верцингеторикса[72], отчего лицо его приобретало мрачное выражение.

Затем — узкое, худое, изможденное лицо податного инспектора Пегулада, последнего, кто спасся во время гибели «Медузы»[73]. В Тарасконе

---

[72] Примечания: 72

Верцингеторикс (умер в 46 г. до н.э.) — предводитель восстания галлов против римлян, разбитый Цезарем и казненный в Риме. Его внешность нам неизвестна, но на памятнике (1865 г.) скульптор Милле изобразил его усатым.

[73] Примечания: 73

«Медуза» — французский корабль, потерпевший крушение 2 июля 1817 года по пути в Сенегал. Пассажиры и экипаж пытались спастись на огромном плоту, на котором они двенадцать дней носились по морю без пищи и воды. Когда бриг «Аргус» подобрал плот, из ста сорока девяти человек в живых осталось двенадцать.

никогда не переводились последние спасенные пассажиры «Медузы». Одно время таких было даже трое, но они обвиняли друг дружку в самозванстве и нигде не появлялись вместе. Из всех троих единственным настоящим был Пегулад. Он вместе со своими родителями потерпел крушение на «Медузе», будучи полугодовалым младенцем, что не мешало ему описывать *de visu*[74] во всех подробностях голод, шлюпки, плоты и рассказывать о том, как он схватил капитана за горло и крикнул: «В рубку, подлец!..» И это полугодовалый младенец! А, чтоб!.. Впрочем, он всем смертельно надоел этой историей, за пятьдесят лет все уже выучили ее наизусть, всем она набила оскомину, но она давала ему право ходить с унылым и безучастным видом: «После того, что мне пришлось испытать...» — говорил он, и говорил зря, так как именно этому обстоятельству он был обязан тем, что при всех режимах ему удавалось сохранить за собой должность податного инспектора.

Рядом с ним сидели братья Роньонас, шестидесятилетние близнецы, никогда не расставшиеся, вечно ссорившиеся и говорившие друг про

---

[74] Примечания: 74
в качестве очевидца *(лат.)*

друга чудовищные вещи. Их старые, облезлые, неправильной формы головы, одна от другой постоянно отворачивавшиеся, были до того похожи, что их можно было вычеканить на медали в виде двуликого Януса[75].

А там дальше — председатель суда Бедарид, адвокат Баржавель, нотариус Камбалалет и страшный доктор Турнатуар, о котором Бравида говорил, что он готов пустить кровь даже репе.

Зала освещалась газом, поэтому здесь было особенно жарко, и члены президиума заседали без сюртуков, отчего вся обстановка приобретала значительно менее торжественный характер. Впрочем, заседание происходило при закрытых дверях, каковым обстоятельством решил воспользоваться вероломный Костекальд, чтобы возможно скорее, не дожидаясь возвращения Тартарена, назначить день выборов. Уверенный в победе, он ликовал заранее, и как только Экскурбаньес огласил повестку дня, интриган сейчас же вскочил, и его тонкие губы искривила злорадная усмешка.

— Бойся того, кто улыбается, еще не начав говорить, — пробормотал командир.

---

[75] Примечания: 75

Двуликий Янус — бот дверей у древних римлян; его изображали с двумя лицами, обращенными в разные стороны.

Костекальд, сделав вид, что не слышит, подмигнул своему закадычному другу Турнатуару и желчным тоном заговорил:

— Господа! Наш президент ведет себя по меньшей мере странно, мы ничего о нем не знаем…

— Неправда!.. Президент прислал письмо…

Безюке, весь дрожа, шагнул к столу, однако, поняв, что нарушает порядок, сейчас же изменил тон и, подняв руку, как в таких случаях полагалось, попросил слова для внеочередного сообщения.

— Говорите! Говорите!

Костекальд сразу весь пожелтел, поперхнулся и кивком головы предоставил слово аптекарю. После этого, только после этого, Безюке заговорил:

— Тартарен у подошвы Юнгфрау… Он собирается взойти… Он просит знамя Клуба!..

Мгновенно воцарившуюся тишину нарушало лишь прерывистое дыхание заседавших да потрескиванье газа. Потом вдруг раздалось оглушительное «ура!», все закричали: «Браво!» — затопали ногами, но все это покрывал «гонг» Экскурбаньеса, издававшего воинственный клич: «Хо-хо-хо! *Двайте шумэт*ь!» — а снаружи ему вторила возбужденная толпа.

Костекальд все желтел и желтел и отчаянно

звонил в президентский колокольчик. Наконец Безюке, вытирая потный лоб и тяжело дыша, как будто он только что взбежал на шестой этаж, заговорил снова.

Неужели все-таки знамя Клуба, которое президент намерен водрузить на девственных вершинах, завяжут, упакуют в пошлют большой скоростью, как простой тюк?

— Ни за что!.. Хо-хо-хо!.. — ревел Экскурбаньес.

Не лучше ли направить к президенту депутацию в составе трех членов президиума — тех, кому выпадет жребий?..

Аптекарю не дали договорить. Единодушным «ух ты!» предложение Безюке было принято и одобрено, и билетики были вытащены в следующем порядке: 1) Бравида, 2) Пегулад, 3) аптекарь.

Второй номер отказался. Длительное путешествие пугало его: увы! после бедствия, которое он потерпел на «Медузе», он все никак не мог оправиться и чувствовал себя неважно.

— Я поеду вместо вас, Пегулад!.. — сразу весь придя в движение, рявкнул Экскурбаньес.

Ну, а Безюке не может оставить аптеку. В его руках здоровье всего Тараскона. Малейшая оплошность ученика — и один смертельный исход за другим!

— А, чтоб!.. — воскликнули члены президиума и все, как один, встали со своих мест.

Аптекарю ехать нельзя, это ясно, но он пошлет Паскалона, Паскалону можно доверить знамя — это для него дело привычное! Тут новая буря восторга и новый удар «гонга», а на Городском кругу толпа взревела так, что Экскурбаньес высунулся в окно и своим бесподобным голосом тотчас покрыл этот рев:

— Друзья мои, Тартарен нашелся! Он на пути к славе!

Он успел еще прибавить: «Да здравствует Тартарен!» — и во все горло прокричать свой воинственный клич, а затем ему оставалось лишь наслаждаться диким ревом неясно различимой, колыхавшейся и бурлившей в облаке пыли огромной толпы, осеняемой ветвями деревьев Городского круга, с которых неслось оглушительное тремоло цикад, трещавших, словно белым днем, в свои маленькие трещоточки.

Костекальд вместе со всеми членами президиума стоял у окна и все это слышал, и вдруг он, пошатываясь, двинулся назад, к креслу.

— Эй, глянь!.. Что это с Костекальдом?.. — заметил кто-то. — Какой он желтый!

Все бросились к нему. Страшный доктор Тур-

натуар вытащил было сумку, где у него лежали инструменты, но оружейник с искаженным от боли лицом чистосердечно признался:

— Ничего… Ничего… Не надо… Я знаю, что со мной… Это зависть!

Бедный Костекальд! Должно быть, он очень страдал.

А в это самое время на другом конце Городского круга, в аптеке на Малой площади, ученик аптекаря, сидя за хозяйской конторкой, терпеливо собирал и складывал обрывки письма, которые Безюке забыл извлечь из корзины. Многих клочков не хватало, и оттого необыкновенное послание, загадочное и зловещее, напоминавшее карту Центральной Африки с белыми пятнами, с надписями *terra incognita*[76], как ни старалось встревоженное воображение наивного знаменосца добраться до его смысла, выглядело таким образом:

… люблю безумно спиртов… чикагские… консервы не… могу… вырв… нигилист казни… условия… ужасн… ради ее… Вы меня знаете,… Ферди знаете мой либеральный образ мыслей, но отсюда до цареубийства

---

[76] Примечания: 76
неизвестная земля *(лат.)*

... трашные последствия
Сибирь.... виселица.... обожаю
... Ах! жму... твою.. верную ру
Тар Тар...

VIII

Достопамятный разговор Юнгфрау с Тартареном. В гостиной у нигилистов. Дуэль на охотничьих ножах. Страшный сон. «Вы ко мне, господа?» Необычный прием, оказанный тарасконской депутации содержателем отеля Мейером

Как все шикарные отели Интерлакена, мейеровский отель «Юнгфрау» находится на Хоэвег — широком проспекте, обсаженном двумя рядами ореховых деревьев и отдаленно напоминавшем Тартарену милый его сердцу Городской круг, но только на проспекте не было ни солнца, ни пыли, ни цикад — дождь лил целую неделю не переставая.

Тартарен занимал на втором этаже прекрасную комнату с балконом. По утрам, когда Тартарен по старой привычке, которой он придерживался в путешествиях, брился перед зеркальцем, прикрепленным к оконной ручке, первое, что поверх нив и лугов, поверх ельника, поверх амфитеатра сумрачных лесистых гор бросалось

ему в глаза, — это Юнгфрау, возносившая над облаками свою покрытую снегом девственной белизны рогоподобную вершину, на которой всегда задерживался мимоходом луч невидимой утренней зари. И тогда между бело-розовой альпийской вершиной и тарасконским альпинистом происходил краткий, однако не лишенный значительности разговор.

— Скоро ли, Тартарен? — строго спрашивала Юнгфрау.

— Сейчас, сейчас… — приподняв большим пальцем кончик носа и поспешно добриваясь, отвечал герой.

Затем он второпях надевал клетчатый костюм альпиниста, уже несколько дней праздно висевший на вешалке.

— Ах, я разэтакий такой! — ругал он себя. — Этому нет названия…

Но тут снизу, сквозь зелень мирт, заглядывавших в окна второго этажа, до него доносился негромкий, но внятный голос.

— Здравствуйте!.. — увидев его на балконе, говорила Соня. — Ландо подано… Да ну скорее, ленивец!..

— Иду, иду…

В одну минуту грубая шерстяная рубашка

заменялась тонким крахмальным бельем, а альпинистские никер-бокеры[77] — зеленой со стальным отливом курткой, от которой, бывало, на воскресных музыкальных вечерах сходили с ума тарасконские дамы.

Лошади били копытами землю, а в ландо уже сидели Соня и ее больной брат, который день ото дня худел и бледнел, несмотря на здоровый климат Интерлакена. Но в самый момент отъезда с бульварной скамейки неизменно вставали и, грузно раскачиваясь, точно горные медведи, направлялись к экипажу два знаменитых гриндельвальдских проводника — Рудольф Кауфман и Христиан Инебнит, с которыми он сговорился о подъеме на Юнгфрау и которые каждое утро приходили справляться, когда ему будет угодно начать восхождение.

Эти два проводника в грубых башмаках с подковами, во фланелевых куртках, протертых на спине и плечах мешком и веревками, их наивные и серьезные лица, несколько французских слов, которые они с трудом выговаривали, теребя свои широкополые войлочные шляпы, — все это было настоящей пыткой для Тартарена. Сколько он

---

[77] Примечания: 77
Никер-бокеры — широкие шаровары до колен.

ни говорил им: «Не беспокойтесь… я вас тогда извещу…» — каждый день он встречал их на том же самом месте и отделывался от них с помощью какой-нибудь монеты прямо пропорционально силе своего раскаяния. В восторге от такого способа «брать Юнгфрау», проводники с важным видом опускали Trinkgeld в карман и под мелким дождем отправлялись степенным шагом к себе в село, а Тартарен пребывал в смущении и в отчаянии от своей бесхарактерности. Ну, а там — дивный воздух, цветущие долины, отражавшиеся во влажных Сониных зрачках, прикосновение маленькой ножки к его башмаку… Нет, к черту Юнгфрау! Герой наш не думал теперь ни о чем, кроме своей страсти, вернее, кроме той цели, которую он преследовал, а именно — обратить на путь истинный бедную маленькую Соню, эту невольную преступницу, из любви к брату поставившую себя вне закона и вне общества.

Вот что удерживало его в Интерлакене, в одном отеле с Васильевыми. В его годы, при его солидности, он не смел и мечтать о том, чтобы это дитя полюбило его. Но Соня была такая милая, такая смелая, такая отзывчивая по отношению ко всем пострадавшим ее соратникам, она так любила своего брата, который вернулся к ней из

сибирских рудников весь в язвах, отравленный ярь-медянкой, обреченный на смерть от чахотки, чей приговор был неумолимее приговоров всех военно-полевых судов, вместе взятых! Право, тут было от чего растаять!

Тартарен предлагал увезти их в Тараскон и устроить в залитом солнцем домике на окраине города, славного маленького города, где никогда не бывает ненастья и где вся жизнь проходит в песнях и в празднествах. Увлекшись, он напевал веселую народную песенку на мотив фарандолы и в такт барабанил пальцами по шляпе:

Эй, Тараск, эй, Тараск,
Не лети стремглав с горы!
Эй, Тараск, эй, Тараск,
Попадешь в тартарары!

Но тонкие губы Сониного брата становились еще тоньше от иронической усмешки, а Соня отрицательно качала головой. Пока русский народ стонет под пятой тирана, ни солнца, ни празднеств для нее не существует. Как только брат выздоровеет — ее грустные глаза говорили другое, — они непременно вернутся в Россию, чтобы пострадать и умереть за великое дело.

— Но ведь вы бросите бомбу в одного тирана, а

на его место явится, черт возьми, новый!.. И опять начинай с начала!.. — кричал Тартарен. — А ведь годы-то идут, да! Уходит молодость, самое счастливое время, время любви…

Его тарасконская манера произносить слово «время» через три «р» и его выпученные глаза смешили девушку. Потом она становилась серьезной и замечала, что могла бы полюбить только такого человека, который освободил бы ее родину. Пусть он будет некрасив, как Болибин, неотесан и груб, как Манилов, — такому человеку она отдастся, будет с ним жить на началах свободной любви до тех пор, пока будет представлять интерес как женщина, пока она ему не разонравится.

«Свободной любовью» нигилисты и нигилистки называли незаконную связь, в которую они по взаимному согласию вступали друг с другом. И об этой примитивной форме брака Соня говорила просто, с самым невинным видом, говорила о ней с тарасконцем, добропорядочным буржуа, мирным обывателем, готовым, впрочем, провести остаток дней подле этой обворожительной девушки даже на началах свободной любви, если б только она не ставила других убийственных, чудовищных условий.

Так они беседовали обо всех этих в высшей степени деликатных предметах, а вокруг тянулись поля, озера, горы, леса, и с каждого поворота сквозь холодное сито непрерывного дождя, преследовавшего нашего героя во всех его альпийских странствиях, взору Тартарена, как будто нарочно, чтобы испортить ему чудесную прогулку, неизменно открывалась снежная вершина Юнгфрау. Возвращались к завтраку, садились за громадный стол, рисолюбы и черносливцы возобновляли молчаливую войну, но Тартарена она теперь совершенно не интересовала — внимательный, заботливый, он сидел рядом с Соней и следил за тем, чтобы Борису сзади не дуло, он расточал все свое обаяние светского человека и проявлял хозяйственные способности заправского капустного кролика.

Потом Тартарен пил чай у русских, в маленькой гостиной на первом этаже, открытые окна которой выходили на бульвар, на краешек цветника. Тут снова наступали блаженные минуты — пока Борис дремал на диване, у Тартарена с Соней шел тихий, задушевный разговор. Шумел самовар, в приотворенную дверь вместе с лиловым блеском обвивавших ее глициний вливался запах влажной зелени. Немножко больше солнца, тепла — и

тарасконцу почудилось бы, что русская девушка вместе с ним ухаживает за садиком с баобабом.

Вдруг Соня вздрагивала:

— Уже два часа!.. А почта?..

— Я пойду схожу, — вызывался добрый Тартарен, и лишь по звуку его голоса, по решительному, театральному жесту, каким он застегивал куртку и брал трость, можно было судить о важности предпринимавшегося им шага, по-видимому довольно простого, — сходить на почту за корреспонденцией для Васильевых.

Нигилисты, в особенности их главари, находились под неослабным надзором местных властей и русской тайной полиции, а потому они прибегали к некоторым предосторожностям; так, например, письма и газеты высылались им до востребования, причем на конвертах проставлялись только их инициалы.

В Интерлакене Борис совсем ослабел, и Тартарен, чтобы Соне не нужно было оставлять брата одного, чтобы избавить ее от томительно долгого ожидания у почтового окошечка под любопытными взорами, взял на себя этот ежедневный труд, сопряженный с опасностью и риском. Почта находилась всего в десяти минутах ходьбы от отеля, на шумной, широкой, составлявшей продолжение

бульвара улице, по обеим сторонам которой тянулись кафе, пивные и магазины для иностранцев, заваленные альпенштоками, гетрами, ремнями, биноклями, дымчатыми стеклами, флягами и дорожными мешками, — все это словно нарочно было выставлено на витринах, чтобы устыдить альпиниста-отступника. По улице двигались вереницы туристов, шли лошади, проводники, мулы, мелькали голубые вуали, зеленые вуали, в такт иноходи мулов позвякивали погребцы, в такт шагам раскачивались стальные крючья, но к этому вечному празднику герой наш оставался равнодушен. Он даже не чувствовал порывов налетавшего с гор холодного, пахнувшего снегом ветра — все внимание его было поглощено тем, как бы направить по ложному следу сыщиков, которые, казалось ему, так и ходят за ним по пятам.

Первый солдат авангарда, стрелок, настильным огнем обстреливающий стены вражеского города, не продвигается вперед с такой осторожностью, с какой тарасконец проходил небольшое расстояние от отеля до почты. Если сзади ему чудился звон шпор, он, чтобы пропустить полицейского вперед, останавливался у фотографии и начинал внимательно рассматривать витри-

ну, перелистывал иногда английскую, иногда немецкую книгу или неожиданно оборачивался и сталкивался нос к носу то с шедшей на рынок толстой трактирной кухаркой, бросавшей на него свирепый взгляд, то с безобидным туристом, заядлым черносливцем, который, приняв его за сумасшедшего, в испуге шарахался на мостовую.

Возле окошек почты, почему-то выходивших прямо на улицу, Тартарен, прежде чем подойти, долго шагал взад и вперед и заглядывал в лица встречным, потом вдруг бросался к окошку, просовывал в него и голову и плечи, лепетал нечто нечленораздельное, так что его всегда переспрашивали и тем повергали в еще больший трепет, и, завладев наконец таинственным имуществом, возвращался в отель задворками, делая громадный крюк, причем рука его судорожно сжимала в кармане пачку газет и писем, которую он при малейшей опасности готов был разорвать или даже проглотить.

Манилов и Болибин почти всегда дожидались почты у своих друзей. Из экономии и из предосторожности они жили не в отеле. Болибин поступил в типографию, а Манилов, превосходный столяр-краснодеревщик, работал на заказ. Тарасконец их недолюбливал. Один из них смущал его своими

гримасами, насмешливыми взглядами, другой отпугивал своим угрюмым видом. А кроме того, оба они занимали слишком много места в Сонином сердце.

— Это герой! — говорила про Болибина Соня и рассказывала, как он в центре Петербурга три года подряд выпускал один, без чьей-либо помощи, революционный листок. Три года он никуда не выходил, даже не показывался в окне и спал в большом чулане, в котором квартирная хозяйка запирала его каждый вечер вместе с печатным станком.

А Манилов, который в ожидании удобного случая полгода прожил в подвале Зимнего дворца и спал на динамите! За это он поплатился адскими головными болями, нервным расстройством и манией преследования, которую в нем развили налеты полиции, располагавшей неточными сведениями, что революционеры что-то готовят, и пытавшейся застать врасплох работавших во дворце мастеровых. За время своих редких выходов Манилов встречался на Адмиралтейской площади с представителем Революционного комитета, и тот, не останавливаясь, спрашивал его шепотом:

— Готовы?

— Нет еще… — не шевеля губами, отвечал Манилов.

Наконец, в один из февральских вечеров, он на этот неизменный вопрос ответил в высшей степени хладнокровно:

— Готово…

И почти тотчас же в подтверждение его слов раздался страшный взрыв, свет во всем дворце внезапно погас, площадь погрузилась во мрак, и эту кромешную тьму прорезАли стоны, вопли ужаса, трубные сигналы, галоп кавалерии и пожарной команды, мчавшейся с носилками.

Тут Соня сама себя прерывала.

— Ведь правда, это ужасно? — спрашивала она. — Столько человеческих жертв, столько усилий, такая смелость, изобретательность — и все напрасно!.. Нет, нет, массовые убийства — это плохой способ… Кого выслеживают, тот всегда спасается… Самое правильное и самое гуманное — идти на царя, как вы идете на льва: надо твердо решиться, надо взять с собой оружие, стать у окна на пути его следования и, когда он будет проезжать в карете…

— Ну да… *кнэчно*… — растерянно бормотал Тартарен, делая вид, что не понимает намека, и сейчас же заводил спор на философскую, вообще

на отвлеченную тему с кем-либо из многочисленных гостей, сидевших у Васильевых. Надо заметить, что Болибин с Маниловым были далеко не единственными их посетителями. Что ни день, появлялись новые лица: юноши и девушки, по виду — бедные студенты и восторженные учительницы, белокурые, румяные, с таким же упрямым лбом и таким же по-детски сердитым выражением лица, как у Сони. Все они были на нелегальном положении, все это были эмигранты, некоторые из них были даже в свое время приговорены к смертной казни, но их юношеский пыл от этого нисколько не охладел.

Они громко хохотали, громко разговаривали, большей частью по-французски, и Тартарен очень скоро почувствовал себя с ними легко. Они называли его «дядюшка» и любили за детскость и простодушие. Немножко он им, пожалуй, надоедал своими охотничьими рассказами, тем, что он каждый раз засучивал рукава до бицепсов и показывал след от когтей пантеры или давал пощупать на шее ямку в том месте, куда атласский лев вонзил свои клыки, и еще тем, пожалуй, что слишком быстро сходился с людьми, обнимал их за талию, хлопал по плечу и через пять минут после первого знакомства называл по именам:

«Послушайте, Дмитрий… Вы меня знаете, Федор Иванович…» Во всяком случае, довольно скоро сходился. Но все же он им нравился своей толщиной, своей приветливостью, доверчивостью, своим честолюбием. Они читали при нем письма, строили планы, придумывали пароли, чтобы сбить с толку полицию, и вся эта конспиративная кухня пленяла воображение тарасконца. Хотя насилие было чуждо его натуре, однако иной раз он не выдерживал и принимал участие в обсуждении их человекоубийственных замыслов, одобрял, возражал, давал советы, которые ему подсказывал опыт — опыт великого полководца, шествовавшего дорогой войны, владевшего всеми видами оружия и выходившего на крупных хищников один на один.

Если при нем говорили, например, об убийстве одного жандармского чина, которого нигилист заколол кинжалом в театре, Тартарен замечал, что удар был нанесен неправильно, и показывал, как надо обращаться с кинжалом.

— Гляньте: вот так, снизу вверх! Так уж себя не поранишь…

Войдя в роль, он продолжал:

— Предположим, мы с вашим деспотом встретились на медвежьей охоте и остались с глазу

на глаз. Да… Он стоит там, где вы сейчас, Федор, я здесь, вот у этого столика, и у каждого из нас охотничий нож. «Государь! Нам с вами предстоит рукопашный бой…»

Тут он выходил на середину комнаты, готовясь к прыжку, упирался своими короткими ногами в пол и, пыхтя, как дровосек или пекарь, устраивал самое настоящее сражение, которое заканчивалось его торжествующим криком в ту минуту, когда он наносил противнику удар снизу вверх, вонзал в него, черт побери, кинжал по самую рукоятку и выпускал кишки.

— Вот как это делается, милые мои детки!

Но зато какие страшные угрызения совести, какие муки испытывал Тартарен потом, когда он, надев ночной колпак, оставался один на один со своими мыслями перед стаканом сладкой воды, которую он обыкновенно пил на ночь, и когда чары Сониных синих глаз и тот хмель, что испаряли все эти отчаянные головы, были уже над ним не властны!

В самом деле, с кем он связался? До их царя ему никакого дела нет, и вообще все эти их истории его не касаются… А вдруг его в один прекрасный день схватят, посадят и выдадут московским властям?.. Все эти казаки, чтоб их, шутить не

любят… В темноте и при горизонтальном положении фантазия Тартарена, и без того обладавшая непостижимой силой, разыгрывалась, и пред его мысленным взором, как на «складных картинках», которые ему показывали в детстве, проходили многообразные чудовищные пытки, которым его подвергнут: вот он, как Борис, в рудниках добывает ярь-медянку, работает по пояс в воде, весь организм у него подточен, отравлен. Он бежит, скрывается в окутанных снегом лесах, за ним гонятся татары с собаками, нарочно выдрессированными для охоты на людей. Он изнемогает от холода и голода, его хватают, вешают между двумя разбойниками, и перед казнью его напутствует поп с лоснящейся гривой, от которого разит водкой и тюленьим жиром, меж тем как в Тарасконе, в погожий воскресный день, при блеске солнца и звуках музыки, толпа, неблагодарная, изменчивая толпа подводит сияющего Костекальда к креслу П.К.А.

Под тягостным впечатлением одного из таких страшных снов у него вырвался крик отчаяния: «Ко мне, Безюке!..» — и он послал аптекарю конфиденциальное письмо, насквозь мокрое, ибо он потел от страха. Но стоило Соне крикнуть в окно всего-навсего: «Здравствуйте!» — и он вновь

подпадал под ее обаяние, вновь испытывал мучительную нерешительность.

Как-то вечером он два часа подряд слушал в курзале волнующую музыку; когда же несчастный возвращался оттуда в отель, то позабыл всякую осторожность, и слова, которые он так долго в себе удерживал: «Я люблю вас, Соня!» — невольно слетели с его уст, в то время как рука его сжимала опиравшуюся на него Сонину руку. Соня не выразила удивления; при свете газовых фонарей, освещавших вход в отель, Тартарен заметил лишь, что она сильно побледнела.

— Что ж, меня надо заслужить!.. — сказала она с прелестной загадочной улыбкой, сверкнув своими белыми зубками.

Тартарен только хотел было ответить, поклясться, что совершит какое-нибудь преступное безумство, но в эту минуту к нему подошел служивший в отеле посыльный.

— Вас там, наверху, спрашивают… — сказал он. — Какие-то господа… Вас разыскивают!

— Меня? Разыскивают?.. А, чтоб!.. Что им нужно?

И тут перед ним вырисовалась картина №1: Тартарена хватают и выдают… Разумеется, в глубине души он струсил, но показал себя истинным

героем. Прежде всего он отскочил от Сони.

— Бегите, спасайтесь… — глухо произнес он.

Затем, гордо подняв голову, с решимостью во взоре, он, точно на эшафот, стал подниматься по лестнице, но тут его охватило столь сильное волнение, что ему пришлось держаться за перила.

Поднявшись, он заметил, что в глубине коридора, у дверей его номера, стоят какие-то люди, заглядывают в замочную скважину, стучат, зовут: «Эй, Тартарен!»

Он сделал несколько шагов вперед; во рту у него все пересохло, и он еле выговорил:

— Вы ко мне, господа?

— Ну да, конечно, к вам, дорогой президент!..

Маленький старичок, суетливый и сухонький, во всем сером, который, казалось, принес на своей куртке, на шляпе, на гетрах, на длинных отвисших усах всю пыль Городского круга, бросился к нашему герою на шею и потерся об его нежные, холеные щеки своей загрубевшей кожей, какая и должна была быть у каптенармуса в отставке.

— Бравида!.. Какими судьбами?.. И Экскурбаньес здесь!.. А это кто?..

В ответ раздалось блеянье:

— Э-это я, дорогой учи-и-итель!..

И тут, стуча по стене чем-то вроде длинной

удочки, конец которой был обернут в серую бумагу, в клеенку и перевязан веревкой, выступил вперед аптекарский ученик.

— А, ба, да это Паскалон!.. Ну, поцелуемся, малыш!.. А это что у него такое?.. Да поставь же ты это куда-нибудь!..

— Бумагу… бумагу сними!.. — шептал командир.

Юнец проворно стащил обертку, и перед взором подавленного Тартарена развернулось тарасконское знамя.

Депутаты сняли шляпы.

— Дорогой президент! — торжественно и твердо произнес Бравида, хотя голос у него все-таки дрожал. — Вы просили знамя — мы вам его привезли. Вот!..

Глаза у президента стали большими и круглыми, как яблоки.

— Я? Просил знамя?..

— Как? Разве вы не просили?..

Фамилия «Безюке» все объяснила Тартарену.

— Ах да, *кнэчно!..* — воскликнул он.

Он сразу все понял, сразу обо всем догадался и, тронутый невинной ложью аптекаря, попытавшегося воззвать к его чувству долга и к его чести, пробормотал, отдуваясь:

— Ах, друзья мои, как это хорошо! Какую услугу вы мне оказали!..

— Да здравствует *ррррезидэнт!..* — взвизгнул Паскалон, потрясая орифламмой[78].

Тут раздался «гонг» Экскурбаньеса, и его воинственный клич! «Хо-хо-хо! *Двайте шуметь*!..» — докатился до подвального этажа. Во всех номерах отворились двери, в них просунулись головы любопытных, но, напуганные стягом, черными волосатыми людьми, которые махали руками и выкрикивали какие-то непонятные слова, тотчас же скрылись. Никогда еще в стенах мирного отеля «Юнгфрау» не было такого содома.

— Пойдемте ко мне, — почувствовав некоторую неловкость, предложил Тартарен.

Они ощупью стали пробираться в темной комнате, нашаривая спички, как вдруг кто-то грохнул в дверь, от этого мощного удара она распахнулась, и на пороге появилось желтое, надменное, надутое лицо содержателя отеля Мейера.

Мейер хотел было войти, но его остановили сверкнувшие в темноте страшные глаза, и он, не заходя в номер, с неприятным немецким акцентом процедил сквозь зубы:

---

[78] Примечания: 78
Орифламма — знамя французских королей.

— Нельзя ли *потыше?..* А то вы у меня все насидитесь в полиции…

В ответ на дерзкое выражение «насидитесь» раздалось нечто подобное реву буйвола. Хозяин на шаг отступил, но все же огрызнулся:

— Знаем мы, кто вы такие! За вами слежка. Я не потерплю в моем отеле таких людей, как вы!..

— Господин Мейер! — тихо, вежливо, но весьма твердо сказал Тартарен. — Прикажите подать мне счет… Я с этими господами завтра утром отправляюсь на Юнгфрау.

О, родная земля, о, малая отчизна — частица великой! Как только Тартарен услышал тарасконский говор, как только от складок голубого знамени на него пахнуло воздухом родного края, он тотчас же вырвался из сетей любви и вернулся к своим друзьям, к своим обязанностям, к славе.

А ну, вперед!

IX
В «Ручной серне»

Очаровательна была на другой день прогулка пешком из Интерлакена в Гриндельвальд, где надо было сговориться с проводниками насчет подъема на Малую Шейдек. Очаровательно было торжественное шествие П.К.А., опять надевшего гетры и дорожный костюм и опиравшегося с одной стороны на костлявое плечо командира Бравида, а с другой — на мощную длань Экскурбаньеса, причем оба спутника были горды тем, что ведут и поддерживают своего дорогого президента, несут его ледоруб, мешок, альпеншток, меж тем как то спереди, то сзади, то сбоку прыгал, точно молодой пес, фанатик Паскалон, во избежание скандалов, подобных вчерашнему, несший знамя свернутым и накрепко перевязанным.

Веселое расположение духа, в каком находились спутники Тартарена, сознание исполненного долга, белая-белая Юнгфрау, точно дым, поднимавшаяся к небу, — всего этого было более чем достаточно, чтобы герой наш забыл то, что он здесь оставил, оставил, может быть,

навсегда и даже не простившись. Когда же они вышли на окраину Интерлакена, Тартарен на ходу поплакал сперва в жилетку Экскурбаньесу: «Послушайте, Спиридион», — потом в жилетку Бравида: «Вы меня знаете, Пласид...» Дело в том, что по иронии судьбы этого лихого вояку звали Пласидом, а Спиридионом — этого толстокожего буйвола[79] с низменными инстинктами.

К сожалению, тарасконцы, не столько сентиментальные, сколько галантные, сердечным делам не придают большого значения. «Кто теряет женщину и пятнадцать су, тот теряет только деньги», — наставительно заметил Пласид, и такого же мнения придерживался Спиридион. Что касается невинного Паскалона, то он страшно боялся женщин и краснел до ушей, когда при нем называли Малую Шейдек, — он полагал, что речь идет о какой-то особе легкого поведения. Несчастный влюбленный поневоле прекратил свои излияния и прибегнул к наиболее верному способу, а именно — стал утешать себя сам.

Да и какую печаль не рассеяла бы живописная дорога, которая тянулась сперва мимо извили-

---

[79] Примечания: 79

Пласид *(франц.)* — значит «мирный, кроткий». Спиридион — персонаж одноименного романа Жорж Санд (1839), монах-мыслитель и правдоискатель, разочаровывающийся в религиозной догме.

стой, белой от пены реки, чей рокот, как гром, отдавался в ельнике, покрывавшем крутые ее берега, а затем спускалась в узкую, глубокую и сумрачную лощину!

Тарасконские депутаты с каким-то благоговением, с каким-то священным ужасом глядели вокруг. Так чувствовали себя спутники Синдбада Морехода, когда впервые увидели манговые деревья и всю гигантскую тропическую флору берегов Индии. До сих пор тарасконцы знали только свои лысые каменистые горки и никогда не думали, что может быть столько деревьев сразу на таких высоких горах.

— Это еще что!.. Вот вы увидите Юнгфрау! — говорил П.К.А., наслаждаясь их изумлением и сознанием, что он растет в их глазах.

Словно для того, чтобы оживить пейзаж, смягчить его суровость, на дороге мелькали кавалькады, катились поместительные ландо, и в их окнах были видны вуали, развевавшиеся на ветру, и лица пассажиров, с любопытством разглядывавших депутацию, сомкнувшуюся вокруг своего вождя. Время от времени попадались палатки с деревянными игрушками, на обочинах стояли как вкопанные девочки в соломенных шляпках с широкими лентами и в пестрых платьях, пели

в три голоса песни и предлагали малину и эдельвейсы. Порою альпийский рог посылал в горы свою унылую ритурнель, ущелья отражали и усиливали ее звуки, а потом она постепенно сходила на нет, точно облако, превращающееся в пар.

— Как красиво! Ну прямо орган… — похожий на святого с витража, со слезами на глазах лепетал, придя в экстаз, Паскалон.

Экскурбаньес ревел во всю мочь, и эхо разносило окрест его тарасконский выговор:

— Хо-хо-хо!.. *Двайте шумэт*ь!..

Однако двухчасовая ходьба среди однообразного пейзажа, хотя бы это был пейзаж зелено-голубой, с ледниками в глубине и звучный, как часы с музыкой, все-таки утомительна. Грохот потоков, трехголосные хоры, игрушечники и маленькие цветочницы — все это опостылело нашим путешественникам, а главное — сырость, пар на дне этой воронки, куда совсем не заглядывало солнце, чмокающая под ногами земля, заросшая цветущими водяными растениями.

— Тут недолго и плеврит схватить, — поднимая воротник, ворчал Бравида.

Потом стали сказываться усталость, голод, дурное расположение духа. Трактира нигде не было. Экскурбаньес и Бравида набили себе животы

малиной и теперь жестоко страдали. Паскалон, этот ангел во плоти, которому бессовестные спутники взвалили на плечи не только знамя, но и ледоруб, и мешок, и альпеншток, — и тот утратил свойственную ему жизнерадостность и перестал скакать.

На одном из поворотов, когда они переходили Лючинен по крытому мосту, какие строят в этих краях, где так часты снежные заносы, их оглушило отчаянное завывание рога.

— Ну, ну, довольно, довольно!.. — в ужасе возопила депутация.

Человек гигантского роста, прятавшийся в засаде у обочины дороги, вынул изо рта длинную еловую трубу, доходившую до самой земли и оканчивавшуюся резонатором, который придавал этому доисторическому инструменту звучность артиллерийского орудия.

— Спросите его, нет ли тут поблизости трактира, — сказал президент Экскурбаньесу, который, обладая громадным апломбом и карманным словариком, считал, что в немецкой Швейцарии он может служить депутации переводчиком. Но не успел он достать словарь, как незнакомец заговорил на прекрасном французском языке:

— Трактир, господа?.. Ну конечно!.. До «Ручной

серны» два шага… Позвольте, я вас провожу.

Дорогой он им про себя рассказал, что несколько лет прослужил комиссионером в Париже, на углу улицы Вивьен.

«Тоже, значит, состоит на службе в Компании, черт его дери», — подумал Тартарен, однако решил оставить своих спутников в блаженном неведении. Сослуживец Бомпара очень им всем пригодился, так как, хотя над входом в «Ручную серну» красовалась французская вывеска, говорили здесь на скверном немецком языке.

Немного погодя тарасконская депутация, усевшись вокруг огромной сковороды, на которой им была подана яичница с картофелем, восстановила свои силы и доброе расположение духа, столь же необходимое южанам, как солнце их родному краю. Выпили изрядно, покушали плотно. После многочисленных тостов за президента и за успех его начинания Тартарен, которого с первого же момента заинтересовала вывеска, обратился к игроку на роге, замаривавшему червячка в углу:

— Стало быть, у вас здесь водятся серны?.. Я думал, в Швейцарии они повывелись.

Тот прищурился.

— Нельзя сказать, чтобы их тут было много, но все-таки мы вам покажем.

— Да президенту пострелять хочется, вот что!.. — вне себя от восторга воскликнул Паскалон. — Он бьет без промаха.

Тартарен пожалел, что не взял с собой карабина.

— Подождите, я поговорю с хозяином.

Оказалось, что хозяин прежде охотился на серн. Он предложил свое ружье, порох, дробь и даже вызвался проводить путешественников в такое место, где водятся серны.

— А ну, вперед! — сказал Тартарен.

Он рад был доставить альпинцам удовольствие похвалиться меткостью своего вождя. Правда, это задержка. Ну, ничего, Юнгфрау подождет!

Выйдя из трактира черным ходом, они прошли садик, занимавший не больше пространства, чем цветник при доме начальника железнодорожной станции, отворили калитку и сразу очутились в глубокой теснине, где росли только ели да колючий кустарник.

Трактирщик пошел вперед, и вскоре тарасконцы увидели, что он уже очень высоко забрался, размахивает руками, бросает камни — вероятно, для того, чтобы поднять серну. С великим трудом добрались они до него по кремнистым отвесным склонам, особенно тяжким для людей, вроде на-

ших добрых тарасконских альпинистов, только что вставших из-за стола и не привыкших лазать по горам. А тут еще духота, дуновение близкой грозы, гнавшее медлительные тучи по верхам гор, над самой головой у путешественников.

— А, чтоб!.. — охал Бравида.

— А ну их всех! — ворчал Экскурбаньес.

— Извините за выраже-е-ение!.. — блеющим голосом прибавлял за них кроткий Паскалон.

Внезапно проводник подал им знак молчать и не двигаться.

— С оружием в руках не разговаривают, — строго заметил Тартарен из Тараскона, и все ему повиновались, хотя вооружен был только президент.

Все стояли не шевелясь и затаив дыхание. Вдруг Паскалон крикнул:

— Гляньте-ка, серна, гляньте-ка!..

В ста метрах от них, укрепившись всеми четырьмя ножками на самом краю скалы, красивое, словно выточенное из дерева животное светло-рыжей масти бесстрашно смотрело на пришельцев. Тартарен, по своему обыкновению не спеша, вскинул ружье и хотел было прицелиться, но серна уже исчезла.

— Это ты виноват, — сказал командир Паскало-

ну. — Ты свистнул… Это ее спугнуло.

— Да разве я свистел?

— Ну, значит, Спиридион…

— Да бог с вами! Я и не думал.

Все, однако, слышали резкий продолжительный свист. Но президент их успокоил, — он сказал, что серны при приближении опасности с шумом выпускают из ноздрей воздух. Какой же Тартарен молодчина! Он и в охоте на серн смыслил не меньше, чем в любой другой! По зову проводника все снова пустились в путь. Однако подъем становился все труднее, гора все круче, справа и слева зияли пропасти. Тартарен шел впереди и ежеминутно оборачивался, чтобы помочь депутатам, протянуть им руку или же карабин.

— Руку! Если можно, руку! — молил доблестный Бравида, безумно боявшийся заряженных ружей.

Снова знак проводника, снова остановка, снова все задирают головы вверх.

— На меня капнуло! — растерянно пробормотал командир.

В ту же минуту загремел гром, но его покрыл голос Экскурбаньеса:

— Тартарен! Серна!

Серна, перемахнув через впадину, золотистым бликом скользнула мимо них так быстро, что

Тартарен не успел прицелиться, но продолжительный свист, исходивший из ее ноздрей, они все же расслышали.

— Вот я ее сейчас, разэтакую такую! — крикнул президент.

Но депутаты воспротивились. Экскурбаньес, вспылив, заметил, что президент, как видно, поклялся их доконать.

— Дорогой учи-и-итель!.. — робко заблеял Паскалон. — Я слыхал, что, если серну загнать на край пропасти, она становится опасной и может броситься на охотника.

— Ну так не будем загонять ее на край пропасти! — грозно заломив фуражку, воскликнул Бравида.

Тартарен обозвал их мокрыми курицами. Внезапно в самый разгар ссоры их всех скрыла друг от друга плотная и теплая пелена дождя, пахнувшего серой, и сквозь нее они тщетно перекликались:

— Эй, Тартарен!

— Пласид, где вы?

— Учи-и-ите-е-ель!

— Спокойствие! Спокойствие!

Поднялась настоящая паника. Налетевший вихрь разорвал тучу, как кисею, клочья ее, цеп-

ляясь за кусты, затрепыхались на ветру, из тучи ударила зигзагообразная молния и с ужасающим треском упала прямо под ноги путешественникам.

— Моя фуражка!.. — закричал Спиридион.

Буря сорвала со Спиридиона фуражку, волосы у него поднялись дыбом и трещали от пробегавших по ним электрических искр. Путешественники попали в центр грозы, в самую кузницу Вулкана. Бравида первый пустился бежать со всех ног, другие депутаты бросились было за ним, но их остановил крик П.К.А., думавшего за всех:

— Несчастные!.. Берегитесь молнии!..

Но дело было не только в этой, вполне реальной, впрочем, опасности, о которой он их предупреждал, — бежать по изборожденным трещинами откосам, которые ливень превратил в сплошные потоки и водопады, не представлялось возможным. Обратный путь был поистине ужасен: альпинцы шли медленным шагом под обломным ливнем, при вспышках молнии, сопровождавшихся ударами грома, поминутно скользили, падали, останавливались. Паскалон крестился, по тарасконскому обычаю громко призывал «святую Ангелину и Марию Магдалину», Экскурбаньес поминал «разэтакого такого»,

а шедший в арьергарде Бравида испуганно оглядывался.

— Что это еще за сатанинское отродье сзади нас?.. — говорил он. — Свистит, скачет, потом вдруг останавливается…

Из головы у храброго воина не выходила мысль о рассвирепевшей серне, бросающейся на охотников. Тихонько, чтобы не напугать товарищей, он поделился своими опасениями с Тартареном, и тот мужественно пошел вместо него в арьергарде; промокнув до костей, Тартарен шагал, гордо подняв голову, с той молчаливой решимостью, какую придает сознание неотвратимой опасности. Но зато, когда президент вернулся в трактир и удостоверился, что все милые его сердцу альпинцы под кровом, растираются, сушатся вокруг огромной кафельной печи в комнате на втором этаже, куда снизу поднимался запах уже заказанного грога, ему вдруг показалось, что его знобит, и он стал бледен как смерть.

— Мне что-то нехорошо… — объявил он.

«Что-то нехорошо» — это страшное своей неопределенностью и краткостью выражение означает у тарасконцев любое заболевание:

чуму, холеру, *vomito nero*[80], черную оспу, перемежающуюся лихорадку, паралич, ибо все эти болезни мерещатся тарасконцу при малейшем недомогании.

Тартарену что-то нехорошо! Следовательно, нечего было и думать о том, чтобы двигаться дальше, да и вся депутация мечтала отдохнуть. Тартарену сейчас же нагрели постель, принесли горячего вина, и после второго стакана президент почувствовал, как по всему его изнеженному телу разливается тепло и бегают мурашки, а это был добрый знак. Подложив себе под спину две подушки, накрыв ноги периной, надев на голову вязаный шлем, он с особым наслаждением прислушивался к завываниям бури, дышал приятным запахом ели, исходившим от неоклеенных стен деревенской комнаты с маленькими мутными окошечками, и смотрел на милых его сердцу альпинцев, со стаканами в руках обступивших его ложе, смотрел на их галльские, сарацинские, римские физиономии, которым придавали еще более причудливый вид пологи, ковры и занавески, заменившие им обычное их одеяние, все еще дымившееся возле печки. Забывая о себе,

---

[80] Примечания: 80
желтую лихорадку *(итал.)*

Тартарен участливо спрашивал их:

— Ну, как вы, Пласид?.. А вам, Спиридион, кажется, нездоровилось?..

Нет, Спиридиону уже здоровилось. Когда он узнал, что президент тяжело болен, у него все как рукой сняло. Бравида, у которого на любой случай жизни были припасены тарасконские поговорки, цинично заметил:

— Захворал твой сосед — так и знай: полегчает тебе!..

Потом они заговорили про свою охоту и воодушевились при воспоминании о некоторых опасных эпизодах, о том, например, как на них бросилась рассвирепевшая серна. Не сговариваясь, они в простоте души уже придумывали всякие небылицы, которые будут потом рассказывать дома.

Внезапно в комнату влетел, стыдливым движением Полиевкта натягивая на себя голой рукой занавеску, вышитую голубыми цветами, перепуганный Паскалон, бегавший вниз на кухню за новой порцией грога. Он совсем задохнулся и лишь несколько мгновений спустя еле слышно произнес:

— Серна!..

— Что серна?..

— Она там, на кухне… Греется!..

— Ну да!..

— Не валяй дурака!..

— Подите посмотрите, Пласид!..

Бравида не решился. Вместо него туда прошел на цыпочках Экскурбаньес и тут же с искаженным от ужаса лицом возвратился… Час от часу не легче: серна пила теплое вино!..

И то сказать, бедная серна заслужила это угощение: она так бешено мчалась в горах, хозяин нынче совсем ее загонял, а ведь обыкновенно он, чтобы убедить путешественников, как легко она поддается дрессировке, заставлял ее показывать разные фокусы в комнате.

— Непостижимо! — отказываясь что-либо понять, воскликнул Бравида.

А Тартарен в это время надвинул шлем на глаза, чтобы депутаты не заметили добродушно-насмешливого выражения, какое приняло его лицо при мысли о безопасной Швейцарии Бомпара со всеми ее эффектами и со всеми ее статистами, на каждом шагу напоминавшей ему о себе.

X

Восхождение на Юнгфрау. «Гляньте: быки!» Шипы Кеннеди никуда не годятся, спиртовка тоже. В домике Клуба альпинистов появляются люди в масках. Президент падает в расселину. Там он теряет очки. На вершине! Тартарен превращается в бога

В отеле «Прелестный вид» на Малой Шейдек сегодня утром большой наплыв туристов. Несмотря на дождь и ветер, столы накрыты на веранде, под навесом, среди груд альпенштоков, фляг, подзорных труб, резных часов с кукушкой, и взорам завтракающих туристов слева представляется чудная Гриндельвальдская долина, лежащая тысячи на две метров ниже веранды, справа — Лаутербрунненская долина, прямо, чуть ли не на расстоянии ружейного выстрела, величественные девственные склоны Юнгфрау, ее фирновые поля, ее ледники, ее светящаяся, все вокруг озаряющая белизна, от которой стаканы кажутся еще прозрачнее, а скатерти белее.

Всеобщее внимание привлекал, однако, кара-

ван шумных бородачей, только что прибывших кто верхом на лошади, кто на муле, кто на осле, а кто даже на носилках и перед подъемом устроивших себе обильный завтрак, проходивший весьма оживленно; при этом поднятый ими шум составлял полную противоположность торжественной скуке, царившей у рисолюбов и чернослив цев, собравшихся на Малой Шейдек, среди которых были такие знаменитости, как лорд Чипндейл, бельгийский сенатор с семейством, австро-венгерский дипломат и другие. Можно было подумать, что сидящие за одним столом бородачи собираются подниматься на гору все вместе, потому что каждый из них принимал живейшее участие в приготовлениях, поминутно вскакивал, бросался отдавать распоряжения проводникам, осматривал провизию, и все они с одного конца террасы на другой перекликались дикими голосами:

— Эй, Пласид! Гляньте: миска в мешке или нет?

— Не забудьте спиртовку! А?

Только перед самым отходом выяснилось, что большинство составляют провожающие, что из всего каравана собирается совершить подъем только один человек, но зато какой человек!

— Ну что, друзья, все готово? — спросил добрый Тартарен, и в его радостном, ликующем тоне не улавливалось ни единой тревожной нотки в связи с возможными опасностями путешествия, ибо последние его сомнения относительно швейцарских подделок рассеялись нынче же утром, когда он увидел перед двумя гриндельвальдскими ледниками кассу, турникет и вывеску: «За вход на ледник — 1 франк 50 сантимов».

Итак, наш герой мог спокойно наслаждаться торжественными проводами и приятным сознанием, что все на него смотрят, все ему завидуют, что юные бесцеремонные мисс, коротко подстриженные «под мальчика», которые так мило шутили над ним в «Риги-Кульм», сейчас приходят в восторг, сравнивая этого низенького человека с громадной горой, на которую он должен взойти. Одна из них набрасывала его портрет в альбоме, другая почла за честь прикоснуться к его альпенштоку.

— Чимпэньского!.. Чимпэньского! — неожиданно каркнул мрачный, долговязый, багроволицый англичанин, подходя к Тартарену с бутылкой и стаканом. Чокнувшись с героем, он представился:
— Лорд Чипндейл, сэр… А вы?

— Тартарен из Тараскона.

— *Oh yes*!..[81] Тартерин… Очень хорошее имя для лошади, — заметил лорд, видимо, заядлый спортсмен.

Австро-венгерский дипломат тоже подошел подержать руку альпиниста между своими митенками и все старался вспомнить, где он мог его видеть.

— Очень рад!.. Очень рад!.. — мямлил он, не зная, о чем говорить дальше, и наконец прибавил: — Сердечный привет супруге… — У него вошло в привычку обрывать этой светской фразой церемонию представления.

Проводники между тем торопили — надо было засветло добраться до домика Клуба альпинистов, где совершающие подъем обыкновенно останавливаются после первого перехода; нельзя было терять ни минуты. Тартарен с ними согласился, сделал общий поклон и, отечески улыбнувшись шалуньям мисс, громовым голосом произнес:

— Паскалон, знамя!

Знамя взреяло, южане обнажили головы (в Тарасконе любят театральность!), и под нескончаемые крики: «Да здравствует Тартарен! Хо-хо!.. *Двайте шумэть*!..» — колонна двинулась в таком

---

[81] Примечания: 81
Вот как!.. *(англ.)*

порядке: впереди два проводника несли мешок, провизию и вязанки дров, за ними Паскалон с орифламмой и, наконец, П.К.А. и депутаты, которые должны были проводить его до ледника Гугги. Это шествие с хлопавшим на ветру знаменем по влажному подножью ледника, по его то голым, то завьюженным гребням напоминало отчасти деревенскую процессию в день поминовения усопших.

Вдруг командир испуганно крикнул:

— Гляньте: быки!

В самом деле, по низинкам быки щипали траву. Бывший военный боялся этих животных до сумасшествия, он ничего не мог с собой поделать, и по этому случаю вся депутация, не решившись покинуть его, вынуждена была остановиться. Паскалон передал знамя одному из проводников. После объятий, кратких напутствий и предостережений: *«Нэ,* прощайте!», «Будьте все-таки осторожны!..» — они наконец расстались. Никто из депутатов даже не подумал отправиться в путь вместе с президентом: уж очень высокая гора, чтоб ее! Чем ближе к ней, тем она выше, всюду разверзаются бездны, из белого хаоса, как уверяют — непроходимого, торчат острые пики. Нет, лучше наблюдать восхождение с Малой Шейдек.

Разумеется, нога президента Клуба альпинцев до этого никогда не ступала на ледник. Все, что он видел вокруг, не имело ничего общего с тарасконскими горками, душистыми и сухими, как пакетик с ветиверией[82]. И все же эти подступы к Гугги производили на него впечатление чего-то уже виденного, напоминали ему охоту в Провансе, на Камарге, неподалеку от моря. И здесь трава, выгоревшая, как бы опаленная огнем, становилась все ниже и ниже. Кое-где лужицы, болотца, о существовании которых предупреждал чахлый тростник, вон там — морена, похожая на движущуюся песчаную дюну, на груду разбитых раковин или кучу мелкого угля, а вдали — ледник с его иззелена-голубыми курчавившимися волнами, увенчанными белыми гребнями, с его безмолвной застывшей зыбью. Ветер, дувший оттуда, резкий, свистевший в ушах, так же пронизывал и дышал такою же здоровою свежестью, как и ветер морской.

— Нет, благодарю вас... У меня «кошки»... — сказал Тартарен проводнику, когда тот предложил ему надеть шерстяные чулки поверх башмаков. — «Кошки» системы Кеннеди... усо-

[82] Примечания: 82

Ветиверия — сорт сухих духов, представляющий собой высушенные корни индийского растения.

вершенствованные… очень удобные…

Он кричал так, как будто разговаривал с глухим, чтобы его легче понял Христиан Инебнит, который знал французский язык не лучше своего товарища Кауфмана. Сидя на валуне и разговаривая с проводниками, он в то же время привязывал ремнями, которые они ему дали, к подобию башмаков три громадных стальных зуба. Сто раз он подвергал испытанию эти «кошки» системы Кеннеди в садике с баобабом, тем не менее эффект был неожиданный. Под тяжестью нашего героя зубья вонзились в лед с такой силой, что все попытки вытащить их оказались напрасными. Пригвожденный ко льду, Тартарен пыхтел, бранился, отчаянно размахивал руками и альпенштоком и в конце концов вынужден был позвать ушедших вперед проводников, убежденных в том, что они имеют дело с опытным альпинистом.

Вырвать его с корнем оказалось немыслимо, а потому проводники сочли за благо отвязать ремни, «кошки» оставить во льду и заменить их шерстяными чулками. После этого президент продолжал свой путь, хотя уже с великим трудом и превозмогая усталость. Он не привык ходить с палкой, она у него путалась под ногами, стальной

наконечник при слишком сильном упоре скользил, и Тартарен чуть не падал. Он попробовал заменить ее ледорубом, но идти с ледорубом оказалось еще труднее, оттого что, гонимый какой-то неистовой окаменевшей бурей, ледяной прибой становился все более мощным и накатывал один неподвижный вал на другой.

Неподвижность эта была, впрочем, только кажущаяся, ибо сухой треск, глухое урчание, движение огромных ледяных глыб, переставлявшихся медленно, как декорации, — все говорило о том, что внутри застывшей массы идет своя жизнь, идет игра коварной стихии. И на глазах у нашего альпиниста, не дальше, чем он мог добросить альпеншток, образовывались расселины, бездонные колодцы, куда без конца сыпались осколки льда. Герой наш падал, один раз даже провалился по пояс в зеленоватую воронку, но с головой все же не ухнул благодаря своим широким плечам.

Видя, что он такой неловкий и в то же время такой спокойный и самоуверенный, видя, что он все хохочет, напевает, размахивает руками, как во время сегодняшнего завтрака, проводники вообразили, что так на него подействовало швейцарское шампанское. Да и могли ли они по-

думать что-либо иное о прославившемся своими горными походами президенте Клуба альпинцев, о котором его товарищи говорили не иначе, как сопровождая свою речь восторженными кликами и повышенно жестикулируя? Они взяли его под руки с почтительной твердостью полицейских, сажающих в экипаж подгулявшего сынка богатых родителей, знаками и междометиями попытались обратить его внимание на опасность, доказать ему необходимость достигнуть хижины до наступления темноты, запугивали его холодом, расселинами, обвалами. Концами своих ледорубов они показывали ему огромные ледяные горы, ослепительно сверкавшую, высившуюся до самого неба наклонную фирновую стену.

Но добрый Тартарен только посмеивался:

— А, подумаешь, расселины… А, подумаешь, обвалы…

Он прыскал, подмигивал проводникам и толкал их локтями в бок, давая понять, что его не проведешь, что закулисная сторона ему известна.

Проводники тоже в конце концов заразились весельем тарасконских песенок. И когда они останавливались на какой-нибудь устойчивой глыбе,

чтобы дать минутку передохнуть господину альпинисту, то непременно «йоделировали»[83] на швейцарский лад, но только не громко, так как боялись обвалов, и не долго, оттого что время было уже позднее. Наступавший вечер давал о себе знать резким похолоданием, а главное, тем, как странно вдруг потускнели все эти снега, все эти громоздившиеся одна на другую, нависшие льдины, которые и при пасмурном небе переливают всеми цветами радуги, но которые, как только день угасает и возносится к вечно ускользающим от взора вершинам, начинают изливать бледное, безжизненное, призрачное сиянье, сродное сиянью луны. Матовый свет, мерзлота, тишина, и во всем — смерть. И добрый Тартарен, несмотря на всю свою живость и сердечный жар, все же приуныл, как вдруг отдаленный птичий крик, призыв «куропатки снегов», неожиданно прозвучавший в этой пустыне, привел ему на память выжженное солнцем поле, рдяный закат и тарасконских охотников, сидящих на пустых ягдташах под прозрачной тенью оливкового дерева и вытирающих потные лбы. Это воспоминание ободрило его.

---

[83] Примечания: 83
От немецкого jodeln - петь с переливами (на тирольский манер).

Но вот Кауфман показал наверх — там виднелось нечто напоминавшее вязанку дров, лежащую на снегу:

— *Die Hutte*[84].

То была хижина альпинистов. Казалось, до нее рукой подать, а на самом деле пришлось идти добрых полчаса. Один из проводников пошел вперед, чтобы развести огонь. Наступила ночь, режущий лицо ветер носился по окоченелой земле. Тартарен уже неясно сознавал, что с ним творится; проводник крепко держал его за руку, а он спотыкался, подпрыгивал, и, несмотря на то что в воздухе захолодало, на нем не было сухой нитки. Вдруг в нескольких шагах сверкнул огонек, приятно запахло луковой похлебкой.

Пришли.

Трудно себе представить что-нибудь более первобытное, чем эти стоянки, устроенные в горах Швейцарским клубом альпинистов. Это одна-единственная комната с наклонными деревянными нарами для спанья, которые занимают почти все помещение и оставляют лишь весьма небольшое пространство для очага и для длинного стола, прибитого, так же как и скамейки вокруг

---

[84] Примечания: 84
хижина *(нем.)*

него, к полу. Стол был уже накрыт: три чашки, оловянные ложки, спиртовка для варки кофе, две открытые коробки чикагских консервов. Тартарену обед показался изумительно вкусным, хотя луковая похлебка припахивала дымком, а пресловутая патентованная спиртовка, на которой литр кофе должен был быть готов в течение трех минут, не действовала.

За десертом Тартарен запел — это был для него единственный способ общения с проводниками. Он спел им песенки своего родного края: «Тараск», «Авиньонки». Проводники ответили ему песенками на ломаном немецком языке: «*Mi Voter isch en Appenzeller... aou... aou...*»[85] Эти два молодца с чертами резкими и грубыми были точно вытесаны из скалы; растительность, покрывавшая их впалые щеки, напоминала мох, их светлые глаза, подобно глазам матросов, привыкли к широким пространствам. И ощущение простора и близости моря, возникшее у Тартарена недавно, на подступах к Гугги, снова появилось у него сейчас, когда он смотрел на этих ледовых моряков, сидя в тесной, низкой, дымной, похожей на каюту хижине, куда сверху капала вода, в которую мгновенно

---

[85] Примечания: 85

«мой отец — альпийский отшельник... у-у-у... у-у-у...» *(искаж. нем.)*

превращался от жары снег, и прислушиваясь к сильным порывам с размаху налетавшего на хижину ветра — ветра, от которого все сотрясалось, от которого трещали нары, колебался огонь в лампе и который потом неожиданно замирал и сменялся такой безмерной, такой потрясающей тишиной, как будто наступал конец света.

В хижине уже кончали обедать, как вдруг снаружи послышались тяжелые шаги людей, берущих подъем, и все приближающиеся голоса. Дверь затряслась от стука. Тартарен, крайне встревоженный, взглянул на проводников: ночное нападение? На такой высоте?.. Стук в дверь усилился.

— Кто там? — хватаясь за ледоруб, окликнул герой.

Но в хижину уже ввалились два огромных янки в белых холщовых масках, в одежде, мокрой от снега и пота, и два их проводника — одним словом, целый караван, возвращавшийся с вершины Юнгфрау.

— Пожалуйте, милорды, — сказал тарасконец, встречая их широким гостеприимным жестом, но милорды, не дожидаясь его приглашения, расположились со всеми удобствами.

Стол был в одну минуту захвачен, приборы

убраны, чашки и ложки, как того требовал порядок, заведенный во всех этих альпийских домиках, перемыты горячей водой и приготовлены для вновь прибывших, башмаки милордов дымились у очага, а сами милорды разулись, обернули ноги в солому и принялись за вторично изготовленную луковую похлебку.

Американцы, отец и сын, представляли собой двух рыжих великанов с грубыми и волевыми чертами, свойственными пионерам. У отца на одутловатом, загорелом, облупившемся лице были широко раскрыты совершенно белые глаза. И по тому, как неуверенно шарил он вокруг чашки и ложки, по тому, как заботился о нем сын, Тартарен скоро догадался, что это знаменитый слепой альпинист, о котором ему говорили в отеле «Прелестный вид» и в существование которого он отказывался верить, — альпинист, прославившийся своими подъемами еще в юности, а теперь, несмотря на свои шестьдесят лет и на слепоту, возобновлявший вместе с сыном все свои былые походы. Уже потеряв зрение, он взбирался на Веттергорн и на Юнгфрау и собирался «брать» Сервен и Монблан, — он был уверен, что горный воздух, холодный, пахнущий снегом, доставлявший ему неизъяснимое наслаждение,

возвращает ему утраченную бодрость.

— А все-таки, — обратился Тартарен к одному из носильщиков, так как сами янки оказались необщительными и на все его подходы отвечали только *yes* и *no*[86], — как же при его слепоте ему удается брать опасные места?

— О, у него нога настоящего горца! А кроме того, при нем неотлучно сын, следит за ним, ставит ему ноги куда нужно… Так или иначе, несчастных случаев с ним никогда не бывает.

— Тем более что несчастные случаи здесь не так уж страшны? *Чтэ*?

Тартарен заговорщицки подмигнул озадаченному носильщику, а затем, лишний раз убедившись, что «все это сплошное вранье», улегся на нарах, завернулся в одеяло, натянул вязаный шлем на глаза и, несмотря на свет, шум, табачный дым и запах лука, заснул крепким сном…

— Мосье!.. Мосье!..

Один из проводников расталкивал его перед отходом, а другой в это время разливал по чашкам кофе. Пока Тартарен шел сперва к столу, потом к двери, спящие, на которых он наступал по дороге, провожали его ворчаньем и бранью. Как только

---

[86] Примечания: 86
да, нет *(англ.)*

он вышел наружу, его охватил холод, ослепил сказочно прекрасный лунный свет, лежавший на белой пелене снегов, на застывших ледяных водометах, и в этом свете густыми черными тенями вырезывались иглы, пики, глыбы. Это был уже не полуденный искрящийся хаос, не безжизненное сочетание серых тонов вечера, но раскиданный по холмам целый город с мрачными улицами, с таинственными проездами, с подозрительными закоулками между мраморных памятников и осыпающихся развалин, мертвый город с широкими пустынными площадями.

Два часа! Если идти быстро, добраться до вершины можно к полудню.

— А ну! — бодрым голосом сказал П.К.А., устремляясь точно на штурм крепости.

Но проводники его удержали. Предстоят опасные переходы — нужно связаться.

— Ну да, еще связываться!.. А впрочем, как вам угодно…

Христиан Инебнит прошел вперед, протянув между собой и Тартареном три метра веревки, и точно такое же расстояние отделяло теперь Тартарена от второго проводника, шедшего сзади и несшего провизию и знамя. Тарасконец чувствовал себя крепче, чем накануне, ибо он теперь

окончательно во всем убедился и не придавал значения трудностям пути, если только можно было назвать путем ужасный ледяной гребень, по которому они осторожно ступали, — гребень шириной всего в несколько сантиметров и до того скользкий, что Христиану приходилось вырубать в нем ступеньки.

Линия гребня искрилась между двумя бездонными провалами. Не подумайте, однако, что Тартарен трусил. Ничуть! Так только, легкие мурашки пробегали по его телу, как это бывает с новичком, который при вступлении в масонскую ложу подвергается первым испытаниям. Он аккуратно ставил ноги на ступеньки, вырубленные головным проводником, повторял за ним все его движения и хранил при этом такое же невозмутимое спокойствие, как в садике с баобабом, когда он, к великому ужасу красных рыбок, упражнялся в хождении по краю бассейна. В одном месте гребень до того сузился, что пришлось сесть на него верхом, и вот в то время как они медленно продвигались таким способом вперед, помогая себе руками, справа, под ними, раздался оглушительный взрыв.

— Обвал! — сказал Инебнит и замер на все время, пока грохотало эхо, тысячекратное, бес-

крайнее, заполонившее собою весь небосвод и перешедшее к концу в долгий громовой раскат, который то ли удалялся, то ли постепенно затихал. А мгновение спустя надо всем уже вновь расстилался и все покрывал саван безмолвия.

Пройдя гребень, они двинулись по фирновому полю с довольно пологим склоном, но длины бесконечной. Так они поднимались больше часа, а затем узенькая розовая полоска обозначила высоко-высоко над ними вершины гор. Занималась заря. Как истый южанин, враг сумрака, Тартарен затянул песнь радости:

Солнце яркое Прованса!

Твой дружок, шалун мистраль…

Вдруг веревку спереди и сзади сильно тряхнуло, и Тартарен запнулся как раз на середине куплета.

— Шш!.. Шш!.. — зашикал на него Инебнит, показывая ледорубом на грозный ряд исполинских, громоздившихся одна на другую глыб, почти лишенных упора и от малейшего сотрясения воздуха готовых обрушиться.

Тарасконец, однако, отлично понимал, в чем тут дело. Провести его на мякине было невозможно, и он снова запел во все горло:

...Припадет к волне Дурансы
И, хмельной, несется вдаль.

Проводники, видя, что им не унять разошедшегося певуна, пошли в обход ледяных глыб, но вскоре путь им преградила громадная расселина, на зеленоватых стенах которой уже играл первый быстролетный луч зари. Через нее перекинулся так называемый «снежный мост», до того тонкий и хрупкий, что едва на него шагнули — и он весь развеялся вихрем белой пыли, увлекая за собой вниз переднего проводника и Тартарена, повисших на веревке, которую сдерживал теперь только проводник, шедший сзади, Рудольф Кауфман, изо всех своих недюжинных сил горца вцепившись в ледоруб, глубоко воткнутый в лед. Но держать двух человек над пропастью он еще кое-как мог, вытащить же их у него не хватало мочи, и, стиснув зубы, напрягши мускулы, он сидел на корточках на значительном расстоянии от расселины и не видел, что там происходило.

Ошеломленный падением, ослепленный снегом, Тартарен некоторое время, словно игрушечный паяц, болтал ногами и руками, затем веревка выпрямила его, и он повис над пропастью носом к стене льда, которую полировало его дыхание, в

позе кровельщика, чинящего водосточную трубу. Он видел, как бледнело прямо над его головой небо, как меркли последние звезды, а под ним зияла пропасть, окутанная непроницаемым мраком, и от нее веяло холодом.

Вскоре, однако, он оправился от потрясения, и к нему вернулись его обычная самоуверенность и доброе расположение духа.

— Эй, вы там, папаша Кауфман, смотрите не заморозьте нас! Чтэ? Здесь сквозняк, а веревка окаянная режет бока.

Кауфман не мог ему ответить — разжать зубы значило ослабеть. А Инебнит кричал из глубины:

— Мосье!.. Мосье!.. Ледоруб!..

Дело в том, что свой ледоруб он выронил при падении. Подвешенных разделяло изрядное расстояние, и передать это тяжеловесное орудие Инебниту оказалось для Тартарена делом отнюдь не простым. Инебниту же оно было нужно для того, чтобы сделать во льду ступеньки, за которые он мог бы держаться руками и ногами.

Тяжесть, висевшая на веревке, убавилась таким образом наполовину, после чего Рудольф Кауфман, рассчитывая каждое свое движение, крайне осторожно начал подтаскивать к себе

президента, и наконец тарасконская фуражка показалась над краем расселины. Вслед за ним выбрался Инебнит, и оба горца обменялись короткими фразами, какими обмениваются люди несловоохотливые, когда грозная опасность уже минует. Они все еще были взволнованы, от затраченных усилий руки и ноги у них дрожали, так что Тартарен счел необходимым предложить им киршвассеру для подкрепления. Сам же он был бодр, спокойно отряхивался и, отбивая ногами такт, напевал, чем привел своих проводников в немалое изумление.

— *Брав, брав, француз*!.. — хлопая его по плечу, повторял Кауфман.

А Тартарен только посмеивался. «Шутник! — говорил он себе. — Ведь я же знал, что это не опасно…»

А проводники в это время думали, что такого альпиниста они не запомнят.

Все трое начали взбираться на громадную, вышиной от шестисот до восьмисот метров отвесную стену, в которой надо было вырубать ступеньку за ступенькой, а это занятие отнимало много времени. Под лучами яркого солнца все вокруг сверкало нестерпимою для глаз белизною, а между тем очки тарасконца остались на дне

пропасти и от солнца и яркого света силы начали ему изменять. Вскоре Тартарен почувствовал страшную слабость — это был приступ горной болезни, а последствия и морской и горной болезни совершенно одинаковы. Спина у него отнялась, голова кружилась, ноги подкашивались и заплетались, так что проводники вынуждены были подхватить его под руки, как накануне, и, все время поддерживая, в конце концов они втащили его на самый верх ледяной стены. До вершины Юнгфрау оставалось теперь каких-нибудь сто метров, но хотя снег стал твердым, упругим и идти было легче, все же этот последний переход занял массу времени, оттого что П.К.А. чувствовал себя все хуже и изнемогал от усталости.

Внезапно проводники отпустили его и, махая шляпами, начали восторженно «йоделировать». Поднялись! Эта точка в девственной пустыне, этот белый, слегка округленный гребень — вот она, их цель, а для доброго Тартарена это конец сомнамбулического столбняка, в котором он пребывал уже целый час.

— Шейдек! Шейдек! — кричали проводники, показывая вниз, где на зеленеющем плоскогорье, далеко-далеко, выступал из тумана отель «Прелестный вид», казавшийся отсюда не более

игральной кости.

На пространстве, отделявшем их от отеля, развертывалась дивная панорама: ряд поднимавшихся уступами снеговых полей, золотых, оранжевых под лучами солнца или же налитых густою холодною синевою, нагромождение льдов самого причудливого строения — в виде башен, стрел, игол, ребер, гигантских горбов, как будто там, внизу, покоился давно исчезнувший с лица земли мастодонт или же мегатерий. Лучи всех цветов радуги играли, сходились на поверхности обширных ледников, низвергавших свои недвижные водопады, куда сливались мелкие застывшие потоки, верхний слой которых, гладкий, ослепительно сверкавший, мало-помалу таял на солнце. Но на большой высоте яркий блеск смягчался, здесь мерцал тусклый и холодный свет, и от этого света, от тишины и безлюдья необозримой белой пустыни с ее таинственными складками Тартарена бросило в дрожь.

Над отелем взвился дымок, донеслись глухие выстрелы. Оттуда увидели наших альпинистов и в их честь стали палить из пушки. Мысль, что на него смотрят, что все эти мисс, знатные рисолюбы и черносливцы навели на него бинокли, напомнила Тартарену о его великой миссии. О

знамя Тараскона! Тартарен выхватил тебя из рук проводника и несколько раз помахал тобою! Затем он, не выпуская из рук знамени, воткнул в снег свой ледоруб и с величественным видом сел на него лицом к публике. Он находился между солнцем и поднимавшимся сзади туманом, и тут, вследствие преломления световых лучей (явление частое на вершинах гор), на небе вырисовался исполинский Тартарен, коренастый, широкоплечий, с бородой, выбившейся из-под шлема, похожий на одного из легендарных скандинавских богов, сидящих на облаках.

XI

Назад, в Тараскон! Женевское озеро. Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара. Краткий разговор среди роз. Вся компания под замком. Злосчастный Бонивар. Где нашлась авиньонская веревка

После восхождения у Тартарена опух и облупился нос, кожа на щеках потрескалась. Пять дней он просидел безвыходно в своем номере в отеле «Прелестный вид». Пять дней подряд он ставил себе компрессы и разгонял липкую, пресную тоску этих дней игрою в крестики с депутатами или же диктовал им пространный, подробный, обстоятельный отчет о своем путешествии для прочтения на заседании Клуба альпинцев и для напечатания в «Форуме». Когда же общее состояние разбитости прошло и на благородном лице П.К.А., все еще сохранявшем цвет этрусской вазы, осталось лишь несколько волдырей, струпьев и царапин, депутация во главе с президентом отправилась обратно в Тараскон через Женеву.

Мы не станем описывать их дорожные при-

ключения, то смятение, какое вызывала компания южан в тесных вагонах, на пароходах и за табльдотами своим пением, криками, слишком бурною любвеобильностью, своим знаменем и альпенштоками, — дело в том, что со времени восхождения П.К.А. на Юнгфрау все депутаты вооружились палками, а на палках были кругами выжжены подобранные в рифму названия высот, на которые всходили знаменитые альпинисты.

Монтре!

Здесь депутаты, по предложению своего предводителя, решили на день, на два остановиться и осмотреть хваленые берега Лемана, а главное — Шильонский замок с его легендарной темницей, в которой некогда томился великий патриот Бонивар и которую прославили Байрон и Делакруа[87].

По правде сказать, Тартарена не очень интересовал Бонивар — приключение с Вильгельмом Теллем пролило ему свет на швейцарские легенды, — но в Интерлакене он узнал, что Соня уехала

---

[87] Примечания: 87

Бонивар Франсуа (1493-1570) принимал участие в борьбе Женевы против герцога Савойского, Карла III, и за это был заточен им на семь лет (1530-1536 гг.) в замке Шильон. Байрон сделал этот эпизод сюжетом поэмы «Шильонский узник» (1816); Делакруа изобразил на одноименной картине (1835 г.) тот момент, когда прикованный Бонивар видит, как в той же темнице умирает его младший брат.

в Монтре вместе с братом, которому стало хуже, и это задуманное им паломничество в исторические места было для него только предлогом, чтобы повидаться с девушкой и, кто знает, может быть, уговорить ее уехать с ним в Тараскон.

Спутники его, разумеется, были самым искренним образом убеждены, что они едут почтить память великого женевского гражданина, историю которого им рассказал П.К.А. Более того, пристрастие к театральным жестам внушило им мысль — высадившись в Монтре, развернуть знамя и торжественной процессией под нескончаемые крики: «Да здравствует Бонивар!» — идти в Шильон. Президент постарался умерить их пыл.

— Сначала позавтракаем, а там видно будет… — заметил он.

И они сели в омнибус, принадлежавший пансиону Мюллера и в ряду с другими омнибусами стоявший у плавучей пристани.

— Гляньте-ка: полицейский! Что это он на нас так смотрит? — сказал Паскалон, влезая в омнибус последним из-за знамени, доставлявшего в дороге столько мучений бедному аптекарскому ученику.

Встревожился и Бравида:

— Да, правда... Чего ему от нас нужно? Что он на нас так уставился?..

— Он меня узнал, вот и все, — скромно заметил Тартарен и издали улыбнулся ваадскому полицейскому[88] в длинном синем плаще, долго смотревшему вслед омнибусу, который катился меж прибрежных тополей.

В Монтре был базарный день. Вдоль озера тянулись ряды со всех сторон открытых лавчонок, торговавших фруктами, зеленью, дешевыми кружевами, цепочками, бляшками, застежками — всеми этими блестящими, точно вылепленными из снега или выточенными изо льда безделушками, которые навешивают на себя швейцарки. И тут же, рядом, — сутолока маленькой гавани: беспрестанно сновали взад и вперед ярко окрашенные прогулочные лодки, с больших парусных бригантин выгружали мешки и бочки, слышались звонки и сиплые гудки пакетботов, на набережной возле кафе и пивных, возле лавок цветочниц и старьевщиков толкался народ. Все бы это залить солнечным светом — и можно было бы подумать, что это какая-нибудь средиземноморская гавань, между Ментоной и Бордигерой.

---

[88] Примечания: 88
Ваад (Во) — один из кантонов Швейцарии.

Но солнца не было, и наши путешественники рассматривали эту красивую местность сквозь облако тумана, который поднимался от голубого озера по ступенькам лестниц, карабкался вверх по мощеным улицам, а на вершине горы, над несколькими ярусами домов, сливался с черными тучами, что клубились среди темной зелени и готовы были вот-вот пролиться дождем.

— А, черт! Не люблю я озер!.. — ворчал Спиридион Экскурбаньес, протирая окно, чтобы посмотреть на дальние ледники и на полотнища белого пара, застилавшего горизонт впереди.

— И я не люблю, — вздохнул Паскалон. — Мгла, стоячая вода… просто хоть плачь.

Бравида тоже выразил неудовольствие: он боялся схватить воспаление седалищного нерва.

Тартарен резко их оборвал. Неужели им не хочется рассказать дома, что они видели темницу Бонивара и начертали свои имена на исторических стенах рядом с именами Руссо, Байрона, Виктора Гюго, Жорж Санд, Эжена Сю? Но, не закончив своей тирады, президент внезапно смолк и изменился в лице… Перед ним мелькнула знакомая шапочка, из-под которой выбивались белокурые локоны… Даже не остановив омнибуса, замедлившего ход на подъеме, он крикнул

изумленным альпинцам: «Увидимся в отеле!..» — и спрыгнул на мостовую.

— Соня!.. Соня!..

Он боялся, что не догонит ее, — так она спешила, такой быстрой тенью скользил по стенам домов стройный ее силуэт.

Соня обернулась, остановилась.

— А, это вы!.. — сказала она и, поздоровавшись, пошла вперед.

Тартарен, отдуваясь, пошел с ней рядом и начал извиняться за свое вынужденное исчезновение: приехали друзья, надо было во что бы то ни стало совершить восхождение… Следы этого путешествия у него еще до сих пор на лице… Она слушала молча, не оборачиваясь к нему, все торопливая шаг и глядя прямо перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом. Рассматривая ее в профиль, Тартарен нашел, что она побледнела, черты уже утратили детскую наивность и мягкость, — напротив, в них проступило то жесткое, решительное, что раньше давало себя знать только в голосе: ее непреклонная воля; от прежней Сони остались лишь девичья стройность и золотистые локоны.

— А как поживает Борис? — слегка смущенный ее молчаливостью и веявшим от нее холодом,

спросил Тартарен.

— Борис?.. — Она вздрогнула. — Ах да, правда, вы ведь ничего не знаете… Ну так идемте, идемте!..

По обеим сторонам загородной улицы, куда они наконец вышли, тянулись виноградники, спускавшиеся к озеру, и виллы с прелестными, усыпанными песком палисадниками, с террасами, увитыми плющом и тонувшими в цвету роз, петуний и мирт, росших в горшках и кадках. Навстречу усталой походкой больных людей шли иностранцы с осунувшимися лицами и сумрачным взглядом — такие фигуры часто попадаются в Ментоне и в Монако, только там все скрашивает и скрадывает солнечный свет, а здесь, под низким пасмурным небом, цветы казались свежее, а страдание выступало рельефнее.

— Сюда, — сказала Соня, отворяя чугунную решетчатую дверцу под белым каменным фронтоном, на котором было что-то написано по-русски золотыми буквами.

Тартарен не сразу сообразил, что это такое… Небольшой садик с подстриженными аллеями, с убитыми щебнем дорожками, полный вьющихся роз, переброшенных от одного зеленого дерева к другому, желтых и белых роз, наполнявших узкое

пространство своим благоуханием и сочетанием красок. Под этими гирляндами, среди этого могучего цветения — несколько стоячих и лежачих плит с именами и датами; на одной из таких каменных плит, совсем новенькой, было высечено:

БОРИС ВАСИЛЬЕВ, 22-х лет

Он умер несколько дней тому назад, почти тотчас же по приезде в Монтре. Кладбище для иностранцев, где под сенью цветов покоятся русские, поляки, шведы, те слабогрудые из холодных стран, которых посылают в эту северную Ниццу, потому что южное солнце для них слишком горячо и переход слишком резок, явилось для Бориса как бы уголком его родины.

Соня и Тартарен некоторое время стояли молча и неподвижно перед этой новой плитой, которая выделялась своею белизною на черноте свежеразворошенной земли. Девушка, опустив голову, вдыхала запах густо разросшихся роз и старалась удержать слезы в покрасневших глазах.

— Бедняжка!.. — с участием сказал Тартарен и, взяв в свои сильные, грубые руки кончики ее пальцев, спросил: — Что же вы теперь будете делать?

Она посмотрела на него в упор сухими, блестя-

щими глазами, в которых не дрожала больше ни одна слезинка:

— Через час я уезжаю.

— Уезжаете?

— Болибин уже в Петербурге… Манилов ждет меня у границы… Я опять бросаюсь в самое пекло. Вы еще о нас услышите.

Затем она, чуть заметно улыбаясь и не сводя своих синих глаз с внезапно забегавших, прятавшихся от нее глаз Тартарена, добавила:

— Кто меня любит, тот последует за мной!

Легко сказать — последовать! Сонина возбужденность привела Тартарена в ужас. Кладбищенская обстановка охлаждала его любовный пыл. В то же время ни в коем случае нельзя было показывать, что он смалодушничал. И, жестом Абенсерага[89] приложив руку к сердцу, герой наш заговорил:

— Вы знаете меня, Соня…

Она не дала ему договорить.

— Болтун! — пожав плечами, сказала она.

Гордо подняв голову, она пошла меж розовых кустов к выходу и ни разу не оглянулась… «Болтун!»… Больше она не сказала ни слова, но в тоне

---

[89] Примечания: 89

Абенсераг — герой повести Шатобриана «Похождения последнего из Абенсерагов» (1827).

ее слышалось такое презрение, что добрый Тартарен покраснел до корней волос и посмотрел, нет ли кого поблизости, не слышал ли кто-нибудь их разговор.

К счастью для нашего тарасконца, переживания не оставляли в нем глубокого следа. Через пять минут он уже весело шагал по гористым улицам Монтре, разыскивая пансион Мюллера, где альпинцы должны были ждать его к завтраку, и всем своим обликом выражал глубокое облегчение, радость от сознания, что с этой «опасной связью» покончено. ДорОгой он энергично встряхивал головой в подкрепление тех убедительных доводов, которые не захотела слушать Соня и которые он мысленно приводил сейчас себе самому: ну да, конечно, деспотизм… С этим он согласен… Но перейти от слов к делу — а, ну их!.. Да и потом, что это за занятие — убивать деспотов? Что, если все угнетенные народы воззовут к нему, как арабы к Бомбонелю, когда вокруг их селения бродила пантера? Не разорваться же ему на части, в самом деле!

Этот его разговор с самим собой внезапно прервала наемная карета, промчавшаяся мимо него во весь опор. Тартарен едва успел отскочить на тротуар.

— Ты что, не видишь, скотина?

Но его грозный окрик тотчас же сменился возгласом изумления:

— Кто это?.. Господи Иисусе!.. Не может быть!..

Бьюсь об заклад, что вы не догадаетесь, кого он увидел в старой карете!.. Депутацию, депутацию в полном составе: Бравида, Паскалона, Экскурбаньеса, — прижавшись друг к другу вплотную, они сидели на задней скамейке, бледные, растерянные, должно быть, потерпевшие поражение в бою, а напротив них Тартарен разглядел двух полицейских с ружьями. Все эти неподвижные, безмолвные профили, показавшиеся в узкой рамке окошка, промелькнули, словно в кошмарном сне. Подобно тому как недавно Тартарена пригвоздили ко льду «кошки» системы Кеннеди, так и сейчас он прирос к земле, глядя вслед бешено мчавшейся фантастической колымаге, за которой погналась выпорхнувшая из школы стайка мальчишек с сумками за спиной, и вдруг кто-то крикнул над самым ухом Тартарена:

— А вот и четвертый!..

В ту же минуту его схватили, скрутили, связали и втолкнули в наемный экипаж к полицейским, один из которых оказался офицером, вооруженным громадным палашом, и палаш этот он зажал

между колен, так что эфес касался верха кареты.

Тартарен начал было говорить, объяснять: тут явное недоразумение… Он сказал, кто он, откуда, сослался на французского консула, торговавшего швейцарским медом. С этим самым консулом по фамилии Ихенер он встречался на бокерских ярмарках. Но, видя, что стража упорно молчит, он решил, что это какой-нибудь новый эффект из Бомпаровой феерии, и, с лукавым видом обратившись к офицеру, сказал:

— Ну, ну, это вы нарочно! *Чтэ?..* Ох, выдумщик!.. Да я же знаю, что вы это нарочно!

— Молчать! А не то я вам живо рот заткну!.. — страшно вращая глазами, как будто он вот сейчас проткнет Тартарена палашом, гаркнул офицер.

Тартарен так и осел. Он уже больше не шевельнулся и все смотрел в окно на полоски озерной воды, на высокие горы, покрытые влажною зеленью, на отели с затейливыми крышами, с золочеными вывесками, видными издалека, на мельканье корзин и плетушек, точно перед ним были склоны Риги, и, опять-таки словно на Риги, глазам его открылась забавная железная дорога, а по ней взбиралась по отвесной стене к Глиону опасная заводная игрушка, и, в довершение сходства с Regina montium, ливмя лил дождь, облака

и волны касались друг друга, шел непрерывный обмен влагой между дождливым небом и туманным Леманом, между туманным Леманом и дождливым небом.

Карета прогромыхала по подъемному мосту, где в мелочных лавчонках торговали замшевыми изделиями, перочинными ножами, крючками для ботинок, гребенками, и, проехав под низким сводом башенных ворот, остановилась во дворе старинного замка; двор этот зарос травою, в каждом его углу высилась круглая башня с караулкой, — караулки держались на деревянных подпорках и были окружены черной железной решеткой. Куда их привезли? Тартарен понял это из разговора доставившего их офицера с тюремным надзирателем, толстяком в феске, позвякивавшим связкой заржавленных ключей:

— В секретную, в секретную!.. Но у меня нет больше мест, все занято… Остается только посадить его в темницу Бонивара.

— Ну так посадите его в темницу Бонивара, — приказал офицер. — Поделом вору и мука…

И приказ его был исполнен.

Шильонский замок, о котором П.К.А. два дня подряд толковал любезным его сердцу альпинцам и в который по иронии судьбы вдруг, ни с

того ни с сего, упрятали его самого, представляет собой один из наиболее посещаемых памятников старины во всей Швейцарии. Давным-давно здесь была летняя резиденция графов Савойских, потом — тюрьма для государственных преступников, потом — склад оружия и боевых припасов, а теперь это всего лишь предлог для экскурсии, так же как «Риги-Кульм» или Телльсплатте. Тем не менее здесь оставались полицейский пост и «каталажка» для пьяниц и для драчунов. Но и те и другие столь редки в мирном Ваадском кантоне, что каталажка вечно пустует и надзиратель складывает там на зиму дрова. Вот почему прибытие партии заключенных привело надзирателя в прескверное расположение духа; особенно он был недоволен тем, что теперь нельзя будет показывать посетителям знаменитую темницу, а в это время года туристы представляли для крепости самую значительную статью дохода.

Разгневанный тюремщик повел Тартарена, тот, не оказывая ни малейшего сопротивления, следовал за ним. Несколько шатких ступеней, сырой, пахнущий погребом коридор, на огромных петлях дверь толщиной в целую стену — и перед ними открылось обширное подземелье с земляным полом и сводчатым потолком, кото-

рый поддерживали тяжелые романские колонны с некогда вделанными в них и до сих пор сохранившимися железными кольцами, — к этим-то кольцам и приковывали государственных преступников. В узкие бойницы, откуда виден был лишь клочок неба, вместе со слабым светом вливались шорох и плеск озерных струй.

— Вот вы и дома, — сказал тюремщик. — Только далеко не заходите, там каменные мешки.

Тартарен в ужасе попятился:

— Каменные мешки? Господи Иисусе!..

— Ничего, братец мой, не поделаешь!.. Мне сказали посадить вас в темницу Бонивара, я вас в темницу Бонивара и сажаю... А теперь, ежели вы человек со средствами, вам можно будет предоставить некоторые удобства, например, матрац и одеяло на ночь.

— Прежде всего поесть! — взмолился Тартарен, у которого, на его счастье, не отобрали кошелька.

Надзиратель принес свежего хлеба, пива, колбасы, и новоявленный шильонский узник, со вчерашнего дня ничего не евший, изнемогавший от усталости и треволнений, с жадностью накинулся на еду. Пока он ел, сидя на каменной скамье, тюремщик при свете, проникавшем в

отдушину, дружелюбно его рассматривал.

— Не могу понять, что вы натворили, за что к вам применяют такие строгости, — сказал он.

— Черт побери, я тоже не могу понять, ничего не могу понять! — с полным ртом проговорил Тартарен.

— Одно можно сказать с уверенностью, что вы, видать, человек неплохой и, конечно, не захотите лишить бедного отца семейства его доходов, ведь правда?.. Ну так вот... Там, наверху, ждет целая компания: приехали посмотреть темницу Бонивара... Будьте так любезны, обещайте мне сидеть смирно и не пытайтесь бежать...

Добрый Тартарен поклялся, и через пять минут темницу заполонили его старые знакомые по «Риги-Кульм» и Телльсплатте: круглый дурак Шванталер, инептиссимус Астье-Рею, член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!..) — словом, все те, кто путешествовал по круговому маршруту Кука. Боясь, как бы его не узнали, несчастный Тартарен от стыда прятался за колонны, крался и отступал все дальше и дальше, по мере того как к нему приближалась группа туристов во главе с надзирателем, жалобным голосом произносившим затверженные фразы:

— Здесь злосчастный Бонивар...

Туристы двигались медленно: их задерживал спор вечно враждовавших ученых, готовых каждую минуту начать рукопашную схватку, размахивавших один — складным стулом, другой — саквояжем, и благодаря неверному свету, просачивавшемуся в отдушины, их тени причудливо растягивались на сводах.

Отступая, Тартарен подошел прямо к каменному мешку; это был темный, ничем не огороженный колодец, и от него веяло гнилостным, ледяным дыханием минувших столетий. Тартарен в испуге отпрянул, забился в угол, надвинул фуражку на глаза, но тут на него подействовал запах сырости, исходивший от стен, и он выдал свое присутствие оглушительным чохом, заставившим туристов попятиться.

— Да это Бонивар!.. — воскликнула бойкая молодая парижанка в шляпке фасона времен Директории, та самая, которую член Джокей-клоба выдавал за свою племянницу.

Тарасконец, однако, нашелся.

— Какие они уютные, эти каменные мешки, а?.. — сказал он самым естественным тоном, как будто он тоже из любознательности пришел осмотреть темницу и присоединился к другим путешественникам, а те заулыбались, сразу узнав

альпиниста из «Риги-Кульм», устроителя всем памятного бала.

— Э, мосье!.. Плясирен, танцирен!..

Перед ним предстала нелепая фигура маленькой феи Шванталер, готовой хоть сейчас протанцевать с ним кадриль. А ему как раз было до танцев! Не зная, как отвязаться от этой крохотульки, он предложил ей руку и весьма любезно показал свою темницу, кольцо, к которому узник приковывался цепью, и впадины, вытоптанные его ногами на каменных плитах вокруг одной и той же колонны. Он держал себя в высшей степени непринужденно, и милой даме в голову не могло прийти, что водит ее тоже государственный преступник, жертва людской несправедливости и жестокости. Ужасен был зато момент расставания, когда злосчастный Бонивар проводил плясунью до двери и с улыбкой светского человека попрощался с ней:

— Нет, извините… Я, видите ли, еще тут побуду…

Тут он раскланялся, а следивший за ним тюремщик, ко всеобщему изумлению, захлопнул за ним дверь и задвинул засов.

Какой позор! Беднягу даже в пот ударило, когда до него донеслись восклицания удалявшихся

туристов. К счастью, в течение дня эта пытка больше не повторялась. По случаю дурной погоды посетителей не было. В темнице ветер так и гулял, — а Тартарену чудилось, будто это стонут заживо погребенные в каменных мешках, — шумело озеро, все изрешеченное дождевыми каплями, волны бились о стены, доплескиваясь до самых отдушин, и на узника летели оттуда брызги. Порой доносились звон пароходного колокола и шлепанье колес по воде. Спускался хмурый, ненастный вечер, в сумерках темница как будто бы стала больше — все это навевало на Тартарена особенно мрачные думы.

Чем объяснить арест, заключение в этой жуткой тюрьме?.. Быть может, Костекальд?.. Последний предвыборный маневр?.. А может быть, русской полиции стали известны неосторожно сказанные им слова, его знакомство с Соней, и полиция потребовала выдачи?.. Но тогда зачем же арестовывать депутатов?.. В чем можно обвинить этих незадачливых туристов? Легко себе представить их ужас и отчаяние, хотя, впрочем, они все-таки не под этими каменными сводами, не в темнице Бонивара, где с наступлением темноты забегали огромные крысы, тараканы, бесшумные пауки с безобразными мягкими лапами.

Но вот что значит чистая совесть! Несмотря на крыс, на холод, на пауков, великий Тартарен в страшной тюрьме для государственных преступников, населенной тенями замученных, заснул таким же крепким сном, открыв рот и сжав кулаки, и так же громко захрапел, как и тогда, между небом и пропастями, в домике Клуба альпинистов. И ему казалось, что он все еще спит, когда поутру его разбудил тюремщик.

— Вставайте, префект приехал!.. Сейчас будет вас допрашивать... Ежели сам префект соизволил себя побеспокоить, стало быть, вы злодей отъявленный, — добавил он с ноткой почтительности в голосе.

Какой там злодей! Но переночевать в сырой и грязной тюрьме и не иметь возможности хотя бы слегка привести себя в порядок — да тут и впрямь сойдешь за злодея! И в бывшей конюшне замка, переделанной под казарму, где к оштукатуренным стенам прислонены составленные в козлы ружья, Тартарену, бросившему ободряющий взгляд на альпинцев, рассаженных между полицейскими, становится стыдно за свой неопрятный вид перед префектом с холеной бородкой, в безукоризненно сидящем на нем черном костюме, а префект сразу же учиняет ему

строжайший допрос:

— Вы — Манилов? Так?.. Русский подданный… В Петербурге вы устроили взрыв… потом бежали в Швейцарию и здесь совершили убийство.

— Ничего подобного… Это ошибка, недоразумение…

— Молчать, а не то я вам живо рот заткну!.. — обрывает его офицер.

— Отпираться бесполезно… — продолжает безукоризненно одетый префект. — Вам знакома эта веревка?

А, черт, это же его веревка! Веревка из проволоки, которую для него сплели в Авиньоне! К вящему изумлению депутатов, он опускает глаза и говорит:

— Да, знакома.

— На этой веревке был повешен человек в Унтервальдском кантоне…

Тартарен, содрогаясь, клянется, что он ни сном, ни духом…

— Сейчас разберемся!

И тут вводят итальянского тенора. Нигилисты повесили этого тайного агента полиции на дубовом суку, на Брюннигском перевале, но его каким-то чудом спасли дровосеки.

Сыщик смотрит на Тартарена:

— Нет, это не он!

Потом на депутатов:

— И это не те… Произошла ошибка.

Префект в бешенстве обращается к Тартарену:

— Так зачем же вы здесь?

— А это уж у вас надо спросить!.. — с апломбом невинности заявляет президент.

После краткого объяснения тарасконских альпинистов освобождают, и они удаляются из Шильонского замка, подавляющую романтическую унылость которого они теперь чувствуют, как никто. Они заезжают в пансион Мюллера, захватывают свои вещи, знамя, платят за вчерашний завтрак, который им так и не дали съесть, затем несутся на вокзал и уезжают в Женеву. Идет дождь. В слезящихся окнах мелькают названия аристократических дачных мест — Кларан, Веве, Лозанна: красные домики, садики, где капает с ветвей редкостных растений, окутанных влажной пеленой, островерхие крыши, террасы отелей.

Альпинисты расположились в углу длинного швейцарского вагона на двух скамейках, друг против друга, вид у них у всех расстроенный и пришибленный. Бравида с кислой миной жалуется на боли и то и дело обращается к Тартарену

с убийственной иронией в голосе:

— *Ннэ,* вот мы и осмотрели темницу Бонивара… Ведь вам так хотелось ее осмотреть… Надеюсь, вы на нее теперь насмотрелись. *Чтэ?..*

Экскурбаньес, впервые в жизни притихший, уныло смотрит на озеро, которое неотступно преследует тарасконцев в окне вагона.

— Бог ты мой, сколько воды!.. Теперь уж я ни за что не буду больше купаться…

Паскалон запуган; держа знамя между колен и прячась за него, он озирается, как затравленный заяц… А Тартарен?.. О, Тартарен по-прежнему величествен и невозмутим, наслаждается чтением газет, пришедших с юга Франции, целой пачки газет, доставленных в пансион Мюллера, — все они перепечатали из «Форума» рассказ о том, как он поднимался на Юнгфрау, рассказ, им самим продиктованный, но значительно расширенный и приукрашенный безудержными восхвалениями. Внезапно из груди героя вырывается крик, неистовый крик, и докатывается до противоположного конца вагона. Пассажиры вскакивают. Что это, крушение? Нет, просто-напросто заметка в «Форуме». Тартарен читает ее альпинцам:

— Послушайте: «Говорят, что В.П.К.А. Костекальд, только что поправившийся после желтухи,

которой он болел несколько дней, едет в Швейцарию с целью совершить восхождение на Монблан и подняться еще выше, чем Тартарен…» Ах, разбойник! Он хочет затмить мой подъем на Юнгфрау… Ну, погоди, я у тебя из-под ног выбью твою гору… Шамони в нескольких часах езды от Женевы, — я поднимусь на Монблан раньше, чем он! Вы поедете со мной, друзья?

Бравида противится. А, чтоб!.. Довольно с него приключений.

— Больше чем достаточно… — сипит спавший с голоса Экскурбаньес.

— А ты, Паскалон? — ласково обращается к нему Тартарен.

— Учи-и-итель!.. — не смея поднять на него глаза, блеет ученик.

И этот оставляет его!

— Хорошо! — торжественно и грозно изрекает герой. — Я поеду один, и вся слава достанется мне… А ну, давайте сюда знамя!

XII

Отель Бальте в Шамони. Пахнет чесноком! Нужна ли при восхождении на Альпы веревка? Shake handes![90] Последователь Шопенгауэра. На привале в Гран-Мюле. «Тартарррен! Мне нужно с вами поговорить...»

Колокольня Шамони девять раз прозвонила в вечернем сумраке, дрожавшем от холодного дождя и ветра. На улице было темно, во всех домах погасли огни, освещены были только отели: их подъезды и окна, выходившие во двор, — это бодрствовал газ, а вокруг, при тусклом отблеске, падавшем со снеговых вершин, и матовом мерцании луны на ночном небе, становилось еще темнее.

В отеле Бальте, одном из лучших и наиболее посещаемых отелей в этом альпийском селении, многочисленные путешественники и пансионеры, измученные дневными экскурсиями, один за другим расходились по своим номерам, и под

---

[90] Примечания: 90
рукопожатие *(англ.)*

конец в большом зале остались только английский священник, молча игравший в шашки со своей супругой, его бесчисленные дочки в нагрудниках и в фартуках из небеленого холста, усердно строчившие пригласительные записки на ближайшее евангелическое богослужение, и молодой швед, худой и бледный, который сидел у жарко горевшего камина и, попивая грог из киршвассера и сельтерской воды, мрачно смотрел на пламя. Время от времени запоздалый турист в мокрых гетрах и плаще, с которого струились потоки, появлялся в зале, останавливался у большого барометра, висевшего на стене, стучал по нему пальцем, смотрел, какую погоду на завтра обещает ртуть, и, удрученный, шел спать. Никто не произносил ни слова, не было заметно никаких других признаков жизни, кроме потрескивания дров в камине, шуршанья дождя по стеклам окон да сердитого рокота Арва под деревянным мостом в нескольких шагах от отеля.

Вдруг дверь отворилась, и в залу ввалился с чемоданами и плащами швейцар в расшитой серебром ливрее, а за ним четыре продрогших альпиниста, ошеломленных внезапным переходом от мрака и холода к теплу и свету.

— Господи, твоя воля! Вот так погодка!..

— А ну, дайте-ка нам поесть!

— Нагрейте-ка нам постели!

Сливавшиеся голоса тарасконцев шли откуда-то из глубины их кашне, меховых шапок, фуражек с наушниками, и прислуга не знала, кого слушать, пока наконец приземистый толстяк, которого они называли «прррезидэнтом», их всех не перекричал.

— Прежде всего книгу для приезжающих! — приказал он.

Перелистывая ее закоченелой рукой, он вслух называл имена путешественников, за истекшую неделю побывавших в отеле:

— «Доктор Шванталер с супругой…» Опять! «Член Французской академии Астье-Рею…»

Просматривая книгу, он бледнел всякий раз, как ему попадалась фамилия, похожая на ту, которую он искал. Наконец, прочитав еще несколько страниц, этот низкорослый человечек с торжествующим хохотом швырнул книгу на стол и подпрыгнул, как мальчишка, чего уж никак нельзя было от него ожидать при его комплекции.

— Его тут нет, понимаете? Он еще не приехал… А больше он нигде не мог остановиться. Подставили мы ножку Костекальду… «Костекальд, Костекальд, провались в тартарары!..» А теперь,

друзья мои, давайте поедим супу!..

И, поклонившись дамам, добрый Тартарен вместе с шумной и голодной депутацией направился в столовую.

Да, да, вместе со всей депутацией, даже с Бравида… Послушайте, да разве могло быть иначе?.. Что бы сказали на родине, если б они вернулись без Тартарена? Каждый из них отлично это себе представлял. И весь буфет на женевском вокзале оказался свидетелем волнующей сцены при расставании: слез, объятий, душераздирающих прощаний со знаменем; следствием же этих прощаний было то, что в ландо, которое П.К.А. нанял до Шамони, набилась вся компания. Дорога здесь чудесная, но тарасконцы сидели с закрытыми глазами, завернувшись в плащи, наполняя экипаж звучным храпом и не обращая внимания на дивные виды, открывшиеся сквозь сетку дождя прямо от самого Саланша, — виды на пропасти, леса, пенистые водопады и то показывавшуюся, то исчезавшую заоблачную вершину Монблана. Пресыщенные подобного рода красотами, наши тарасконцы думали только о том, как бы отоспаться после бессонной ночи под шильонскими замками. Даже и теперь, расположившись на одном конце длинной пустой столовой отеля

Бальте, они молча, жадно ели разогретый суп и остатки других обеденных блюд и думали о том, как бы поскорей добраться до постели. Вдруг Спиридион Экскурбаньес, завороженно двигавший челюстями, оторвался от своей тарелки и, понюхав воздух, воскликнул:

— Ух ты!.. Пахнет чесноком!..

— А ведь верно, приятный запах… — подтвердил Бравида.

И тут все тарасконцы, ободренные этим напоминанием об отчизне, этим запахом местных тарасконских блюд, которого Тартарен уже давно не вдыхал, в приливе чревоугодия заерзали на стульях. Запах шел из маленькой смежной комнаты, где ужинал в одиночестве какой-то путешественник — по-видимому, важная особа, потому что колпак шеф-повара ежеминутно показывался в окне кухни, прислуживавшей девушке передавались маленькие накрытые блюда, и она уносила их в отдельный кабинет.

— Наверно, какой-нибудь южанин, — прошептал тихий Паскалон.

А президент, помертвев при мысли о Костекальде, распорядился:

— Пойдите посмотрите, Спиридион… а потом скажите нам…

Громовой хохот раздался в отдельном кабинете, едва лишь переступил его порог славный тарасконский «Гонг», исполнявший приказ своего начальника, и вслед за тем Экскурбаньес вывел оттуда за руку носатого верзилу с плутоватыми глазами, с повязанной вокруг шеи салфеткой, как у заядлого гастронома.

— Э, Бомпар!..

— Эге, Выдумщик!

— Эге-ге, Гонзаг, здравствуйте!.. Ну как дела?

— Я, господа, стало быть, к вашим услугам… — говорил посыльный, пожимая всем руки и усаживаясь за один стол с тарасконцами, чтобы поесть белых грибов с чесноком приготовления г-жи Бальте, ненавидевшей, как и ее муж, общий стол.

То ли здесь имело значение тарасконское кушанье, то ли радостная встреча с земляком, с очаровательным Бомпаром, отличавшимся несокрушимой силой воображения, но только усталость и сонливость с тарасконцев мгновенно стряхнуло, на столе появилось шампанское, и, с пеной на усах, они еще долго потом смеялись, орали, размахивали руками, обнимались, объяснялись друг другу в любви.

— Теперь уж я вас не покину, нет! — говорил

Бомпар. — Мои перуанцы уехали… Я свободен…

— Свободны?.. В таком случае пойдемте завтра со мной на Монблан?

— Как? Вы завтра идете на Монблан? — спросил Бомпар без восторга.

— Да, я хочу стащить его у Костекальда… Он явится — глядь, а Монблана-то и нет!.. Так вы пойдете со мной, Гонзаг? Чтэ?

— Пойду… Пойду… Вот только как погода… В эту пору подъем не всегда возможен.

— Ну да, не всегда возможен!.. — проговорил Тартарен, подмигнув и улыбнувшись многозначительной улыбкой, которую Бомпар, однако, не понял.

— Пойдемте пить кофе в залу… Посоветуемся со стариком Бальте. Он это должен знать, ведь он сам когда-то был проводником, двадцать семь раз совершал восхождение.

— Двадцать семь раз! Ух ты! — в один голос воскликнули депутаты.

— Бомпар всегда преувеличивает… — сказал П.К.А. недовольным тоном, в котором можно было уловить оттенок зависти.

В зале дочки священника по-прежнему были поглощены писанием пригласительных записок, папенька с маменькой клевали носами над шаш-

ками, а долговязый швед с таким же унылым видом помешивал ложечкой свой грог с сельтерской водой. Нетрудно, однако, догадаться, что нашествие тарасконских альпинистов, воспламененных шампанским, несколько оживило юных письмоводительниц. Никогда еще эти прелестные девушки не видели, чтобы люди, пьющие кофе, так быстро меняли выражение лица, чтобы они так дико вращали глазами.

— А сахару, Тартарен?

— Что вы, командир?.. Вы же знаете… после Африки…

— Ах да, виноват!.. Э! Вот и господин Бальте!

— А ну, присаживайтесь, господин Бальте!

— Да здравствует господин Бальте!.. Хо-хо!.. *Двайте шумэть*!

Старик Бальте, которого окружили и сдавили незнакомые люди, спокойно улыбался. На широком бритом лице у этого крепкого савояра, рослого, сутулого, плечистого, ходившего медленным шагом, весело и молодо глядели хитрые глазки, что не шло к его лысине, облысел же он после того, как однажды едва не замерз на рассвете в снегах.

— Вам, господа, угодно взойти на Монблан? — спросил он, обводя тарасконцев почтительным и

вместе с тем насмешливым взглядом.

Тартарен хотел было ответить, но Бомпар прервал его:

— Время упущено, верно?

— Нет, почему же?.. — возразил бывший проводник. — Вот этот господин из Швеции отправляется завтра, а к концу недели я жду двух американцев, которые тоже хотят подняться. Один из них даже слепой.

— Я знаю. Я встретился с ним на Гугги.

— А вы были на Гугги?

— Неделю тому назад, когда взбирался на Юнгфрау…

Тут евангелические проповедницы вздрогнули, перестали водить перьями по бумаге и повернули головы в сторону Тартарена, который теперь в глазах этих англичанок, завзятых альпинисток, занимавшихся всеми видами спорта, приобретал особый интерес. Он поднимался на Юнгфрау!..

— Знатный поход! — сказал старик Бальте, с удивлением глядя на П.К.А.

А Паскалон, особенно сильно конфузившийся в присутствии дам, пробормотал, краснея и запинаясь:

— Учи-и-итель! Расскажите про эту… как ее… расселину…

Президент улыбнулся:

— Дитя!..

И все же он повел рассказ о своем падении — сперва с небрежным и равнодушным видом, а затем с бурными телодвижениями: задрыгал ногами, изображая, как он повис на конце веревки над пропастью, замахал будто бы связанными руками, призывая на помощь. Девицы вздрагивали и пожирали его глазами, холодными глазами англичанок, которые от удивления становятся круглыми.

Наступившее молчание нарушил Бомпар:

— На Чимборасо при переходе через пропасть мы не связывались веревкой.

Депутаты переглянулись. Этой тарасконадой Бомпар заткнул за пояс всех.

— Ай да Бомпар, ну и ну!.. — в простодушном изумлении пролепетал Паскалон.

Но старик Бальте, приняв сообщение Бомпара о подъеме на Чимборасо всерьез, восстал против такого способа переходить трещины — не связываясь веревкой. Он утверждал, что подъем на ледники невозможен без веревки, без прочной веревки, из манильской пеньки. Кто-нибудь один поскользнется — другие его удержат.

— При условии, если веревка не оборвется,

господин Бальте, — вспомнив сервенскую катастрофу, вставил Тартарен.

Но хозяин отеля веско проговорил.

— На Сервене веревка не оборвалась… Это проводник, шедший сзади, обрубил ее ледорубом…

Тартарен возмутился.

— Прошу прощения, сударь, — продолжал Бальте, — но проводник был прав… Он понял, что удержать других невозможно, и перерезал веревку, чтобы спасти жизнь себе, своему сыну и тому путешественнику, которого он с сыном сопровождал… Если б он на это не решился, так было бы семь жертв вместо четырех.

Возгорелся спор. Тартарен считал, что связаться одной веревкой — это все равно что дать клятву на жизнь и на смерть. Воодушевленный присутствием дам, все более и более оживляясь, он подкреплял свои слова фактами, ссылками на присутствующих:

— Вот, например, завтра я свяжусь одной веревкой с Бомпаром — ну, так это с моей стороны не просто мера предосторожности, это обет богу и людям быть с моим спутником заодно и скорей погибнуть, нежели вернуться без него, черт побери!

— Я тоже даю обет, *Тартарррен!..* — с другого

конца стола крикнул Бомпар.

Торжественная минута!

Священник в сильном волнении встал, подошел к нашему герою и пожал ему руку английским способом — как будто орудовал насосом. Его примеру последовала супруга, а за нею — девицы, причем у них у всех shake hands было столь мощным, словно они накачивали воду на шестой этаж. Должен сознаться, что депутаты особого энтузиазма не проявили.

— Ну, а я того же мнения, что и господин Бальте, — заявил Бравида. — В таких случаях каждый должен беречь свою шкуру, ей-богу! Я вполне понимаю этого проводника, который обрубил ледорубом веревку…

— Вы меня удивляете, Пласид, — строго заметил Тартарен и, наклонившись к самому его уху, прошептал: — Перестаньте, несчастный! На нас смотрит Англия…

Лихой вояка, который в глубине души, конечно, еще таил злобу на Тартарена за экскурсию в Шильон, сделал такое движение, которое означало: «Плевать я хотел на Англию…», — и, вероятно, получил бы изрядную взбучку от президента, возмущенного таким цинизмом, но в это время тоскующий молодой человек, пресыщенный

грогом и скукой, заговорил на скверном французском языке. Он тоже считал, что проводник поступил правильно, перерезав веревку: избавить от необходимости жить четырех несчастных, еще молодых, то есть обреченных еще некоторое время влачить свое существование, одним взмахом руки вернуть им покой, вновь погрузить их в небытие — какой это благородный, какой это великодушный поступок!

— Что с вами, молодой человек? — вскричал Тартарен. — Можно ли в ваши годы говорить о жизни с таким равнодушием и презрением? Что она вам сделала?

— Ничего, она мне просто наскучила…

Он изучал философию в Христиании[91] и, проникшись идеями Шопенгауэра и Гартмана[92], пришел в конце концов к заключению, что жизнь мрачна, нелепа, бессмысленна. Будучи близок к самоубийству, он, по настоянию родных, отложил книги в сторону и отправился путешествовать,

---

[91] Примечания: 91

Христиания — старое название Осло.

[92] Примечания: 92

Артур Шопенгауэр (1788-1860) рассматривал реальный мир как царство несовершенства и страдания, а выход из него видел в отказе от жизненных интересов, от деятельности. Немецкий философ Эдуард фон Гартман (1842-1906) учил, что всякий человек обречен на страдания, ибо существует как индивидуум; избавить от страданий может только «несуществование».

но всюду его преследовала скука, всюду он сталкивался с унылым убожеством жизни. Он сказал, что Тартарен и его друзья — первые жизнерадостные существа, которых он встретил.

Добрый П.К.А. расхохотался:

— Такой уж мы народ, молодой человек! Тарасконцы все такие. Благодатный край. С утра до вечера там смеются, поют, а все остальное время пляшут фарандолу. Вот так!.. Во!..

И тут он стал выписывать ногами с изяществом и легкостью крупного майского жука, расправляющего крылья.

Но депутаты не обладали железными нервами и неистощимой бодростью своего предводителя.

— *Прррезидэнт* опять разошелся… — ворчал Экскурбаньес. — Ведь уж полночь.

Бравида, выйдя из терпения, вскочил:

— А ну, пошли спать! У меня спина разболелась…

Тартарен, вспомнив о завтрашнем восхождении, согласился, и тарасконцы, захватив подсвечник, стали подниматься по широкой гранитной лестнице, ведшей в номера, а старик Бальте пошел готовить провизию и нанимать мулов и проводников.

— Ого! Снег!..

Это были первые слова доброго Тартарена, когда он проснулся на другое утро и увидел, что стекла запушил иней и что в комнате вдруг стало белым-бело. Но, прикрепив зеркальце для бритья к оконной задвижке, он сразу понял свою ошибку: это отсвечивал Монблан, прямо перед ним сверкавший под лучами дивного солнца. Тартарен отворил окно, и в комнату ворвался бодрящий ветер ледников, от которого приятно закололо щеки, а вместе с ним звон бесчисленных колокольчиков и завыванье рогов: это вслед за пастухами брели стада. На Тартарена пахнуло чем-то здоровым, первобытным, чего он до сих пор в Швейцарии не ощущал.

Внизу его дожидались толпившиеся проводники и носильщики. Швед уже сидел на муле, а среди любопытных, сомкнувших вокруг него кольцо, можно было видеть семейство священника, всех этих бойких девиц в утренних туалетах, пришедших еще раз обменяться shake hands с тарасконским героем, занимавшим их воображение.

— Погода отличная! Поторапливайтесь! — кричал хозяин, лысина которого сверкала на солнце, как валун.

Сам Тартарен не мешкал, но для него было

далеко не легким делом растормошить депутатов, которые должны были сопровождать его до Пьер-Пуантю — дальше мулы уже не прошли бы. Никакие просьбы и уговоры не могли заставить командира встать с постели; надвинув на уши ночной колпак, повернувшись лицом к стене, он на все упреки президента отвечал циничной тарасконской поговоркой:

— Кто хвалится, что рано встает, тот спит до полудня…

А Бомпар твердил:

— Да ну его, этот Монблан!.. Все враки…

Он встал только после того, как П.К.А. отдал официальное распоряжение.

Наконец караван тронулся в путь по узким улицам Шамони, и выглядело это шествие весьма торжественно: впереди восседал на муле Паскалон с развернутым знаменем, а замыкал шествие важный, как китайский богдыхан, в окружении проводников и носильщиков, шагавших по бокам его мула, добрый Тартарен, одетый по всем правилам заядлого альпиниста, щеголявший новыми очками с выпуклыми дымчатыми стеклами и знаменитой авиньонской веревкой, которую он вновь раздобыл известно какой ценой.

Все на него глазели почти с таким же любопыт-

ством, как на знамя, и он радовался, что производит на толпу сильное впечатление, любовался живописными улицами савоярского селения, столь не похожего на швейцарские села, начищенные до блеска, напоминающие новенькую игрушку или ярмарочный балаган, являющие собою полнейшую противоположность этим крошечным, вросшим в землю лачугам, большая часть которых отведена под хлев, лачугам, стоящим рядом с роскошными шестиэтажными отелями, сверкающие вывески которых режут глаз, так же как расшитая серебром фуражка швейцара, черный фрак и туфли метрдотеля режут глаз рядом с чепчиками крестьянок, фланелевыми куртками ткачей и широкополыми войлочными шляпами угольщиков. На площади стояли распряженные ландо, дорожные кареты и навозные телеги; стадо свиней разгуливало на солнцепеке, у почтовой конторы, откуда вышел англичанин в белой панаме, держа в руке пачку писем и номер «Таймса», который он читал на ходу, даже не просмотрев корреспонденцию. Кавалькада тарасконцев двигалась мимо всего этого под топот мулов, под воинственные крики Экскурбаньеса, чей «гонг», отогревшись на солнце, обрел былую силу, под колокольчики стад,

что разбрелись по уступам ближних гор, и под шум реки, выбивавшейся из-под ледника, белой от пены, искрившейся так, словно она несла на своих волнах солнце и снег.

На окраине села Бомпар подъехал к президенту и, дико вращая глазами, сказал:

— *Тартарррен!* Мне нужно с вами поговорить…

— Хорошо, потом… — сказал П.К.А.; он вел в это время философский спор с юным шведом и старался победить его мрачный пессимизм, восторгаясь чудными видами, открывавшимися вокруг: пастбищами с огромными пространствами света и тени и темно-зелеными лесами, увенчанными фирновым гребнем ослепительной белизны.

После двух бесплодных попыток приблизиться к Тартарену Бомпар вынужден был оставить его в покое. Перебравшись через Арв по небольшому мосту, караван двинулся дальше по узкой, извивавшейся между елей тропе, где мулы, пробираясь гуськом, затейливыми башмачками своих копыт прочерчивают малейшие изгибы крутизн, и, чтоб не утерять равновесия, тарасконцы напрягали все свое внимание и сдерживали мулов при помощи: «Легче, легче!.. А, чтоб!..»

В домике на Пьер-Пуантю, где Паскалон и Экскурбаньес должны были дожидаться возвращения альпинистов, Тартарен стал распоряжаться насчет завтрака, устраивать носильщиков и проводников и опять не прислушался к нашептываниям Бомпара. Но — странное дело! Несмотря на хорошую погоду, хорошее вино, чистый воздух (они находились на высоте двух тысяч метров над уровнем моря), за завтраком настроение у всех было подавленное, однако на это обстоятельство обратили внимание лишь много спустя. Поодаль шутили и смеялись проводники, а за столом тарасконцев царила тишина, которую нарушал лишь обычный шум трапезы: звон стаканов, стук тарелок, ложек, вилок и ножей по струганому столу. Неизвестно, что было тому причиной: присутствие ли мрачного шведа, приметное ли беспокойство Гонзага или же некое предчувствие, но только вид у альпинистов, двинувшихся к Боссонскому леднику, откуда, собственно, и начиналось настоящее восхождение, был столь же унылый, как у батальона, шагающего без музыки.

Ставя ногу на лед, Тартарен невольно улыбнулся при воспоминании о Гугги и о своих усовершенствованных «кошках». Какая гро-

мадная разница между новичком, которого он представлял собой тогда, и первоклассным альпинистом, за какового он почитал себя теперь! Он чувствовал себя так уверенно в тяжелых башмаках, которые нынче утром швейцар подбил ему четырьмя большими гвоздями, он научился обращаться с ледорубом, и ему теперь уже, в сущности, не нужен был проводник, который не столько поддерживал его, сколько просто указывал путь. После недавнего обвала ледник, блеск которого скрадывали дымчатые очки, был занесен снегом, а в снегу там и сям зияли предательские скользкие зеленоватые озерца. Сохраняя полнейшее спокойствие, зная по опыту, что это совершенно безопасно, Тартарен шел по самому краю расселин с гладкими, сверкавшими на солнце стенами, которым не видно было конца, шагал между нависших глыб и думал только о том, чтобы не отстать от шведского студента, неутомимого ходока, чьи длинные гетры с серебряными пряжками, плотно обтягивавшие тонкие, худые голени, поднимались вместе с альпенштоком, составлявшим как бы третью его ногу. Несмотря на трудность пути, философский спор двух альпинистов все еще продолжался, и на оледеневшем пространстве, гулком, как по-

верхность реки, непринужденно, хотя и с легкой одышкой, рокотал густой бас:

— Вы знаете меня, Отто…

А на Бомпара между тем сыпались все беды. Еще утром он был глубоко убежден, что Тартарен только хвастается, что ни на какой Монблан он не пойдет, так же как президент, конечно, и не думал ходить на Юнгфрау, а потому несчастный буфетчик надел самый обыкновенный костюм, не подбил гвоздями башмаки, не применил своего собственного изобретения, которое, как известно, состояло в том, что он предлагал подковать солдат, и не взял даже альпенштока, ибо на Чимборасо альпенштоков не признают. Он взял с собой только тросточку, которая очень шла к его шляпе с голубой лентой и к ульстеру, но, подойдя к леднику, он ужаснулся, оттого что, само собой разумеется, Выдумщик никогда никаких восхождений не совершал — все это были одни разговоры. Однако, посмотрев с высоты морены, как легко Тартарен передвигается по льду, он приободрился и решил следовать за ним до стоянки Гран-Мюле, где предстояла ночевка. Но добрался он до нее не без труда: едва ступив, он опрокинулся навзничь, затем сейчас же упал на ладони, потом на колени.

— Ничего, благодарю вас, это я нарочно... — уверял он проводников, пытавшихся его поднять. — По-американски, да!.. Как на Чимборасо!

Принятое им положение показалось ему удобным, и он пополз вперед на четвереньках, в шляпе на затылке, разметая снег полами ульстера, как бурый медведь своим мехом. При этом он не терял присутствия духа и рассказывал шедшим с ним рядом, что таким способом он поднялся в Андах на гору высотою в десять тысяч метров. Он только не счел нужным сообщить, сколько времени он поднимался, но, вероятно, довольно долго, судя по тому, что в Гран-Мюле он прибыл на целый час позднее Тартарена, весь в грязи и в снегу, с застывшими в легких перчатках руками.

По сравнению с хижиной в Гугги та, которая на средства общины Шамони была выстроена в Гран-Мюле, по-настоящему комфортабельна. Когда Бомпар вошел в кухню, где вовсю топилась печь, Тартарен и швед уже сушили там обувь, а хозяин, некое ископаемое с седыми космами, разложил перед ними сокровища своего маленького музея.

В этом мрачном музее были собраны вещи, которые хозяин сохранил на память обо всех

катастрофах, случившихся на Монблане за те сорок лет, что он держал здесь гостиницу, и, доставая вещи с витрины, старик рассказывал их печальную историю… С этим клочком сукна, с этими пуговицами от жилетки связано воспоминание об одном русском ученом, которого на леднике Бренвы унес ураган… Вот эта челюсть осталась от одного из проводников знаменитой экспедиции, состоявшей из одиннадцати путешественников и носильщиков, погибших в снежную бурю… В лучах заходящего солнца, при тусклом отблеске фирна, игравшем на стеклах окон, выставка скорбных реликвий производила особенно тягостное впечатление, как и похожие один на другой рассказы старика, тем более что в патетических местах он придавал своему дрожащему голосу особую задушевность и, развертывая кончик зеленой вуали, принадлежавшей одной англичанке, которую в 1827 году погребла под собой лавина, даже выдавливал из себя слезы.

Как ни успокаивал себя Тартарен давностью событий, как ни убеждал себя, что в те времена Компания еще не организовала безопасных восхождений, от воплей савоярского плакальщика у него сжалось сердце, и он вышел на воздух.

Тьма уже затопляла низины. Помертвелые Бос-

соны выступали из мрака совсем близко, а еще розовую вершину Монблана ласкало закатное солнце. Южанин только начал было успокаиваться от этой улыбки природы, как вдруг сзади него выросла тень Бомпара.

— А, это вы, Гонзаг!.. Я, как видите, дышу воздухом… Старик навел на меня тоску своими россказнями…

— *Тартарррен!..* — сказал Бомпар, стискивая ему руку. — По-моему, уже довольно, пора кончать эту дурацкую экспедицию.

Великий человек вытаращил на него глаза:

— Что вы городите?

И тут Бомпар нарисовал ему жуткую картину тех опасностей, которые подстерегают его здесь на каждом шагу: расселины, лавины, вихри, бури…

— Ох уж этот мне Выдумщик! — прервал его Тартарен. — А на что же Компания?.. Монблан, наверное, так же хорошо приспособлен, как и другие горы.

— Приспособлен?.. Компания?.. — пробормотал огорошенный Бомпар: он совсем забыл про свою тарасконаду.

Тогда Тартарен повторил слово в слово все, что тот рассказывал про акционерную Швейцарию,

про заарендованные горы, про бутафорские расселины. Выслушав его, бывший клубный буфетчик расхохотался.

— Как? И вы поверили?.. Да ведь я вас просто морочил… Кто, кто, а уж тарасконцы-то на этот счет мастера!..

— Значит, и Юнгфрау не приспособлена? — спросил крайне взволнованный Тартарен.

— Конечно, нет!

— А если бы веревка оборвалась?..

— О мой бедный друг!..

Герой наш, задним числом ужаснувшись, побледнел, закрыл глаза и впал в нерешительность…

Этот пейзаж, грозящий гибелью во льдах, холодный, мрачный, взрытый провалами, эти причитания старого трактирщика, еще рыдавшие у него в ушах… «А, чтоб вас всех, извините за выражение!..» Но тут он вспомнил своих *согррраждан,* вспомнил о том, что ему предстоит водрузить на вершине знамя, и сказал себе, что с таким хорошим проводником, с таким надежным товарищем, как Бомпар… Да и потом, поднялся же он на Юнгфрау!.. Почему бы не попытаться взойти на Монблан?

Тартарен положил свою широкую ладонь на

плечо другу и твердым голосом заговорил:

— Послушайте, Гонзаг…

XIII
Катастрофа

Темной-претемной ночью, без луны, без звезд, без небосвода, на мерцающей белизне покрытой снегом кручи тянется длинная веревка, к которой привязаны одна за другой крошечные боязливые фигурки, а впереди, метрах в ста, красным пятном словно ползет по снегу фонарь. Звонкие удары ледоруба о наст да скатывающиеся вниз обломки льда нарушают безмолвие фирна, приглушающего шаги каравана. Время от времени вскрик, придушенный стон, стук тела, падающего на лед, и вслед за тем — зычный голос с конца веревки:

— Смотрите не сорвитесь, Гонзаг!

Дело в том, что бедняга Бомпар отважился сопровождать своего друга Тартарена до самой вершины Монблана. С двух часов ночи — а теперь на президентских часах с репетицией уже четыре — несчастный посыльный ползет на карачках, и его, как настоящего каторжника, прикованного к цепи, тащат вперед, толкают, а он скользит, спотыкается, пытается удержать различные междометия, готовые сорваться у него с языка

в связи с каким-нибудь новым злоключением, лавины грозят ему со всех сторон, от малейшего сотрясения, от более или менее сильного колебания прозрачного воздуха могут произойти обвалы снега и льда. Страдать молча — какая же это пытка для тарасконца!

Внезапно караван останавливается. Тартарен спрашивает, что случилось, слышатся тихие переговаривающиеся голоса, энергичный шепот.

— Ваш товарищ не желает идти дальше, — заявляет швед.

Порядок движения нарушен, человеческая цепь растягивается, одно звено находит на другое, и вот уже они все на краю громадной расселины, которая на языке альпинистов называется «трещиной». До сих пор через такие трещины они переправлялись ползком по лестнице, перекинутой с одного края на другой. На сей раз трещина оказалась очень широкой, противоположный край выше этого футов на восемьдесят — на сто. Придется спуститься на дно суживающейся книзу ямы по ступенькам, которые надо будет вырубить ледорубом, и таким же способом выбраться наверх. Но Бомпар отказывается наотрез.

Наклонившись над пропастью, которая в темноте кажется бездонной, он следит за тем, как

мелькает во мгле фонарик проводника, вырубающего ступени. Тартарен тоже не очень спокоен и подбадривает себя увещаниями, с которыми обращается к своему другу:

— А ну, Гонзаг, смелей!

Затем, понизив голос до шепота, он взывает к его чувству чести, напоминает про Тараскон, про знамя, про Клуб альпинцев.

— А, да ну его, этот Клуб!.. Я к нему никакого отношения не имею, — цинично заявляет тот.

Тогда Тартарен берется сам переставлять ему ноги — это, мол, легче легкого.

— Для вас это, может быть, и легко, а для меня — нет!..

— Да вы же сами говорили, что привыкли…

— Ну да, конечно, привык… Но к чему? Мало ли к чему я привык… привык курить, спать…

— А главное, лгать, — обрывает его президент.

— Нет, что вы! Преувеличивать!.. — не моргнув глазом, поправляет Бомпар.

Однако под угрозой, что его оставят здесь одного, он, пересилив себя, начинает медленно, осторожно спускаться по ужасной лестнице, вроде тех, что бывают на мельницах… Еще труднее подняться на противоположную стену, отвесную и гладкую, как мрамор, выше тарасконской

башни короля Рене. Снизу мигающий фонарик в руке проводника представляется ползучим светлячком. Но ничего не поделаешь, надо взять себя в руки, а то ведь снег под ногами оседает, у подножья ледяной стены, в широкой промоине, которую не столько видишь, сколько чувствуешь, журчит и булькает вода, и оттуда веет холодом подземных глубин.

— Смотрите не сорвитесь, Гонзаг!..

Эта фраза, которую Тартарен произносит ласковым, почти умоляющим тоном, приобретает грозный смысл, ибо альпинисты, ползущие друг над другом и цепляющиеся руками и ногами за малейший выступ, связаны между собой не только веревкой, но и мерностью движений, а потому падение или простая неловкость одного может навлечь опасность на всех. И какую опасность, черт побери! Достаточно послушать, как подскакивают, летя вниз, обломки льда и какое гулкое эхо будят они при падении во всех расселинах, во всей неведомой глуби, чтобы вообразить себе пасть чудовища, подстерегающего вас и готового проглотить при мало-мальски неверном шаге.

Но что там еще? Долговязый швед, взбирающийся впереди Тартарена, останавливается, и его подбитые железом каблуки касаются фу-

ражки П.К.А. Напрасно проводники кричат ему: «Вперед!..», а президент: «Идите же, молодой человек!..» — никакого внимания. Швед вытягивается во весь рост, а затем, почти не держась, наклоняется, и лучи восходящего солнца скользят по его жидкой бородке и освещают странное выражение его широко раскрытых глаз.

— Взгляните, какая крутизна! — говорит он Тартарену, показывая вниз. — Вот бы отсюда сорваться!..

— Ого! Могу себе представить… Вы бы нас всех за собой увлекли… Поднимайтесь!..

Но швед не двигается.

— Удобный случай покончить все счеты с жизнью, — продолжает он, — перейти в небытие через недра земли, покатиться от пропасти к пропасти, как вот этот осколок льда, который я сейчас толкаю ногой…

И швед, до жути низко наклонившись, слушает, как подпрыгивающий кусок льда бесконечно долго звенит в предрассветном сумраке.

— Несчастный! Что выделаете? — помертвев от ужаса, кричит Тартарен и, судорожно цепляясь за мокрую стену, продолжает свою вчерашнюю пламенную речь во славу жизни: — В жизни есть и хорошее, черт побери!.. В ваши годы, такой

красивый юноша, как вы… Неужто вы не верите в любовь? *Чтэ*?

Нет, его собеседник не верит в любовь. Любовь идеальную выдумали поэты, другого рода любовь — это потребность, которой он никогда не испытывал…

— Ну да! Ну да!.. Это правда: поэты все немножко тарасконцы, они всегда прибавляют. Но все-таки *бабочка* — так у нас называют дам — это неплохо. А там пойдут дети, славные крошки, похожие на вас.

— Да, дети, источник страданий! Моя мать, с тех пор как я появился на свет, плачет, не осушая глаз.

— Послушайте, Отто, вы меня знаете, мой милый друг…

Всеми силами своей отзывчивой, благородной души Тартарен старается расшевелить, встряхнуть эту жертву Шопенгауэра и Гартмана, двух шутов гороховых, с которыми он, разэтакие они такие, хотел бы встретиться на узкой дорожке и рассчитаться за тот вред, что они причинили юношеству…

Представьте себе этот философский спор, происходящий на высокой ледяной стене, холодной, зеленоватой, сырой, чуть озаренной

бледным лучом рассвета, насаженные на вертел человеческие тела, лепящиеся к стене вверх по ступенькам, зловещее клокотанье воды, доносящееся снизу, из глубины зияющих беловатых бездн, и брань проводников, грозящих отвязаться и покинуть путешественников. Наконец, Тартарен, видя, что никакие уговоры на безумца не действуют и не уменьшают его тяги к самоубийству, советует ему броситься с самой высокой точки Монблана:

— Оттуда, сверху, — это другое дело, это пожалуйста. Красивая смерть среди стихий… Но здесь, в каком-то подвале… Да это же просто бредни!..

Он произносит это так выразительно, так отрывисто и в то же время так убедительно, что швед сдается, и вот они уже один за другим влезают на самый верх ужасной трещины.

Путники отвязываются, делают привал, чтобы хоть немножко промочить горло и заморить червячка. Рассвело. Холодное, тусклое солнце освещает величественный амфитеатр пик и копий, над которыми, все еще на высоте полутора тысяч метров, вздымается Монблан. В сторонке, разводя руками и покачивая головой, о чем-то совещаются проводники. Напружившись, выгнув спину, они грузно лежат в коричневых куртках

на совершенно белом снегу, и при взгляде на них кажется, будто это сурки готовятся к зимней спячке. Бомпар и Тартарен, прозябшие и встревоженные, оставив шведа одного доедать завтрак, подходят к проводникам как раз в ту минуту, когда старший с мрачным видом говорит другим:

— Курит он трубку, курит — это уж как дважды два.

— Кто курит трубку? — спрашивает Тартарен.

— Монблан, сударь. Взгляните.

И с этими словами проводник показывает ему на самой вершине что-то вроде султана, белый дым, который ветром относит в сторону Италии.

— А когда Монблан курит трубку, что же это все-таки значит, любезный друг?

— Это значит, сударь, что на вершине свирепствует снежная буря и что скоро она придет сюда, к нам. А это, нелегкая побери, дело нешуточное!

— Вернемтесь! — зеленея, говорит Бомпар.

А Тартарен подхватывает:

— Да, да, *кнэчно!* Глупое самолюбие побоку!

Но тут вмешивается швед. Он заплатил деньги за то, чтобы его привели на Монблан, и никакая сила его не остановит. Если никто его не поведет, он пойдет один.

— Трусы! Трусы! — говорит он, обращаясь к

проводникам тем же замогильным голосом, каким только что подбивал себя на самоубийство.

— А вот мы вам покажем, какие мы трусы… Связывайся — и в путь! — кричит старший проводник.

На сей раз решительно противится Бомпар. С него довольно, пусть его ведут обратно. Тартарен горячо поддерживает его.

— Вы же видите, что этот молодой человек сумасшедший!.. — кричит он, показывая на шведа, который быстро шагает вперед под уже начинающейся метелью. Но коль скоро проводников обвинили в трусости, их ничто уже не в силах удержать. В сурках пробудился героизм, и Тартарен не может даже добиться, чтобы его с Бомпаром отвели в Гран-Мюле. Впрочем, тут недалеко: три часа ходьбы, три часа двадцать минут, если им боязно будет одним идти через большую трещину и они ее обойдут.

— Да, чтоб ее, нам будет боязно!.. — откровенно признается Гонзаг, и обе партии расходятся в разные стороны.

И вот тарасконцы остаются одни. Связавшись веревкой, они осторожно двигаются по снежной пустыне; Тартарен идет впереди, с важным видом нащупывая дорогу ледорубом, — он проникнут

сознанием лежащей на нем ответственности, и это сознание придает ему сил.

— Смелей, не падать духом!.. Ничего, выберемся!.. — поминутно кричит он Бомпару. Так командир в бою заглушает в себе самом страх, махая саблей и крича солдатам: «Вперед, растак вашу так!.. Не все пули метки!»

Но вот опасная расселина остается у них позади. Отсюда до их конечной цели серьезных препятствий больше не встретится. Но ветер бушует, ветер слепит глаза снегом. Идти дальше нельзя, иначе заблудишься.

— Остановимся на минутку, — говорит Тартарен.

Исполинская ледяная глыба предоставляет им приют в углублении, образовавшемся в нижней ее части. Путники залезают туда, расстилают непромокаемый плащ президента и раскупоривают флягу с ромом — всю остальную провизию захватили с собой проводники. По телу разливается блаженное тепло, а удары ледоруба, теперь уже чуть слышно доносящиеся с высоты, возвещают им, что экспедиция продвигается успешно. В сердце П.К.А. они отзываются сожалением о том, что он не дошел до вершины Монблана.

— Да ведь никто не узнает! — цинично возра-

жает Бомпар. — Носильщики взяли с собой знамя, и в Шамони подумают, что это вы его водрузили.

— Вы правы, честь Тараскона спасена… — проникшись его доводами, заключает Тартарен.

А стихии свирепствуют, поднимается вьюга, снег валит хлопьями. Друзья молчат, в голове у них теснятся мрачные мысли, им приходит на память кладбищенская витрина старого трактирщика, его печальные рассказы, предание об американском туристе, которого нашли окаменевшим от голода и холода, с записной книжкой в судорожно сжатой руке, — с книжкой, куда он заносил все свои мытарства вплоть до последнего содрогания, когда у него выпал карандаш и он не дописал своей фамилии.

— У вас есть записная книжка, Гонзаг?

Тот сразу понимает, в чем дело.

— Ну да, еще записная книжка!.. Вы думаете, я останусь тут умирать, как тот американец?.. Надо отсюда выбраться! Идемте! Идемте!

— Немыслимо… Нас сейчас же унесет, как соломинку, и сбросит в пропасть.

— Ну так надо звать на помощь — трактир недалеко…

И Бомпар, став на колени и высунув голову наружу, похожий на корову, разлегшуюся на

пастбище, ревет:

— На помощь! На помощь! Сюда!

— Караул!.. — подхватывает Тартарен самым мощным своим басом, и по всей пещере прокатывается гром.

Бомпар хватает его за руку.

— Что вы делаете? Глыба!..

В самом деле, задрожала вся ледяная громада. Кажется, стоит еще только дунуть — и масса нависшего льда обрушится прямо на них. Они замирают на месте, окутанные жуткой тишиной, но тишину вскоре пробивает отдаленный грохот, и он близится, растет, все вокруг собой заполняет, катится из пропасти в пропасть и, наконец, замирает где-то в преисподней.

— Несчастный! — бормочет Тартарен, думая о шведе и его проводниках, которых, конечно, подхватила и сбросила лавина.

А Бомпар качает головой.

— Наше дело тоже дрянь.

Положение у них в самом деле отчаянное: буря разгулялась, и они не смеют пошевелиться в своем ледяном гроте, не смеют нос высунуть наружу.

А тут, словно нарочно, чтобы у них еще мучительнее защемило сердце, внизу, в долине,

накликая смерть, завыла собака. Вдруг Тартарен со слезами на глазах берет руки спутника в свои и, кротко глядя на него, дрожащими губами бормочет:

— Простите меня, Гонзаг, да, да, простите меня! Я был с вами резок, я назвал вас лгуном…

— А, вздор! Есть о чем говорить!

— Я меньше, чем кто-либо, имел на это право, я сам много лгал в своей жизни, и в этот страшный час я испытываю потребность излить, облегчить душу, обнаружить перед всеми свои обманы.

— Ваши обманы?

— Выслушайте меня, мой друг… Прежде всего никакого льва я не убивал.

— Этим вы меня не удивите… — хладнокровно замечает Бомпар. — Стоит ли из-за такой чепухи огорчаться?.. Это наше солнце виновато, мы родимся лгунами… Взять хоть бы меня… Сказал ли я за всю жизнь хоть одно слово правды?.. Только раскрою рот — и говорю уже не я: это юг Франции говорит во мне. Я рассказываю о людях, которых в глаза не видал, о странах, где никогда в жизни не был, и из всего этого получается такая хитросплетенная ложь, что в конце концов я сам в ней запутываюсь.

— Это все воображение, будь оно неладно! —

вздыхает Тартарен. — Мы — лгуны в силу своего воображения.

— Но все наши небылицы никому никакого вреда не причинили, а вот такой злобный завистник, как Костекальд…

— Не напоминайте мне про этого негодяя! — прерывает его П.К.А. и в порыве ярости принимается его честить: — Разэтакий такой! Ведь обидно же в конце концов…

Но тут, заметив, что Бомпар в испуге замахал на него руками, он понижает голос:

— Ах да, глыба!..

Вынужденный выражать свой гнев шепотом, бедняга Тартарен чуть слышно продолжает изрыгать хулу на своего недруга, чудовищно и уморительно разевая рот:

— Обидно погибать во цвете лет из-за какого-то мерзавца, который теперь преспокойно попивает кофе на Городском кругу!..

Но пока он кипятится, погода меняется к лучшему. Уже не метет, не крутит, в разрывах туч проглядывает лазурь. Скорее в путь! Связавшись с Бомпаром веревкой, Тартарен опять идет впереди, затем оборачивается и прикладывает палец к губам:

— Но только, Гонзаг, все это между нами.

— Ну понятно!..

Они бодро идут вперед по колено в только что выпавшем снегу, словно чистой ватой прикрывшем следы каравана. Тартарен через каждые пять минут сверяется с компасом, но тарасконский компас, привыкший к жаркому климату, в Швейцарии испортился от холода. Стрелка играет в «углы», подскакивает, колеблется. И путники идут куда глаза глядят, ожидая, что черные скалы Гран-Мюле вот-вот вырастут перед ними из однообразной и безмолвной белизны пиков, игол и бугорков, окружающей их со всех сторон, слепящей, пугающей, ибо она прикрывает опасные расселины у них под ногами.

— Спокойствие, Гонзаг, спокойствие!

— Вот этого-то мне как раз и недостает, — сокрушенно отзывается Бомпар и хнычет: — Ой, ступня!.. Ой, нога!.. Пропали мы. Не выбраться нам отсюда…

После двух часов ходьбы на середине заметенного снегом крутого ската Бомпар в ужасе восклицает:

— *Тартарррен,* да ведь мы поднимаемся!

— А, черт, я сам вижу, что поднимаемся! — ворчит Тартарен, которому начинает изменять его выдержка.

— А по-моему, должен быть спуск.

— Да, но что же вы от меня хотите? Взойдем на самый верх, — может быть, с другой стороны начнется спуск.

В самом деле, потом начинается спуск, но спуск ужасный, сначала по фирну, затем по отвесному почти леднику, а вдали, за свечением предательских белых покровов, виднеется хижина на скале, маячащей в глубине провала, который отсюда кажется бездонным. Коль скоро с дороги в Гран-Мюле путники сбились, надо до наступления темноты добраться до этого пристанища, но ценою каких усилий, каких, быть может, потрясений!

— Главное, Гонзаг, держите меня крепче. *Чтэ*?

— А вы меня, *Тартарррен*.

Они обмениваются наставлениями, уже не видя друг друга, разделенные гребнем, за которым скрывается Тартарен, и один из них продолжает карабкаться вверх, а другой начинает медленно, боязливо спускаться. Они уже не переговариваются, они напрягают все свои силы, чтобы не оступиться, не поскользнуться. Вдруг, уже на расстоянии метра от гребня, Бомпар слышит истошный вопль своего спутника, за этим следует неистовый, отчаянный рывок, и веревка

натягивается… Бомпар упирается, старается за что-нибудь ухватиться, чтобы удержать спутника над бездной. Но веревка, должно быть, попалась старая, ее слишком туго натянули, и она рвется.

— А, чтоб!..

— А, черт!..

Эти два страшных крика раздаются одновременно, нарушив царящие окрест безмолвие и безлюдье, а затем наступает жуткая тишина, гробовое молчание, и ничто уже больше не прорезает его во всем этом обширном царстве девственных снегов.

К вечеру человек, отдаленно напоминавший Бомпара, призрак с волосами, стоявшими дыбом, забрызганный грязью, мокрый насквозь, добрел до трактира на Гран-Мюле, и там его оттерли, отогрели и уложили спать, он же на все вопросы в состоянии был ответить лишь несколькими бессвязными словами.

— Тартарен… погиб… оборвалась веревка… — повторял он, всхлипывая и воздевая руки к небу.

Наконец всем стало ясно: стряслась беда.

Пока старый трактирщик в ожидании, что к его коллекции присоединятся новые останки, причитал и прибавлял еще одну главу к повествованию о несчастных случаях на Монблане, швед и его

проводники успели вернуться и с веревками, с лестницами, со всем спасательным снаряжением отправились на поиски злосчастного Тартарена, но — увы! — их усилия оказались тщетными.

На Бомпара точно столбняк нашел — он не мог сообщить им точные данные ни о самой драме, ни о том, где это произошло. Только на Дом-де-Гуте был найден обрывок веревки, застрявшей во впадине. Но — странное дело! Веревка была обрезана с двух концов каким-то острым орудием. Шамберийские газеты поместили снимок с веревки. Наконец, когда после многих походов, после тщательных розысков, продолжавшихся целую неделю, все убедились, что бедный *пррре-зидэнт* пропал, погиб безвозвратно, убитые горем депутаты выехали в Тараскон и взяли с собой Бомпара, потрясенный мозг которого все никак не мог свыкнуться с ужасным происшествием.

— Не напоминайте мне об этом! — говорил он, как только речь заходила о случившемся. — Никогда больше не напоминайте!

Вне всякого сомнения, к списку жертв Монблана присоединилась новая (и какая!) жертва.

XIV
Заключение

Более впечатлительного города, чем Тараскон, не было и нет в целом свете. В иной праздничный день, когда жители, все как один, высыпают на улицы, когда гремят тамбурины, когда на Городском кругу людно и шумно, пестрит в глазах от зеленых и красных юбок, от арльских косынок, а большие разноцветные афиши оповещают о борьбе взрослых и подростков, о бое камаргских быков, стоит какому-нибудь шутнику крикнуть: «Бешеная собака!..» или «Бык!..» — и все бегут, толкаются, мечутся, двери запираются на засовы, ставни хлопают, как во время грозы, и вот уже во всем Тарасконе пусто и тихо, ни одной живой души, ни звука, цикады — и те прячутся и настораживаются.

Такой вид имел Тараскон однажды утром, хотя утро это было не праздничное и не воскресное: лавки заперты, дома словно вымерли, улицы и площади стали как будто шире от тишины и безлюдья. *Vasta silentio*[93], — как говорит Тацит,

---

[93] Примечания: 93
необозримое безмолвие *(лат.)*

описывая Рим в день похорон Германика[94], и это сравнение Тараскона с облекшимся в траур Римом тем более уместно, что в тарасконском соборе сегодня молились о упокоении Тартарена и все население оплакивало своего героя, свое божество, непобедимого обладателя двойных мускулов, оставшегося навсегда среди льдов Монблана.

И вот, в то время как опустевшие улицы полнились тяжкими ударами погребального колокола, мадемуазель Турнатуар, сестра доктора, по состоянию здоровья никогда не выходившая из дому и изнывавшая от скуки, сидела, по обыкновению, в большом кресле, смотрела в окно и слушала похоронный звон. Дом Турнатуаров стоит на Авиньонской дороге, почти напротив дома Тартарена, и это достопримечательное жилище, хозяин которого никогда не вернется, наглухо запертая садовая калитка, все, вплоть до ящиков для чистки обуви, принадлежавших маленьким савоярам, что сидели рядком возле ограды, надрывало душу хворой девицы, вот уже более тридцати лет пылавшей тайною страстью к тарасконскому герою. О, тайна стародевиче-

[94] Примечания: 94

Германик (15 г. до н.э. — 19 г. н.э.) — приемный сын императора Тиберия, полководец, победитель германцев, любимец римского народа.

ского сердца! Следить взглядом, когда он в свой обычный час выходил из дому, спрашивать себя: «Куда это он?..» — смотреть, в чем он сегодня: в альпинистском костюме или в зеленой со стальным отливом куртке, — все это доставляло ей особое наслаждение. Тетерь она его уже не увидит. Она даже лишена последнего утешения — пойти помолиться за него вместе с другими тарасконскими дамами.

Внезапно длинное лицо мадемуазель Турнатуар, смахивавшей на белую лошадь, покрыл легкий румянец, ее тусклые глаза с красными веками широко раскрылись, а худая морщинистая рука сотворила крестное знамение… Да, это он, он шел по той стороне улицы… Сперва, ей показалось, что это — видение. Но нет, это и впрямь Тартарен, живой Тартарен, но только побледневший, жалкий, оборванный, кравшийся по стенам, как нищий, как вор. Но, чтобы читателям стало ясно, почему он появился в городе тайком, нам нужно вернуться на Монблан как раз в тот момент, когда два друга находились на разных склонах Дом-де-Гуте и Бомпар вдруг почувствовал, что веревка рванулась как бы от падения привязанного к ней тела.

На самом деле веревка застряла между двух

льдин, и Тартарен, почувствовав точно такой же рывок, тоже решил, что его товарищ сорвался и тащит его за собой. И вот в этот ужасный миг — боже мой, где мне только найти слова?.. — их обоих охватил страх смерти, и они, забыв торжественный обет, принесенный ими в отеле Бальте, инстинктивным движением одновременно перерезали веревку: Бомпар — ножом, Тартарен — ледорубом, а затем каждый из них пришел в ужас от своего злодеяния, каждый из них счел себя убийцей своего друга, и тут оба они бросились бежать в противоположных направлениях.

В то самое время, когда тень Бомпара появилась на Гран-Мюле, тень Тартарена добралась до Авесейльской сторожки. Каким чудом Тартарен спасся, сколько раз он скользил и падал? Только Монблан мог бы на это ответить, ибо несчастный П.К.А. двое суток пребывал в полном оцепенении и не мог вымолвить ни единого слова. Едва лишь он пришел в себя, его препроводили в Курмайер, представляющий собою нечто вроде итальянского Шамони. В отеле, где он решил побыть впредь до окончательного выздоровления, только и разговору было что о страшной катастрофе на Монблане — точно такого же происхождения, как несчастный случай на Сервене: еще один

альпинист сорвался в пропасть из-за того, что лопнула веревка.

Тартарен был уверен, что речь идет о Бомпаре, его мучила совесть, и он не смел ни догнать депутацию, ни возвратиться на родину. Он заранее читал на всех лицах и во всех взглядах: «Каин, где Авель, брат твой?..» Но он поиздержался, пообносился, а тут еще наступили сентябрьские холода, и все отели сразу как вымело, — пришлось все же собираться восвояси. Да ведь и то сказать: свидетелей его преступления не было. Ничто не мешает ему выдумать какую-нибудь историю. В дороге он было рассеялся, но уже совсем неподалеку от Тараскона, едва под голубым небом переливчато засверкали мягко очерченные Альпины, на Тартарена вновь нахлынули стыд, раскаяние, боязнь суда. И, чтобы не поднимать шума, он сошел с поезда не в Тарасконе, а на предпоследней станции.

Сколько раз, бывало, проходил он, как триумфатор, по этой чудесной Тарасконской дороге, на которую падает тень только от телеграфных столбов, по хрустящему под ногами белому-белому песку, во главе альпинцев или же стрелков по фуражкам! А теперь кто бы узнал в грязном оборванце, сторожким взглядом бродяги высмат-

ривающем полицейских, прежнего Тартарена, бесстрашного, щегольски одетого? Хотя стояла осень, но все же сильно пекло, и Тартарен с наслаждением ел в холодке, возле телеги, купленный им у огородника арбуз, а огородник изливал ему свою ярость на тарасконских хозяек, ни одна из которых не пришла нынче на рынок «из-за того, что идет заупокойная обедня по каком-то горожанине, который свалился в яму где-то в горах. Ишь, ишь, звонят!.. Отсюда слыхать...».

Сомнений не оставалось: этот заунывный похоронный звон, донесенный теплым ветерком в пустую деревушку, раздавался по случаю кончины Бомпара!

Какая встреча великому человеку, возвращающемуся на родину!

Когда, быстрым движением отворив и захлопнув калитку, Тартарен вошел в свой садик и увидел обсаженные самшитом узенькие, чистенькие дорожки, бассейн и фонтан, красных рыбок, заметавшихся, чуть только хрустнул песок у него под ногами, гигантский баобаб в горшке из-под резеды, на одно мгновение его душу окутал уют этой норы капустного кролика, после стольких тревог и приключений он вдруг почувствовал себя в безопасности, впал в бла-

женно-умиленное состояние. Но тут колокола, проклятые колокола зазвонили еще громче, и от этих гулких унылых ударов сердце у Тартарена снова болезненно сжалось. В похоронном звоне ему слышался вопрос: «Каин, где Авель, брат твой? Тартарен, что сталось с Бомпаром?» И тут он, подавленный, пришибленный, к великому ужасу красных рыбок, беспомощно опустился на горячий от солнца край бассейна.

Колокола смолкли. Шум толпы схлынул с соборной паперти, и там осталась лишь бормочущая нищенка да каменные изваяния святых. Служба кончилась, весь Тараскон направляется к Клубу альпинцев, где в торжественной обстановке Бомпар должен рассказать о катастрофе, дать подробный отчет о последних минутах П.К.А. В зале заседаний наряду с членами Клуба занимают места представители привилегированных сословий — офицеры, священники, дворяне, богатые коммерсанты, и в настежь раскрытые окна, сливаясь с речами этих господ, врываются то мощные, то жалобные звуки городского оркестра, расположившегося внизу на крыльце. Тарасконцы теснятся вокруг музыкантов, становятся на цыпочки, вытягивают шеи, пытаясь уловить хоть что-нибудь из того, что говорится на заседании,

но окна высоко, и так бы вся эта огромная толпа и осталась в неведении, если бы не несколько сорванцов, которые взобрались на большой платан и оттуда швыряют в толпу различные сообщения, как швыряются вишневыми косточками.

— Глянь, Костекальд притворяется, что плачет. А сам, подлец, уже уселся в президентское кресло… А бедняга Безюке как сморкается! Какие глаза-то у него красные!.. Ишь, ишь, знамя-то обвязано крепом!.. Вон Бомпар идет с тремя депутатами к столу… Что-то кладет на стол… Начал говорить… Должно быть, здорово! Слезы у всех в три ручья…

В самом деле, фантастический рассказ Бомпара все сильнее ударял по сердцам слушателей. Память к Бомпару вернулась, а с нею и воображение… Проводники, убоявшись непогоды, на вершину Монблана с ними не пошли, — туда взошли только он, Бомпар, и его славный спутник, и в течение пяти минут они стояли с развернутым знаменем на самом высоком пике Европы, а затем Бомпар с глубоким волнением начал рассказывать об опасном спуске, о том, как Тартарен покатился на дно расселины, и о том, как он, Бомпар, обвязавшись веревкой в двести футов длиной, стал шаг за шагом обследовать

пропасть:

— Двадцать раз, господа… да нет, что я говорю? Раз девяносто спускался я в эту ледяную бездну, но так и не нашел нашего несчастного *ппррезидэнта,* и все же я утверждаю, что сорвался он именно туда, так как во впадинах мне удалось обнаружить его останки…

С этими словами он выложил на стол осколок челюстной кости, несколько волосков из бороды, лоскут от жилета, петлю от подтяжек — короче, целую коллекцию, вроде той, что собрана в Гран-Мюле…

При виде этой выставки собрание уже не сдерживало порывов отчаяния. Даже самые черствые сердца, как, например, приверженцы Костекальда, даже наиболее солидные люди, вроде нотариуса Камбалалета и доктора Турнатуара, — и те роняли слезы величиной с графинную пробку. Присутствовавшие на заседании дамы испускали душераздирающие вопли, заглушаемые воем Экскурбаньеса, блеяньем Паскалона и звуками похоронного марша, в медлительно-скорбном басовом ключе исполнявшегося оркестром.

Видя, что волнение и расстройство чувств достигли у присутствующих своего предела, Бомпар закончил рассказ и горестным жестом указал, как

на вещественные доказательства, на реликвии, хранившиеся в баночках:

— Вот все, дорогие сограждане, что осталось от нашего славного, от нашего любимого президента… Прочее нам возвратит ледник через сорок лет…

Тут он хотел было рассказать людям несведущим о недавнем открытии, касающемся равномерности движения ледников, но в это время его прервал скрип маленькой дверцы в глубине залы — кто-то вошел… И вдруг перед оратором предстал бледный, как привидение, Тартарен.

— Э, Тартарен!..

— Эге, Гонзаг!..

И таково свойство этого удивительного племени, верящего самым неправдоподобным историям, самым смелым выдумкам и так же легко их опровергающего, что появление великого человека, останки которого покоились тут же на столе, сильного впечатления ни на кого не произвело.

— Послушайте, это недоразумение, — сказал успокоенный, сияющий Тартарен, кладя руку на плечо человека, которого, как ему казалось, он погубил. — Я исходил Монблан с двух сторон. Поднялся по одному склону, спустился по друго-

му — это и послужило основанием считать меня погибшим.

Тартарен умолчал, что с противоположного склона он съехал на спине.

— Чтоб ему пусто было, этому Бомпару! — сказал Безюке. — Он всю душу перевернул нам своей историей!..

Тут все засмеялись и стали пожимать друг другу руки, а на улице оркестр, который никакими силами не могли остановить, упорно продолжал играть похоронный марш в честь покойного Тартарена.

— Гляньте! Как сразу пожелтел Костекальд!.. — прошептал Паскалон командиру Бравида, показывая на оружейника, поднявшегося, чтобы уступить место президенту, добродушное лицо которого так и сияло. А Бравида и тут остался верен своему пристрастию к поговоркам, — глядя на низверженного, вновь занявшего подчиненное положение Костекальда, он тихо сказал:

— Аббатом был, ан глядь: стал служкою опять.

И заседание продолжалось.

1885

КНИГА ТРЕТЬЯ. Порт-Тараскон. Последние приключения славного Тартарена

Леону Аллару, тонкому и глубокому романисту, автору «Вымыслов» и «Молчаливых жизней», его собрат и друг Альфонс Доде посвящает эту юмористическую книгу.

Это было в сентябре, и это было в Провансе, во время сбора винограда, лет пять-шесть тому назад.

Сидя в большом экипаже, запряженном парой камаргских лошадей, мчавших во весь дух поэта Мистраля, моего старшего сына и меня на тарасконский вокзал к скорому поезду Париж — Лион — Марсель, мы любовались угасавшим днем, матовым, бледным от зноя, истомленным, пылким и страстным, как лицо прекрасной южанки.

Несмотря на быструю езду, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. По обочинам рос испанский тростник, стройный, негнущийся, с длинными лентовидными листьями. И на

всех этих проселочных дорогах, белых как снег, неправдоподобно белых, покорно хрустел песок под колесами и длинной вереницей тянулись тележки с черным виноградом, но только с одним черным, а сзади молча и чинно шагали рослые, статные, длинноногие, черноглазые парни и девушки. Всюду, куда ни посмотришь, целые гроздья черных виноградинок — в плетушках, в чанах; всюду, куда ни посмотришь, целые гроздья черных глаз — под загнутыми полями войлочных шляп виноградарей, под головными платками, концы которых женщины держали в зубах.

Порою где-нибудь на повороте в безоблачное небо упирался крест, на перекладине которого, с обоих концов, висели тяжелые черные гроздья, кем-то подвешенные по обету.

— Глянь!.. — умиленно шептал мне Мистраль, с почти материнской гордостью улыбаясь этим проявлениям наивного язычества его родных провансальцев, а затем возвращался к своему рассказу, к какой-нибудь прелестной, благоуханной и златотканной сказке, рожденной на берегах Роны, — сказки эти он, как некий провансальский Гете, рассевал направо и налево обеими своими щедрыми руками, одна из которых — поэзия, а

другая — правда[95].

О, словесное колдовство, о, чудодейственное сочетание времени дня, окрестных видов и величавой народной легенды, свиток которой поэт развертывал перед нами, пока мы ехали по узкой дороге, меж оливковых деревьев и виноградных лоз!.. Как хорошо мне было тогда, какой безоблачной и легкой казалась жизнь!

Внезапно глаза мои затуманились, тоска сжала мне сердце.

— Какой ты бледный, папа! — сказал мой сын.

А я едва нашел в себе силы прошептать, показывая на замок короля Рене, все четыре башни которого глядели, как я мчусь к ним из полевой дали:

— Тараскон!

Дело в том, что у меня с тарасконцами старые счеты. Я знал, что они на меня в большой обиде, что они на меня очень сердятся за мои шутки над их городом и над их великим человеком, знаменитым, бесподобным Тартареном. Я часто получал анонимные письма, угрожавшие мне: «Попробуй только проехать через Тараскон!» Другие обрушивали на мою голову месть героя:

---

[95] Примечания: 95

Намек на автобиографию Гете «Поэзия и правда. Из моей жизни» (1809-1830).

«Трепещите! У старого льва есть еще клюв и когти!»

Лев с клювом! Вот тебе на!

Но это еще что: начальник областного полицейского управления сообщил мне, что на одного парижского коммивояжера, на свое несчастье оказавшегося моим однофамильцем, а может быть, просто желавшего втереть людям очки, прибывшего в гостиницу и расписавшегося в книге для приезжающих: «Альфонс Доде», напали в дверях кафе какие-то грубияны и чуть было, по местному обычаю, не искупали в Роне:

Охотой иль неволей,
Но только в эти дни
Из башен Тараскона
Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они.

Этот старинный куплет 93-го года распевают здесь и поныне и снабжают мрачными комментариями, поясняющими драму, свидетелями которой явились в те времена башни короля Рене.

Итак, мне не очень улыбалось, чтобы меня вышвырнули из башни Тараскона, и я, странствуя по югу, всегда старался объезжать этот милый

город. Но на сей раз злая судьба, желание обнять моего дорогого Мистраля, возможность попасть на скорый поезд только в Тарасконе — все это бросало меня прямо в пасть ко льву с клювом.

Один Тартарен — это бы еще куда ни шло: встреча с ним лицом к лицу, дуэль на отравленных стрелах под сенью деревьев Городского круга меня бы не испугала. Но гнев народа, и потом Рона, глубокая Рона!..

Ах! Смею вас уверить, что путь романиста не сплошь усеян розами…

Но — странное дело! Чем ближе мы подъезжали к городу, тем пустыннее становились дороги, тем реже попадались тележки с виноградом. Некоторое время спустя мы уже ничего не видели перед собой, кроме безжизненной белой дороги, а кругом царили простор и безлюдье глуши.

— Чудно! — тихо сказал слегка озадаченный Мистраль. — Можно подумать, что сегодня воскресенье.

— Если б воскресенье, звонили бы колокола… — так же тихо ответил мой сын, ибо в тишине, окутывавшей и город и предместье, было что-то подавляющее. Ни удара колокола, ни крика, ни звона наковальни, всегда так явственно слышного в струящемся воздухе юга, ничего. Но вот в

конце дороги показались первые здания окраины — маслобойня, свежеоштукатуренная таможня. Приехали.

Каково же было наше изумление, когда мы, въехав на мощеную улицу, обнаружили, что здесь никто не живет: двери и окна заколочены, ни кошек, ни собак, ни ребят, ни кур — ни души; у закопченного входа в кузницу нет больше двух колес, которые прежде стояли здесь по бокам; высокие рамы с сеткой, защищавшие тарасконские дома от мух, убраны с порогов, — они исчезли, как и сами мухи, как и чудесный запах супа с чесноком, запах, который в этот час клубами вырывался из кухонь.

Тараскон больше не пахнул чесноком — можете себе представить!

Мы с Мистралем в ужасе переглянулись. И то сказать: было от чего прийти в ужас. Приготовиться к реву разъяренной толпы, а вместо этого обрести мертвую тишину Помпеи!

В городе, где мы знали всех домовладельцев по именам, где каждая лавчонка была нам знакома с детства, ощущение пустоты и заброшенности еще усилилось. Закрыта аптека Безюке на Малой площади, оружейный магазин Костекальда тоже закрыт, кондитерская Ребюфа, где продавались

«наилучшие» леденцы, тоже. Исчезли дощечка на двери нотариуса Камбалалета и написанная на полотне вывеска Мари-Жозефа-Спиридиона Экскурбаньеса, изготовителя арльской колбасы, — надо вам сказать, что арльская колбаса всегда изготовлялась в Тарасконе, считаю своим долгом указать на этот исторический парадокс.

Но что те все-таки сталось с тарасконцами?

Мы ехали мимо Городского круга, под прохладною тенью платанов, поднимавших гладкие белые стволы на равном расстоянии один от другого, и не слышали стрекотанья цикад. Цикады — и те улетели! А перед домом Тартарена, домом с закрытыми ставнями, таким же слепым и немым, как и дома соседние, у низкой ограды знаменитого садика не осталось ни одного ящика для чистки обуви, и никто не кричал: «*Пчистим, гаспдин*?»

— Уж не холера ли? — сказал кто-то из нас.

В самом деле: когда в Тарасконе бывает эпидемия, население уходит из города, разбивает палатки на значительном от него расстоянии и пребывает там до тех пор, пока не пройдет зараза.

При слове «холера», которого все провансальцы безумно боятся, кучер ударил по лошадям, и

несколько минут спустя мы подъехали к лестнице вокзала, который находится на одном уровне с высоким виадуком, возвышающимся над городом.

Здесь жизнь била ключом, слышались человеческие голоса, мелькали человеческие лица. По расходившимся во все стороны рельсам беспрерывно катились поезда, брали подъем, шли под уклон, останавливались, и тогда хлопали дверцы вагонов и выкрикивались названия станций:

— Тараскон! Поезд стоит пять минут… Пересадка на Ним, Монпелье, Сет…

Мистраль побежал к начальнику станции, старому служаке, уже около тридцати пяти лет протрубившему на этом вокзале.

— Э, господин Пикар!.. А тарасконцы? Где же они? Что вы с ними сделали?

Начальник станции подивился нашей неосведомленности:

— Как?.. Вы ничего не знаете?.. Да вы что, с луны свалились?.. Газет не читаете?.. А ведь тарасконцы раззвонили на всю вселенную о своем острове — острове Порт-Тараскон… Да, да, почтеннейший… Тарасконцы уехали… Уехали во главе со знаменитым Тартареном основывать колонию… И увезли с собой все, захватили с собой

даже Тараска!

Тут он нас оставил и пошел на линию, чтобы отдать распоряжения, кого-то подстегнуть, а мы стали смотреть вниз, где в лучах заката высились башни, колокольни и колоколенки брошенного города и его древняя крепостная стена, которую солнце так чудесно разрумянило, что ее, право, можно было принять за поджаристую корку от паштета из дичи.

— А скажите, господин Пикар, — спросил Мистраль у начальника станции, с добродушной улыбкой возвращавшегося к нам и, по-видимому, нимало не огорченного кочевничеством Тараскона, — как давно они эмигрировали?

— Полгода назад.

— А какие-нибудь сведения о них есть?

— Никаких.

Увы! Некоторое время спустя мы получили эти сведения, сведения подробные и точные, что и дало мне возможность рассказать вам об исходе доблестного маленького народца, последовавшего за своим героем, и о посыпавшихся на тарасконцев бедах.

Паскаль сказал: «Нужно, чтобы было и утешительное и истинное, но нужно, чтобы и это

утешительное было основано на истинном»[96]. В истории Порт-Тараскона я пытался следовать его завету.

Мой рассказ основан на истинном, составлен по письмам эмигрантов, по «Мемориалу» юного секретаря Тартарена, по материалам, заимствованным из «Судебной газеты», и если все же вы кое-где наткнетесь на какую-нибудь из ряда вон выходящую тарасконаду, то, лопни мои глаза, не я ее выдумал![97]

Автор

---

[96] Примечания: 96

Цитата из книги французского физика и философа Блеза Паскаля (1623-1662) «Мысли».

[97] Примечания: 97

Отсылаю читателей к газетам, в которых двенадцать лет назад освещался процесс «Новой Франции» и колонии Порт-Бретон, а также к изданной Дрейфусом любопытной книге участника этой экспедиции, доктора Бодуэна (*Примеч. А. Доде.)*

Имеется в виду не Альфред Дрейфус, обвиняемый в знаменитом процессе, а Поль Дрейфус, издатель «Журнала морской торговли и колоний».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жалобы Тараскона на существующий порядок вещей. Быки. «Белые отцы». Тарасконец в раю. Осада и капитуляция Памперигустского аббатства

— Бранкебальм, дорогой мой!.. Я недоволен Францией!.. Правительство всюду сует свой нос.

Эти достопамятные слова, которые однажды вечером соответствующим тоном и с подобающими жестами произнес Тартарен в Клубе у камина, дают точное представление о том, что думали и говорили в Тарасконе-на-Роне за два, за три месяца до эмиграции. Обыкновенно тарасконец политикой не занимается: беспечный по природе, равнодушный ко всему, что не имеет к нему непосредственного отношения, он, по его собственному выражению, стоит за существующий порядок вещей. Однако с некоторых пор он пришел к выводу, что существующий порядок вещей требует существенных изменений.

— Правительство всюду сует свой нос! — твердил Тартарен.

Под этим «всюду» подразумевалось прежде всего запрещение боя быков.

Вы, конечно, знаете историю одного тарасконца, дурного христианина и первостатейного негодяя, который после смерти случайно проскочил в рай в тот момент, когда апостол Петр отвернулся, и потом ни за что не хотел оттуда уходить, как ни молил его всехвальный ключарь. Что же тогда предпринял первоверховный апостол? Он отрядил целый сонм ангелов кричать что есть мочи перед райскими вратами: «Эй! Эй!.. Быки!.. Эй! Эй!.. Быки!..» Так кричат в Тарасконе, когда начинается бой быков. Услышав это, разбойник изменился в лице:

— Разве у вас, апостол Петр, бывают здесь бои быков?

— Бои быков?.. А как же!.. Замечательные, я тебе скажу, бои, почтеннейший.

— Но где же… где же они происходят?

— Перед раем… Там, понимаешь, просторно.

Тарасконец стремглав бросился смотреть бой быков, и двери рая закрылись для него навсегда.

Привел я здесь эту легенду, такую же древнюю, как скамейки на Городском кругу, только для того, чтобы читатели могли себе представить, как обожают тарасконцы бой быков и как они

возмутились, когда на этот вид зрелищ был наложен запрет.

За этим последовал указ о выселении «белых отцов» и о закрытии их прелестного монастыря в Памперигусте, сотни лет стоявшего на холмике, сером от тимьяна и лаванды, неподалеку от городской окраины, откуда видны среди сосен кружевные монастырские колоколенки, чей перезвон в прозрачном утреннем воздухе сливался с трелями жаворонков, а в сумерки — с печальными криками куликов.

Тарасконцы очень любили «белых отцов», ласковых, добрых, безобидных, умевших настаивать на душистых травах, росших на горке, великолепный эликсир. Любили они их и за паштеты из ласточек, и за их превкусные *пампери*, то есть за пирожки с тонкой золотистой корочкой, внутри которых была айва, откуда, собственно, и повелось название аббатства — Памперигуст.

И вот когда отцы, получив официальное уведомление о том, что им надлежит покинуть обитель, не подчинились приказу, тарасконская меньшая братия — тысячи полторы-две носильщиков, чистильщиков обуви, грузчиков, словом, так называемое простонародье, — заперлась вместе с честными иноками в Памперигусте.

Тарасконские мещане и завсегдатаи Клуба во главе с Тартареном, разумеется, тоже выразили желание поддержать это правое дело. Они не колебались ни одной минуты. Но без подготовки в подобные предприятия не пускаются. Поступать необдуманно — это к лицу меньшой братии.

Прежде всего потребовались соответствующие наряды. И наряды были заказаны, заказаны превосходные одеяния времен крестовых походов — длинные черные балахоны с большим белым крестом на груди и с вышитыми галуном скрещенными костями спереди, сзади, всюду. На вышиванье ушло особенно много времени.

Когда же все было готово, оказалось, что монастырь окружен. Войска, расположившись лагерем в полях и на кремнистых склонах холмика, сжали обитель тройным кольцом.

Красные штаны среди тимьяна и лаванды напоминали издалека буйно цветущие маки.

На дорогах можно было каждую минуту наткнуться на разъезд; у всадников вдоль бедра свешивался карабин, за поясом торчала кобура револьвера, сабля в ножнах хлопала коня по боку.

Но подобной дислокацией невозможно было запугать бесстрашного Тартарена и большинство

клубных завсегдатаев, решивших во что бы то ни стало пробиться к монастырю.

Принимая все меры предосторожности, пускаясь на классические хитрости куперовских дикарей, они то ползли один за другим мимо погруженных в сон неприятельских палаток, то обходили часовых и разъезды, давая друг другу знать об опасности неумелым подражанием птичьим крикам, и, наконец, миновали расположение осаждающих войск.

Какую нужно было иметь храбрость, чтобы пойти на такой риск в лунную ночь, когда светло, как днем! Справедливость требует, впрочем, заметить, что в интересах осаждающих было пропустить в монастырь как можно больше народу.

Целью войска было взять монастырь не силой, а измором. Поэтому солдаты, завидев при месячном и звездном свете блуждающую тень, сейчас же отворачивались. Офицеры, которым не раз доводилось пить в Клубе абсент со знаменитым истребителем львов, узнавали Тартарена издали, несмотря на его маскарад, и дружески его приветствовали:

— Доброго здоровья, господин Тартарен!

Придя в обитель, Тартарен немедленно организовал оборону.

Этот молодец удосужился прочесть все книги об осаде и о блокаде. Сформировав тарасконское ополчение под командой бравого командира Бравида, он, исходя из опыта Севастополя и Плевны, заставил ратников ополчения рыть, рыть и рыть землю и окружил аббатство валами, рвами и всякого рода фортификационными сооружениями, кольцо которых все сжималось и сжималось, так что в монастыре нечем стало дышать, и осажденные как бы сами себя замуровали в толще своих укреплений, а осаждающим только этого и надо было.

В монастыре, превращенном в крепость, была введена военная дисциплина. При осадном положении так оно и следовало. Все делалось под бой барабана и под звуки труб.

Людей чуть свет будил барабан, рокотавший во дворе, в коридорах, под сводами. Барабан бил с утра до вечера — он скликал на молитву: трата-та, призывал отца казначея: трата-тата, отца эконома: трата-тата-та. Звуки труб, громкие, повелительные, отрывистые, резали слух. Трубили к вечерне, к утрене, к обедне. Это был позор для осаждающего войска, производившего гораздо меньше шума на просторе полей, тогда как на вершине холмика, за тонкими зубцами аббат-

ства-крепости, трубный звук и барабанный бой, сливаясь с перезвоном колоколов, порождали торжествующую разноголосицу, и эта полувоинственная, полусвященная радостная песнь разносилась далеко окрест.

Между тем осаждающие, черт бы их душу взял, спокойно стояли себе станом, ни о чем не заботились, легко раздобывали съестные припасы и целыми днями пировали. Прованс, страна лакомств, производит столько вкусных вещей! Прозрачные золотистые вина, арльские сосиски и колбасы, нежные дыни, сочные арбузы, монтелимарская нуга — всем этим наслаждались правительственные войска, а в блокированном аббатстве только облизывались.

Итак, с одной стороны, солдаты, которым прежде и во сне не снился такой праздник, которые жирели до того, что на них лопались мундиры, и кони с округлившимися лоснящимися крупами, а с другой — увы! — бедные тарасконцы, точнее, бедные тарасконские простолюдины: они рано вставали, поздно ложились, выбивались из сил, вечно находились в движении, днем и ночью копали и возили на тачках землю; опаляемые солнцем и огнем факелов, они сохли и худели так, что жалость брала на них смотреть.

В довершение всего запасы их преподобий были на исходе: пампери и паштеты из ласточек подходили к концу.

Сколько еще можно держаться?

Этот вопрос обсуждался ежедневно на земляных валах и насыпях, трескавшихся от засухи.

— А эти трусы все не идут в атаку! — говорили тарасконцы, показывая кулак красным штанам, валявшимся на траве под соснами. Мысль же о том, чтобы самим идти в атаку, не приходила им в голову — так силен в этом храбром народце инстинкт самосохранения.

Один-единственный раз неугомонный Экскурбаньес предложил устроить грандиозную вылазку, выставив монахов вперед, и опрокинуть наемное войско.

Тартарен пожал своими могучими плечами и сказал ему в ответ:

— Дитя!

Затем он взял пылкого Экскурбаньеса под руку и, приведя его на самый верх контрэскарпа, широчайшим жестом обвел войсковые соединения, расположившиеся по уступам холма, и патрули, расставленные на каждой тропинке.

— Кто осаждает: они или мы?.. Разве мы должны идти на приступ?..

Вокруг послышался одобрительный шепот:

— Конечно… Он прав… Начать должны они, раз они осаждают…

И тарасконцы лишний раз убедились, что военную тактику Тартарен изучил лучше всех.

Тем не менее нужно было на что-то решиться.

И вот однажды в большой зале капитула, зале с высокими окнами и резной деревянной панелью, собрался совет, и отец эконом представил отчет о ресурсах крепости. Все «белые отцы» слушали его молча, выпрямившись на своих *пожалей-мою-старость* — этих ханжеских полусиденьях, на которых монахи сидели так, что казалось, будто они стоят.

Отчет отца эконома оказался ох каким плачевным! Сколько тарасконцы сожрали с начала осады! Столько-то сотен паштетов из ласточек, столько-то тысяч пампери, столько-то того, столько-то сего! От всех тех изделий, которые перечислил отец эконом и которыми монастырь вначале был вполне обеспечен, осталось мало, совсем мало, можно сказать — ничего.

У святых отцов вытянулись лица, они переглянулись, и каждый про себя решил, что если бы к ним не пришли на помощь, то при условии, что неприятель не прибегнул бы к крайним

мерам, они могли бы, ни в чем решительно не нуждаясь, протянуть несколько лет. Отец эконом монотонно и уныло продолжал читать, как вдруг послышались крики.

Дверь в залу с шумом распахнулась, и на пороге появился Тартарен, весь красный, взволнованный, с трагическим выражением лица, с всклокоченной бородой, вздымавшейся над белым крестом. Отсалютовав шпагой сперва настоятелю, державшемуся прямо на своем *пожалей-мою-старость,* а затем поочередно всем членам капитула, он торжественно заявил:

— Ваше высокопреподобие! Я ничего не могу поделать с моими людьми… Они мрут с голоду… Все водоемы пусты. Мы должны или сдать крепость, или похоронить себя под ее обломками.

Тартарен умолчал о том, что являлось для него огромным лишением: он уже две недели не пил по утрам шоколаду, а между тем он спал и видел густой, дымящийся маслянистый шоколад, который он привык запивать холодной прозрачной водой, здесь же, в монастыре, ему приходилось довольствоваться солоноватой водой из водоемов.

Совет тотчас же встал, и все заговорили разом; решение было вынесено единодушно:

— Сдать крепость… Крепость необходимо

сдать…

Один лишь отец Баталье, человек горячий, предложил взорвать монастырь остатками пороха и вызвался сам поджечь фитиль.

Но отца Баталье не стали слушать, и, как только спустилась ночь, монахи и ратники ополчения вместе с Экскурбаньесом, Бравида, Тартареном и прочими клубными завсегдатаями — одним словом, все защитники Памперигуста, оставив ключи в замочных скважинах, на сей раз без барабанов и горнов вышли из монастыря и вереницею озаренных луной призраков молча спустились с холма, провожаемые добродушными взглядами вражеских часовых.

Приснопамятная защита аббатства покрыла Тартарена неувядаемой славой, но после того, как войска заняли обитель «белых отцов», тарасконцы затаили злобу в сердце своем.

II

Аптека на Малой площади. Появление северянина. «С нами бог, ваша светлость!» Рай за морем

Некоторое время спустя после закрытия аббат-

ства аптекарь Безюке в обществе своего ученика Паскалона и его преподобия отца Баталье вдыхал у дверей аптеки вечернюю прохладу.

Надо вам сказать, что тарасконцы приютили рассеявшихся монахов у себя. Каждая тарасконская семья пожелала взять к себе «белого отца». Люди зажиточные, как, например, лавочники, почтенные буржуа, брали на свое иждивение каждый по одному монаху, а ремесленники составляли товарищества и содержали святых отцов в складчину.

В любой лавке можно было видеть белую рясу с капюшоном. У оружейника Костекальда, среди ружей, карабинов и охотничьих ножей, за прилавком у галантерейного торговца Бомвьейля, из-за рядов катушек с шелковыми нитками, выглядывала большая белая птица, напоминавшая ручного пеликана. «Белые отцы» приносили в дом счастье. Обходительные, покладистые, всем довольные, скромные, они никого не стесняли, умели вовремя стушеваться, и вместе с тем от них исходил дух кротости и незлобия, тарасконцам несвойственный.

Казалось, сам господь посетил тарасконские жилища: мужчины перестали браниться и сквернословить, женщины больше не лгали

или, вернее, почти не лгали, малыши были паиньками и держались прямо на своих высоких стульчиках.

Утром и вечером, перед завтраком и после ужина, когда полагалось читать: «Благослови...» и «Благодарим тебя...», большие белые рукава, точно крылья ангела-хранителя, приосеняли собравшуюся за столом семью, и с этой почившей на них благодатью тарасконцы уже не могли не вести жизнь благочестивую и праведную.

Каждый из них гордился своим иноком, расхваливал его, хвастался им, в особенности же — аптекарь Безюке, которому благая судьба послала отца Баталье.

Порывистый, пылкий, проповедник по призванию, славившийся своим искусством рассказывать притчи и легенды, его преподобие отец Баталье был чудный малый, хорошо сложенный, загорелый, с глазами как угли, и притом настоящий сорвиголова. Плотная ряса с длинными складками придавала ему внушительный вид, несмотря на то, что одно плечо у него было выше другого и ходил он как-то боком.

Эти его мелкие недостатки становились совсем незаметными, когда, окончив проповедь, но все еще дрожа от волнения, потрясенный соб-

ственным красноречием, он сходил с кафедры и, задрав нос кверху, поспешно пробирался в толпе по направлению к ризнице. Его восторженные поклонницы на ходу отрезали ножницами кусочки от его белой рясы; по сему обстоятельству он получил прозвище «инока с фестончиками», и ряса его всегда была так изрезана и так быстро изнашивалась, что одевать отца Баталье являлось для монастыря делом весьма нелегким.

Итак, Безюке расположился с Паскалоном возле аптеки, а напротив верхом на стуле восседал отец Баталье. Они блаженствовали на свежем воздухе и наслаждались безмятежным покоем, ибо в это время дня в аптеку к Безюке никто уже не заходил. Равным образом ночью тарасконцы вольны были корчиться и извиваться от боли — доблестный аптекарь ни за какие блага в мире себя не тревожил: по ночам порядочные люди, дескать, не хворают.

Безюке и Паскалон слушали одну из тех прелестных историй, которые так хорошо умел рассказывать его преподобие, а в это время где-то далеко били вечернюю зорю, и она долетала сюда вместе со всею музыкой роскошного летнего заката.

Вдруг ученик вскочил и, весь красный, взвол-

нованный, показывая на противоположную сторону площади, пролепетал:

— Вон господин Та-Та-Тартарен!

Читатели, верно, уже заметили, что Паскалон питал особое, необыкновенное уважение к этому великому человеку, жестикулирующая тень которого вырисовывалась в огнистой предвечерней мгле рядом с каким-то изысканно одетым незнакомцем в серых перчатках, молча шагавшим и, по-видимому, слушавшим своего спутника.

Кто-нибудь с Севера, — это было совершенно ясно.

На юге Франции северянина сразу можно узнать по сдержанности, по неторопливости и сжатости речи, подобно тому как южанин сейчас же выдает себя повышенной жестикуляцией и словоизвержениями.

Тарасконцам нередко приходилось видеть Тартарена в обществе иностранцев, ибо все проездом через Тараскон считали своим долгом посетить местную достопримечательность — знаменитого истребителя львов, досточтимого альпиниста,

современного Вобана[98], покрывшего себя славой во время осады Памперигуста.

Наплыв посетителей открыл в истории Тараскона эру дотоле невиданного благоденствия.

Содержатели гостиниц богатели; в книжных магазинах продавалась биография великого человека; во всех витринах красовались его портреты — Тартарен был запечатлен на них в разных видах, знаменовавших различные этапы его героического жизненного пути: в костюме *тэрка,* в костюме альпиниста, в костюме крестоносца.

Но на сей раз с Тартареном был не обычный посетитель, не случайный залетный гость.

Перейдя площадь, герой величественным жестом указал на своего спутника:

— Дорогой Безюке и вы, ваше преподобие! Позвольте вам представить его светлость герцога Монского…

Герцога!.. А, чтоб!..

Герцога в Тарасконе еще не бывало. Тарасконцы чего-чего только не видели на своем веку: и верблюда, и баобаб, и львиную шкуру, и коллекцию

---

[98] Примечания: 98

Вобан Себастьян ле Претр (1633-1707) — крупнейший французский военный инженер, строитель пограничных укреплений Франции, восемь раз осаждавший города и трижды победоносно защищавший осажденные крепости.

отравленных стрел, и почетные альпенштоки… Но герцогов — никогда!

Безюке, слегка оробев при мысли, что столь высокая персона застала его врасплох, встал и поклонился.

— Ваша светлость!.. Ваша светлость!.. — бормотал он.

Тартарен перебил его:

— Войдемте, господа, — нам нужно потолковать о важном деле.

Он пригнулся и с таинственным видом первый прошел в маленькую гостиную при аптеке, единственное окно которой, выходившее на площадь, служило витриной, где были выставлены заспиртованные зародыши, банки с солитерами, словно затянутыми в полосатое трико, и пакетики камфарных папирос.

Как истые заговорщики, они плотно затворили за собой дверь. В аптеке остался один Паскалон, которому Безюке дал наказ принимать посетителей, но ни под каким видом никого из них не подпускать к гостиной.

Озадаченный ученик принялся расставлять по полкам коробки с грудной ягодой, пузырьки с sirupus gummi и другие аптекарские товары.

По временам до него доносился шум, в котором

он различал глухой голос Тартарена, произносившего какие-то необыкновенные слова: «Полинезия... земной рай... сахарный тростник, винокуренные заводы... Свободная колония». Затем послышался возглас отца Баталье: «Браво! Я согласен». Зато северянин говорил так тихо, что его совсем не было слышно.

Паскалон приложил было ухо к замочной скважине, как вдруг дверь с треском распахнулась, ибо ее — *manu militari*[99] — привела в движение мощная длань святого отца, и ученик откатился на противоположный конец аптеки. Но в суматохе никто не обратил на него внимания.

Тартарен остановился на пороге и, показав пальцем на головки мака, сушившиеся под потолком, с видом архангела, потрясающего мечом, воскликнул:

— С нами бог, ваша светлость! Нам предстоят великие дела!

За этим последовала путаница протянутых рук, которые одна другую искали, переплетались, одна другую пожимали, одна другую энергично встряхивали, как бы для того, чтобы навеки скрепить нерушимое обязательство. Разгоряченный

---

[99] Примечания: 99
здесь: страшным ударом *(лат.)*

этим порывом, Тартарен выпрямился, как будто бы вырос и вместе с герцогом Монским вышел из аптеки, чтобы продолжить обход города.

Два дня спустя на столбцах двух тарасконских газет — «Форума» и «Свирели» — появилось множество статей и реклам, касавшихся одного грандиозного начинания. Общий заголовок был набран крупными буквами: «***СВОБОДНАЯ КОЛОНИЯ ПОРТ-ТАРАСКОН***». Под ним были напечатаны сногсшибательные объявления: «*Продается земля по пяти франков за гектар, дающая несколько тысяч франков годового дохода... Можно быстро и без всякого риска нажить состояние... Требуются колонисты*».

Далее следовало описание острова, где должна была основаться предполагаемая колония, причем указывалось, что вокруг этого острова, купленного у короля Негонко герцогом Монским во время его путешествия, расположены другие острова, которые можно будет приобрести впоследствии, дабы расширить территорию колонии.

Климат райский, температура, несмотря на близость экватора, умеренная, между двадцатью пятью и двадцатью восемью, с колебаниями в пределах двух-трех градусов. Земля в высшей

степени плодородная, обильно орошаемая; кругом леса; остров круто поднимается над уровнем моря, что даст возможность каждому выбрать себе высоту соответственно своему темпераменту. Съестного сколько угодно, деревья увешаны дивными плодами, в лесах и в полях водится разнообразная дичь, в реках полно рыбы. С точки зрения коммерческой и навигационной опять-таки все великолепно: чудный рейд, на котором может стоять целая флотилия, надежная гавань, защищенная молами, внутренний рейд, сухой док, набережная, дебаркадер, маяк, сигнальная мачта, паровые краны — все, что угодно.

Работы уже начаты китайскими и канакскими рабочими под руководством крупнейших инженеров по проектам выдающихся архитекторов. Колонистов ожидают комфортабельные помещения, а за доплату всего лишь в пятьдесят франков при помощи некоторых сложных комбинаций дома могут быть отделаны на любой вкус.

Можете себе представить, как разыгралось воображение тарасконцев, когда они прочитали об этих чудесах! В каждой семье строились планы. Один мечтал о зеленых ставнях, другой — о красивом подъезде. Кто предпочитал кирпич, а кто — песчаник.

Тарасконцы рисовали, раскрашивали и все пристраивали и пристраивали: недурно бы еще и голубятню, не мешало бы еще и флюгер.

— Ах, папа, а веранда?

— Ну что ж, дети мои, веранда так веранда!

Куда, мол, ни шло!..

Пока богатейшая фантазия славных жителей Тараскона трудилась над благоустройством идеальных помещений, все южные газеты успели перепечатать статьи из «Форума» и «Свирели», а все южные города и селения были наводнены проспектами с виньетками в виде пальм, кокосов, бананов, латаний — словом, тут была представлена вся экзотическая флора. Во всем Провансе велась яростная пропаганда.

По пыльным дорогам тарасконских пригородов крупной рысью мчался кабриолет Тартарена, и правил своим кабриолетом он сам, а рядом, тесно к нему прижавшись, сидел на передке отец Баталье, так что спины их служили опорой для герцога Монского, прикрывавшего лицо зеленой вуалью от заедавших его москитов, которые неотступно вились вокруг него жужжащими полчищами, жаждавшими крови северного человека, и жалили немилосердно, так жалили, что от их укусов у него распухло лицо.

Да, это был настоящий северянин! Ни одного жеста, ни одного лишнего слова, и какая выдержка!.. Он не заносился, он ничего не преувеличивал, он смотрел на вещи трезво. На него вполне можно было положиться.

И на маленьких площадях, затененных листвою платанов, в старинных предместьях, в засиженных мухами кабачках, в танцевальных залах — всюду произносились напутственные слова, проповеди, устраивались совещания.

Герцог Монский кратко и точно, с той простотой, какой требует нагая истина, перечислял красоты Порт-Тараскона и выгоды этого предприятия. Монах произносил пламенные речи в духе Петра Пустынника[100] и призывал к эмиграции. Тартарен, окутанный дорожной пылью, словно пороховым дымом, выкрикивал своим зычным голосом громкие слова: «Торжество, победа, новое отечество», — которые он решительным жестом как бы посылал куда-то далеко, через головы слушателей.

Иной раз устраивались дискуссии в форме вопросов и ответов:

— А что, ядовитые животные там водятся?

---

[100] Примечания: 100

Петр Пустынник (умер в 1115 г.) — французский монах, проповедовавший во Франции крестовый поход.

— Ни одного нет. Ни одной змеи. Даже москитов нет. Диких зверей тоже нет совершенно.

— Но говорят, в Океании живут людоеды?

— Что вы! Там все вегетарианцы…

— Правда, что дикари ходят нагишом?

— Это похоже на правду, но только далеко не все. Ну да мы их оденем.

Статьи, собрания — все это имело успех головокружительный. Простаки снимались с места сотнями, тысячами, число эмигрантов все возрастало — и не только за счет Тараскона: эмигранты прибывали со всего юга Франции! Даже из Бокера. Да, кстати: Тараскон считал жителей Бокера изрядными нахалами.

Эти два соседних города, разделенные одною лишь Роной, питают друг к другу вековую затаенную ненависть, которая, видимо, не пройдет никогда.

Если вы станете доискиваться причин, то обе стороны ответят вам ничего не значащими словами.

— Знаем мы этих тарасконцев… — с загадочным видом говорят бокерцы.

А тарасконцы, лукаво подмигивая, заявляют:

— Всем известно, что такое господа бокерцы.

Как бы то ни было, города эти друг с другом

не общаются, мост перекинут между ними зря. Все равно никто по нему не ходит. Во-первых, по причине вражды, а во-вторых, вот почему: из-за силы ветра и ширины реки в этом месте переход через мост считается опасным.

Но хотя колонистов из Бокера и не принимали, однако вносить деньги никому не возбранялось. Пресловутые «пятифранковые гектары» (доход — несколько тысяч франков) разбирались нарасхват. Не менее охотно принимались от всех сочувствовавших этому делу пожертвования на нужды колонии. «Форум» печатал списки пожертвований; среди них попадались вещи самые неожиданные:

От неизвестного: *коробочка с бусами.*

» » *комплект номеров «Форума».*

» г-на Бекуле: *сорок пять головных сеток из синели и бусы для индианок.*

» г-жи Дурладур: *полдюжины носовых платков и полдюжины ножей для церковного причта.*

От неизвестной: *вышитое знамя для хорового кружка.*

» Магелоны из Андюза: *чучело фламинго.*

» семейства Марг: *семьдесят два собачьих ошейника.*

» неизвестного: *расшитый галуном камзол.*

» **одной набожной марсельской дамы:** *риза, золотая обшивка на стихарь для кадилоносца и воздух для дароносицы.*

» **нее же:** *коллекция жесткокрылых под стеклом.*

И в каждом списке непременно значилось приношение мадемуазель Турнатуар: «*Полный комплект одежды для дикаря*». Так добрая старая дева неукоснительно выражала свою заботу о диких племенах.

Целые ящики диковинных, фантастических даров, в которых сказывалась вся причудливость южного воображения, отправлялись в Марсель — в доки, на склады Свободной колонии. Центр деятельности герцога Монского находился там.

Дело у него было поставлено на широкую ногу; сидя в своем роскошном кабинете, он учреждал то Общество производства сахара из тростника, то Общество обработки трепангов — этой особой разновидности моллюсков, которые, как указывалось в объявлении, в большой цене у китайцев, потому что в Китае трепанги считаются лакомым блюдом. Каждый день у неутомимого герцога рождалась какая-нибудь новая идея, каждый день он затевал какое-нибудь грандиозное предприятие, а вечером того же дня оно претворялось

в жизнь.

Между делом он организовал товарищество марсельских акционеров под председательством греческого банкира Кагараспаки, капиталы же этого товарищества он предложил поместить в турецкий банк Паменьян-бен-Кага, солидность которого не вызывала сомнений.

Тартарен вел теперь самый беспокойный образ жизни — он то и дело сновал из Тараскона в Марсель, из Марселя в Тараскон. Он разжигал энтузиазм своих сограждан, вел среди них пропаганду и вдруг садился на скорый поезд и мчался на какое-нибудь совещание, на заседание акционеров. Его преклонение перед герцогом росло день ото дня.

Всем он ставил в пример хладнокровного герцога Монского, благоразумного герцога Монского.

— Можете быть спокойны: уж кто-кто, а он не склонен к преувеличениям! У него не может быть тех миражей, в которых нас упрекал Доде.

В противоположность Тартарену герцог нигде не показывался, вечно прикрывался вуалью от москитов и совсем мало говорил. Северянин стушевывался перед южанином, постоянно выдвигал его вперед и предоставлял его неистощимому красноречию давать объяснения,

обещания и всевозможные обязательства. Сам же отделывался одной фразой:

— В мой замысел посвящен только господин Тартарен.

Можете себе представить, как Тартарен этим гордился!

III

«Порт-тарасконская газета». Добрые вести из колонии. В Полигамии. Тараскон готовится сняться с якоря. «Не выезжайте, ради бога, не выезжайте!»

Однажды утром тарасконцы, проснувшись, увидели, что на всех перекрестках расклеена депеша следующего содержания:

> «Сегодня на рассвете, приняв на борт вместе с судьбою целого народа всякую всячину для дикарей и партию земледельческих орудий, из Марселя вышло большое парусное судно „Фарандола“ водоизмещением в тысячу двести тонн. На „Фарандоле“ восемьсот эмигрантов, все до одного — тарасконцы; среди них

военный губернатор колонии Бомпар, врач-фармацевт Безюке, его преподобие отец Везоль и нотариус Камбалалет, землемер колонии. Я сам проводил их в открытое море. Все идет отлично. Герцог сияет. Прикажите опубликовать.

Тартарен из Тараскона»

Телеграмма, расклеенная по всему городу усилиями Паскалона, которому она и была послана, обрадовала граждан. Город принял праздничный вид, жители высыпали на улицы, народ толпился вокруг каждого листка и читал депешу, радостная весть передавалась из уст в уста: «На „Фарандоле“ восемьсот эмигрантов… Герцог сияет…» Сияли и все тарасконцы.

Это уже вторую партию эмигрантов, месяц спустя после первой, отбывшей на пароходе «Люцифер», отправлял таким образом из Марселя в обетованную землю Тартарен, принявший на себя высокое звание и сложнейшие обязанности порт-тарасконского губернатора. Оба раза — такая же депеша, такой же восторг, и все так же сиял герцог. К несчастью, «Люцифер» застрял у входа в Суэц. С ним стряслась беда: сломался вал, и этот старый, купленный по случаю пароход вынужден был остановиться и ждать, пока «Фа-

рандола» нагонит его и подаст ему помощь.

Происшествие это, которое можно было счесть дурным предзнаменованием, нисколько, однако, не охладило колонизационный пыл тарасконцев. Впрочем, на борту первого судна находилась одна меньшая братия. Вы же знаете, что простолюдинов всегда посылают вперед. На «Фарандоле» тоже находилась меньшая братия, но уже вперемежку с горячими головами, вроде нотариуса Камбалалета, землемера колонии.

Аптекарь Безюке, человек мирный, несмотря на свои огромные усы, любивший удобства, боявшийся и жары и холода, не питавший особого пристрастия к далеким путешествиям и опасным приключениям, долго не соглашался сесть на корабль.

Лишь диплом врача, которого он жаждал всю жизнь, мог его на это подвигнуть, и диплом этот присудил ему своею властью порт-тарасконский губернатор.

Чего-чего только наш губернатор не навыдавал, каких только дипломов и свидетельств, кого и кем только не назначал: одних — начальниками, других — заместителями начальников, третьих — секретарями, четвертых — уполномоченными, сановниками первого класса, сановниками

второго класса, тем самым утоляя страсть своих сограждан к титулам, почестям, знакам отличия, мундирам и галунам.

Вот только отец Везоль в подобных поощрениях не нуждался. Этот душа-человек всегда был на все согласен, всем доволен и во всех случаях жизни говорил: «Слава тебе, господи!» Выгнали из монастыря — «Слава тебе, господи!». Загнали на большое парусное судно вместе с меньшою братией, вместе с судьбой целого народа и всякой всячиной для дикарей — все равно; «Слава тебе, господи!»

После ухода «Фарандолы» в Тарасконе остались лишь дворяне и мещане. И тем и другим не к чему было торопиться: пусть, мол, передовой отряд подаст о себе весть по приезде, тогда будет видно, как им поступить.

Тартарен пока тоже не уезжал: губернатор, организатор, осуществлявший идею герцога Монского, мог покинуть Францию только с последней партией. Но в ожидании чаемого дня он, по обыкновению, отдавал все свои силы, весь свой душевный жар тому делу, за которое взялся.

Без устали снуя между Тарасконом и Марселем, неуловимый, точно метеор, которого увлекает за собой какая-то неведомая сила, он появлялся то

здесь, то там и исчезал снова.

— Не переутомляйтесь, учи-и-итель!.. — блеял Паскалон по вечерам при виде доблестного мужа, который входил в аптеку, сгорбившись и обливаясь потом.

Но Тартарен сейчас же выпрямлялся.

— Я отдохну *там.* За дело, Паскалон, за дело!

Ученик по совместительству с заведованием аптекой, которое перешло к нему после отъезда Безюке, занимал несколько еще более ответственных должностей.

Чтобы столь успешно начатая пропаганда не прекращалась, Тартарен издавал «Порт-тараскон-скую газету», которую Паскалон по указаниям и под верховным руководством губернатора писал сам от первой до последней строчки.

Такого рода совмещение обязанностей было несколько невыгодно для аптеки: писание статей, чтение корректур, поездки в типографию — все это не оставляло времени для приготовления лекарств, но… Порт-Тараскон прежде всего!

Газета ежедневно давала жителям метрополии сведения о колонии. В каждом номере печатались статьи о ее естественных богатствах, о ее красотах, о том блестящем будущем, какое ее ожидает. Были там и отдел происшествий, и

смесь, и рассказы на все вкусы.

Рассказы о путешествиях, об открытиях островов, о завоеваниях, о битвах с дикарями были рассчитаны на любителей приключений. Помещикам предлагались рассказы об охоте в лесах, о потрясающих уловах в обильных рыбою реках с описанием способов ловли, а также снастей, применяемых туземцами.

Люди, более мирно настроенные, как-то лавочники и домоседы-мещане, наслаждались описанием завтраков прямо на свежем воздухе, на травке, возле прядающего с камней ручья, под сенью причудливых, раскидистых деревьев. Тарасконцы мысленно переносились туда и словно ощущали во рту сок вкусных плодов — плодов манго, ананаса, банана.

«И при всем том ни единой мухи!» — уверяла газета, а в Тарасконе, как известно, мухи отравляли любую увеселительную прогулку.

Газета печатала даже роман под названием «Прекрасная тарасконка» о дочери колониста, похищенной сыном папуасского короля, и перипетии этой любовной драмы открывали широкий простор воображению молодежи. В финансовом отделе помещались сообщения о ценах на колониальные товары, объявления о

выпуске земельных акций и акций сахарных и винокуренных заводов, а также списки подписчиков и пожертвованных вещей, которые все продолжали поступать, в том числе одежда для дикарей от мадемуазель Турнатуар.

Ради таких частых приношений непорочной деве пришлось завести у себя дома самую настоящую мастерскую готового платья. Впрочем, не у нее одной в связи с предстоявшим переездом на неведомые далекие острова появились необычные заботы.

Как-то раз Тартарен спокойно сидел в своем домике, нежась в мягких туфлях и в халате и, однако, не бездействуя, ибо на столе перед ним были разбросаны бумаги и книги: описания путешествий Бугенвиля, Дюмон-Дюрвиля[101], сочинения о колонизации, труды о различных сельскохозяйственных культурах. Среди отравленных стрел, в двух шагах от баобаба, крохотная тень которого трепетала на шторах, он изучал «свою колонию» и забивал себе голову сведени-

[101] Примечания: 101

Бугенвиль Луи-Антуан (1729-1811) — французский мореплаватель, открывший многие острова Полинезии; опубликовал в 1771 году книгу «Кругосветное путешествие». Дюмон-Дюрвиль Жюль-Себастьян-Сезар (1790-1842) — французский мореплаватель, исследователь Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Полинезии, где он разыскивал экспедицию Лаперуза.

ями, почерпнутыми из книг. Между делом он подписывал кому-нибудь свидетельство, переводил какого-нибудь сановника из второго класса в первый или же, чтобы по возможности утишить честолюбивый пыл своих сограждан, учреждал на бумаге новую должность.

Он все еще трудился, тараща глаза и надувая щеки, как вдруг ему доложили, что какая-то дама под черной вуалью, отказавшаяся назвать свое имя, хочет с ним поговорить. Не пожелав войти к нему в дом, она осталась ждать в саду, и, услышав это, Тартарен, как был, в халате и в туфлях, устремился к ней.

День угасал, сумерки скрадывали очертания предметов, но ни наступившая темнота, ни густая вуаль не помешали Тартарену сейчас же узнать посетительницу по одним ее горящим глазам, сверкавшим сквозь тюль.

— Госпожа Экскурбаньес!

— Господин Тартарен! Перед вами глубоко несчастная женщина.

Голос у нее дрожал от слез. Добряк расчувствовался и заговорил с ней отеческим тоном:

— Бедная моя Эвелина! Скажите, что с вами?..

Тартарен звал по имени почти всех дам в городе, — он знал их еще девочками, потом, в качестве

представителя муниципалитета, выдавал их замуж, он был их наперсником, другом, он был для них чем-то вроде дядюшки.

Он взял Эвелину за руку и стал ходить с ней вокруг бассейна с красными рыбками, а она начала рассказывать ему о своих горестях, о своих семейных неурядицах.

С тех пор как пошли разговоры о переселении в далекие края, Экскурбаньес при всяком удобном случае с видимым удовольствием говорил ей шутливо-угрожающим тоном:

— Вот увидишь, вот увидишь, дай нам только переехать в эту самую *Полигамию*...

Будучи женщиной крайне ревнивой, но в то же время простодушной, даже отчасти приглуповатой, она принимала эту шутку всерьез.

— Правда ли, господин Тартарен, что в этой ужасной стране мужчины могут жениться несколько раз?

Он мягко разуверил ее:

— Да нет же, милая Эвелина, вы ошибаетесь! Все дикари на наших островах моногамны. Нравы у них и без того строгие, а им еще предстоит перейти под начало к «белым отцам», так что с этой стороны опасаться нечего.

— А откуда же тогда название страны?.. Эта

самая *Полигамия?*..

Тут только до Тартарена дошло озорство великого насмешника Экскурбаньеса, и он так и покатился со смеху:

— Ваш муж над вами подтрунивал, моя крошка. Страна называется не *Полигамия,* а *Полинезия,* что значит — группа островов, и опасного для вас тут ничего нет.

Сколько смеху было потом в Тарасконе!

Между тем дни шли за днями, а писем от эмигрантов не было — были только телеграммы, которые герцог пересылал в Тараскон из Марселя. Телеграммы эти, в спехе посылавшиеся из Адена, из Сиднея, во время остановок «Фарандолы», отличались чрезвычайной сжатостью.

Впрочем, тут не было ничего удивительного, если принять во внимание тарасконскую лень.

Собственно говоря, зачем писать письма? Достаточно телеграмм. А телеграммы, которые регулярно печатала «Порт-тарасконская газета», неизменно содержали в себе добрые вести:

> «Путешествие чудесное, море как зеркало, все здоровы».

Для поддержания энтузиазма больше ничего и

не требовалось.

Наконец однажды на первой странице газеты появилась следующая телеграмма, как всегда, пересланная из Марселя:

> «Прибыли в Порт-Тараскон. Торжественный вход в гавань. Дружба с туземцами, вышедшими встречать на пристань. На ратуше развевается тарасконский флаг. В кафедральном соборе отслужен молебен. Все готово, приезжайте скорее».

Под этим была напечатана продиктованная самим Тартареном восторженная статья о новом отечестве, о молодом городе, о явной милости божьей, о знамени цивилизации, водруженном на девственной земле, о будущем, открытом для всех.

После этого никто уже не колебался. Облигации нового выпуска, по сто франков за гектар, раскупались так же ходко, как раскупаются свежие булки.

Третье сословие, духовенство, дворянство — весь Тараскон хотел теперь ехать. Переселенческая лихорадка, помешательство на переселении охватили весь город; даже самые упрямые, вроде

Костекальда, самые равнодушные и недоверчивые из тарасконцев — и те превратились в самых ярых сторонников заморской колонизации.

Всюду с утра до вечера полным ходом шли приготовления. Ящики заколачивались прямо на улицах, заваленных соломой и сеном, слышалась непрерывная стукотня молотков.

Бодро настроенные мужчины работали в одних жилетах, напевали, насвистывали и, передавая друг другу инструменты, обменивались шутками. Женщины укладывали свои наряды, «белые отцы» — дароносицы, малыши — игрушки.

Судно, зафрахтованное для тарасконского высшего общества и окрещенное «Туту-пампам» (так все в Тарасконе называют тамбурин), представляло собою большой пароход, и вести его взялся тулонец Скрапушина, старый морской волк. Погрузка должна была состояться в самом Тарасконе.

Для корабля с такой небольшой осадкой Рона была достаточно полноводна, и он свободно дошел до тарасконской набережной, но самая погрузка заняла целый месяц.

Матросы расставляли в трюме бесчисленные ящики, будущие пассажиры заранее устраивались в каютах — и с каким увлечением, с какою

предупредительностью друг к другу! Каждый старался быть полезным и приятным для своих спутников.

— Это место вам больше подходит? Сделайте одолжение!

— Эта каюта вам больше нравится? Пожалуйста!

И так во всем.

Тарасконская знать, обыкновенно такая чванливая, — все эти д'Эгбулиды, д'Эскюдели, привыкшие задирать нос, — держала себя теперь на равной ноге с мещанами.

Однажды утром, в самый разгар погрузки, пришло письмо от отца Везоля — это была первая почта непосредственно из Порт-Тараскона.

«*Слава тебе, господи, мы приехали*, — сообщал добрый инок. — *Многого не хватает, а все же — слава тебе, господи!..*»

Ни малейшего восторга и никаких подробностей.

Его преподобие упомянул лишь о короле Негонко и королевской дочке Лики-Рики, прелестной девочке, которой он, Везоль, подарил нитку бисера. В заключение он просил посылать что-нибудь более практичное, нежели обычные дары жертвователей. Вот и все.

О самом порте, о городе, о том, как колонисты устроились, — ни единого слова. Отец Баталье рвал и метал:

— Ваш отец Везоль — растяпа… Вот я ему задам по приезде!

В самом деле, от такого благодушного человека можно было ожидать менее сухого письма, однако дурное впечатление, которое оно произвело, потонуло в погрузочной суматохе, в оглушительном шуме переселения целого города.

Губернатор — иначе Тартарена теперь не называли — проводил все дни на палубе «Тутупампама». Заложив руки за спину, он с улыбкой прохаживался взад и вперед среди груд самых разнообразных предметов, не нашедших себе места в трюме, — котомок, подсобных алтарных столиков, грелок, — и с высоты своего величия поучал:

— Ну куда столько, дети мои? Все это и там можно достать.

Сам он бросил и стрелы, и баобаб, и красных рыбок, а взял с собой американский тридцатидвухзарядный карабин, запас фланели и больше ничего.

И как он за всем смотрел, как зорко за всем следил — и на корабле и в городе! Он успевал

побыть и на репетициях хорового кружка, и на Городском кругу, где происходили строевые занятия ратников ополчения.

Эта тарасконская военная организация, пережившая осаду Памперигуста, была еще усилена в предвидении защиты колонии и тех боевых действий, которые решено было предпринять для ее расширения. И Тартарен, в восторге от военной выправки ратников, часто в приказах выражал благодарность как им самим, так и их командиру Бравида.

И все же по временам губернаторское чело прорезала тревожная морщина.

Дело в том, что за два дня до отплытия «Ту-ту-пампама» ронский рыбак по имени Барафор нашел в прибрежном ивняке герметически закупоренную бутылку, сквозь все еще прозрачное стекло которой можно было различить внутри что-то вроде свернутого листа бумаги.

Все рыбаки знают, что подобные находки следует передавать властям, а потому Барафор принес губернатору Тартарену таинственную бутылку, в которой находилось сногсшибательное послание:

«Европа, Тараскон, Тартарену.

Страшная катастрофа в Порт-Тарасконе. Остров, город, порт, все ушло под воду, все исчезло. Бомпар, как всегда, неподражаем и пал, как всегда, жертвой своего самоотвержения. Ради бога, не выезжайте! Пусть никто не трогается с места!»

Похоже было, что кто-то созорничал. Каким чудом бутылка могла доплыть по волнам из Океании до Тараскона?

И потом: «пал, как всегда» — ну разве это не мистификация? Как бы то ни было, подобное предзнаменование омрачало триумф Тартарена.

IV

Погрузка дракона. «Полный вперед!» Пчелы покидают улей. Запах Индии и запах Тараскона. Тартарен изучает папуасский язык. Дорожные развлечения

Вот вы все толкуете о живописности. Посмотрели бы вы на палубу «Туту-пампама» майским утром 1881 года — тогда бы вы поняли, что такое настоящая живописность! Все начальство

было в полной парадной форме: начальник отдела здравоохранения Турнатуар, начальник сельскохозяйственного отдела Костекальд, главнокомандующий ополчением Бравида и еще человек двадцать поражали взор пестротою шитых серебром и золотом мундиров. На многих были еще красные с золотым галуном плащи, составлявшие форму одежды сановников первого класса. Среди этой разряженной толпы белым пятном выделялся отец Баталье, главный войсковой священник колонии и капеллан при губернаторе.

Особенно блистало ополчение. Большинство простых ратников было уже отправлено на других пароходах. Офицеры, с саблями на боку, с револьверами за поясом, рисовались своей стройной талией, выпячивали грудь под кокетливым доломаном с аксельбантами и нашивками и особенно гордились начищенными до блеска великолепными ботфортами.

Среди мундиров и сюртуков мелькали веселые, светлые, переливавшие всевозможными оттенками платья дам, их развевавшиеся на ветру ленты и шарфы, кое-где — тарасконские чепцы служанок. А надо всей этой толпой, над сверкавшим медью кораблем с поднятыми в небо

мачтами вообразите себе чудесное праздничное солнце, затем вообразите широкую Рону, сливающуюся на горизонте с небом, волнующуюся, точно море, взъерошенную мистралем, и вы получите полное представление о «Туту-пампаме» перед отплытием в Порт-Тараскон.

Герцог Монский не мог присутствовать при отправке корабля — его задержал в Лондоне выпуск новых акций. И то сказать: какая уйма денег нужна на содержание пароходов, экипажа, инженеров, на покрытие всех расходов по переселению! Сегодня утром герцог известил телеграммой, что деньги высланы. И все восхищались деловитостью северянина.

— Какой пример для нас с вами, господа! — восклицал Тартарен и всякий раз неукоснительно прибавлял: — Будем же ему подражать… Довольно увлечений!..

Надо отдать Тартарену справедливость, сам он держался очень спокойно, одет был просто и никому пыли в глаза не пускал, в отличие от других разряженных начальников, только на сюртуке у него красовалась надетая через плечо лента ордена первой степени.

С палубы «Туту-пампама» видно было, как на перекрестках появлялись группами колонисты,

как они потом растекались по набережной, наконец их узнавали и называли по именам:

— А вот и Роктальяды!..

— *Э!* Господин Бранкебальм!

Крики, изъявления восторга!

Как только древняя вдова, графиня д'Эгбулид, которой было что-то около ста лет, в коричневой шелковой мантилье, держа в одной руке грелку, а в другой чучело старого попугая и тряся головой, стала проворно взбираться на палубу, ей была устроена бурная овация.

Дома запирались, в магазинах закрывались ставни, везде опускались шторы и жалюзи; город пустел с каждым мгновением, и оттого улицы стали как будто шире.

Когда все наконец взошли на корабль, настала минута всеобщего самоуглубления, торжественного молчания, а молчать было особенно хорошо под пыхтенье разводимых паров. Сотни глаз были устремлены на капитана — тот стоял в рубке и вот-вот должен был отдать приказ сниматься с якоря. Вдруг кто-то крикнул:

— А Тараск?..

Вы, наверное, слыхали про Тараска, про сказочное чудовище, от которого произошло название города — Тараскон. Напомню вам его историю

вкратце: в давно минувшие времена это был страшный дракон, опустошавший устье Роны. Святая Марфа, после смерти Иисуса пришедшая в Прованс, отправилась в белой одежде к обитавшему среди болот зверю и на самой обыкновенной голубой ленте привела его в город — так непорочность и благочестие святой Марфы укротили и покорили зверя.

С тех пор тарасконцы через каждые десять лет устраивают праздник и водят по улицам сделанное из дерева и раскрашенного картона чудовище, помесь черепахи, змеи и крокодила, грубое, карикатурное изображение прежнего Тараска, ныне чтимого, как некий идол, живущего на счет города и известного во всей той стране под названием «отца-батюшки».

Уехать без «отца-батюшки» тарасконцам казалось немыслимым. Молодежь побежала за ним и сейчас же притащила на набережную.

Тут полились слезы и раздались восторженные крики, как будто в этом громоздком картонном чудище была заключена душа города, душа целого края.

Внутри корабля Тараск бы не поместился, а потому его устроили на палубе, и там он, с полотняным животом и расписной чешуей, смешной,

огромный, возвышавшийся над бортами, похожий на чудовище из какой-нибудь феерии, дополнял то живописное, необычное зрелище, какое представляла собой отправка «Туту-пам-пама», ибо Тараск казался одною из тех химер, которые бывают изваяны на носу кораблей, — химер, правящих судьбами путешественников. Его почтительно окружили. Некоторые разговаривали с ним, ласкали его.

Тартарен подумал, как бы эта волнующая сцена не пробудила в сердцах его сограждан сожаления о покидаемой отчизне, и по его знаку капитан Скрапушина громовым своим голосом подал команду:

— Полный вперед!..

Вслед за тем загремели фанфары, раздался свисток, под винтом забурлила вода, но все эти звуки покрыл голос Экскурбаньеса:

— *Двайте шумэт*ь!..

Берег в одно мгновение отдалился. Город, башня короля Рене — все отступало, уменьшалось, тонуло в солнечном свете, игравшем на волнах Роны.

Тарасконцы, склонившиеся над бортом, спокойные, улыбающиеся, без волнения следили за тем, как уходит от них родина, как она исчезает

вдали, — милый Тараск был теперь с ними, и они грустили не больше, чем пчелиный рой, меняющий улей под звон сковородок, или косяк скворцов, улетающих в Африку.

И в самом деле, Тараск покровительствовал им. Дивная погода, искрящаяся морская гладь, ни бури, ни ветра — на редкость благополучное плавание.

Только в Суэцком канале под жгучими лучами солнца путешественники слегка высунули языки, хотя на всех тарасконцах были головные уборы, которые они на себя надели в подражание Тартарену, а именно — обтянутые белым полотном пробковые шлемы с вуалью из зеленого газа. Впрочем, они не очень страдали от этого пекла, их давно уже приучило к нему небо Прованса.

После Порт-Саида и Суэцкого канала, после Адена, после того, как осталось позади Красное море, «Туту-пампам» быстрым и ровным ходом пошел через Индийский океан, под молочно-белым небом, бархатистым, как одно из тех чесночных блюд, один из тех чесночных соусов, которые переселенцы ели за каждой трапезой.

В каком невероятном количестве потребляли они чеснок на корабле! Они взяли с собой огромный запас, и упоительный аромат чеснока был

подобен струе за кормой — так запах Тараскона сливался с запахом Индии.

Путь корабля лежал теперь мимо островов, и острова эти всплывали на поверхность корзинами редкостных цветов, среди которых порхали, словно усыпанные драгоценными камнями, чудные птицы. Тихие прозрачные ночи, осиянные мириадами звезд, были точно пронизаны далекими, смутно различимыми звуками музыки и пляской баядерок.

Мальдивские острова, Цейлон, Сингапур были очаровательны, но тарасконки во главе с г-жой Экскурбаньес не позволяли мужьям сходить на сушу.

Свирепый инстинкт ревности заставлял их быть начеку в Индии с ее опасным климатом, с этими истомою дышащими испарениями, которые ощущались даже на палубе «Туту-пампама». Надо было видеть, как застенчивый Паскалон, плененный аристократической прелестью мадемуазель Клоринды дез Эспазет, высокой красивой девушки, по вечерам склонялся подле нее над бортом.

Добрый Тартарен, поглядывая на них издали, усмехался себе в усы, — он предчувствовал, что по приезде будет сыграна свадьба.

Заметим кстати, что с самого начала путешествия губернатор был решительно со всеми кроток и снисходителен и этим резко отличался от грубого и угрюмого капитана Скрапушина, который вел себя на корабле, как настоящий тиран: вспыхивал при малейшем вашем возражении и кричал, что он застрелит вас, «как собаку». Терпеливый и рассудительный, Тартарен не перечил капитану, старался даже оправдать его в глазах пассажиров и, дабы отвратить его гнев от ратников ополчения, подавал им пример неутомимой деятельности.

Утренние часы он посвящал изучению папуасского языка, а руководил им в этих занятиях его преподобие отец Баталье, бывший миссионер, знавший и этот язык, и еще много других.

Днем Тартарен собирал всех на палубе или же в кают-компании и читал лекции, в которых он делился с аудиторией только что приобретенными им самим познаниями относительно того, как надо разводить сахарный тростник и что можно делать из трепангов.

Два раза в неделю преподавалась охота, так как, по слухам, колония изобиловала дичью, — это вам не Тараскон, где приходилось бить влет по фуражкам.

— Вы стреляете хорошо, дети мои, но вы стреляете чересчур поспешно, — говорил Тартарен.

У тарасконцев была слишком горячая кровь — надо было научиться держать себя в руках.

И Тартарен давал им превосходные советы, учил их менять темп стрельбы в зависимости от того, какую дичь выцеливаешь, учил их считать точно, как метроном:

— Для перепела — три темпа: раз, два, три — бах!.. Готово дело… Для куропатки, — тут он махал рукой, подражая полету птицы, — для куропатки достаточно двух: раз, два — бах!.. Можете подбирать — она убита.

Так проходили однообразные часы плавания, и каждый оборот винта приближал этих славных людей к осуществлению их мечтаний, — мечтали же они всю дорогу, тешили себя смелыми планами на будущее, в самом розовом свете представляли себе, что ожидает их по прибытии, говорили только о том, как они устроятся на новом месте, как распашут новь, какие введут улучшения на своих участках.

Воскресенье считалось днем отдыха, праздничным днем.

Отец Баталье с великой торжественностью служил на корме литургию. И когда он поднимал

чашу с дарами, трубили трубы и воинственно били барабаны. После службы его преподобие рассказывал какую-нибудь занимательную притчу и преподносил ее не столько как проповедь, сколько как поэтическую мистерию, дышащую пламенной верой южан.

Вот одна из его повестей, наивных, как житие святого, изображенное на витражах ветхой деревенской церкви. А чтобы почувствовать всю ее прелесть, представьте себе только что надраенный пароход, сверкающий всеми своими медными частями, дам, усевшихся в кружок, губернатора в плетеном кресле, которого обступили начальники в парадной форме, ратников ополчения, выстроившихся по бокам, матросов на вантах — всех этих затаивших дыхание людей, не спускающих глаз с отца Баталье, стоящего на амвоне. Стук винта вторит звукам его голоса. В высокое ясное небо поднимается прямая и тонкая струя пара. В волнах плещутся дельфины. Морские птицы — чайки, альбатросы — с криками летят за кораблем, и сам кривобокий «белый отец» в тот миг, когда он машет своими широкими рукавами, напоминает одну из этих огромных птиц, взмахивающих крыльями перед полетом.

V

Подлинная история Антихриста, рассказанная его преподобием отцом Баталье на палубе «Туту-пампама»

— Снова в рай веду я вас, дети мои, в то обширное лазурное преддверье, где находится первоверховный апостол Петр со связкой ключей за поясом, всегда готовый распахнуть врата для избранных душ, как скоро они к нему явятся. К несчастью, с течением времени люди стали до того злыми, что даже лучшие из них после смерти не заходят выше чистилища, и доброму апостолу Петру остается только оттирать наждачной бумагой ржавчину с ключей да снимать паутину, прилепившуюся ко вратам, точно судебная печать. Временами ему чудится стук.

— Наконец-то!.. — говорит он. — Кто-то идет… Насилу дождался…

С этими словами апостол отворяет окошечко, но вместо тени избранника он созерцает лишь планеты, неподвижные или же текущие в пространстве с тем еле слышным шумом, с каким спелый апельсин срывается с ветки, и только

этот шум и нарушает царящее вокруг вечное, безграничное молчание.

Можете себе представить, как это должно быть обидно для доброго, любвеобильного апостола, как сокрушается он денно и нощно, какие жгучие, какие горючие слезы текут у него из очей, оставляя на щеках две глубокие борозды, подобные колеям дороги между Тарасконом и Монмажуром!

В конце концов постоянное одиночество истомило бедного ключаря, он затосковал у себя в преддверии, и вот как-то раз его навестил святой Иосиф и сказал ему в утешение:

— Какое тебе, в сущности, дело до того, что люди не подходят больше к твоим вратам?.. Чем тебе здесь плохо? Твой слух радует дивное пение, обоняние ласкают нежнейшие благовония…

Как раз в это время из пролета разверстых семи небес подул теплый ветерок, полный звуков и таких благоуханий, о которых, друзья мои, ничто не может дать вам представление, даже запах лимона и свежей малины, а ведь им только что дохнуло нам в лицо море с подветренной стороны, где виднеется пышный букет розовых островов.

— Ох! — вздохнул добрый апостол. — Мне в

благословенном раю живется прекрасно, но я хотел бы, чтобы и все мои бедные чада были тут, со мной…

И вдруг неожиданно вознегодовал:

— Ах, мерзавцы, ах, дураки!.. Нет, Иосиф, господь еще слишком милостив к этим негодяям… Я бы на его месте не так с ними обошелся.

— А как бы ты с ними обошелся, мой милый Петр?

— Ого! Я бы этот муравейник пнул ногой — пропади пропадом весь род человеческий!

Святой Иосиф мотнул седой бородой… Какой же это будет страшенный пинок, коли он сокрушит землю!.. Еще куда ни шло турки, нехристи, азиаты, пусть они будут сметены во прах, но христианский мир воздвигнут на прочных основаниях, создан самим сыном божиим…

— Именно… — продолжал апостол Петр. — Но что Христос основал, то он же может и разрушить. Я бы вторично послал сына божия к этим висельникам, и сей Антихрист, то есть переодетый Христос, задал бы им такого звону!..

Добрый апостол говорил это в сердцах, особенно не вникая в смысл своих речей и уж никак не думая, что они дойдут до божественного учителя, но, к вящему его изумлению, перед ним неожи-

данно предстал сын человеческий с узелком на конце страннического посоха, который он нес на плече, и мягко, но властно сказал:

— Пойдем, Петр… Я беру тебя с собой.

По бледному лицу Иисуса, по лихорадочному блеску его обведенных кругами глаз, сверкавших ярче, чем нимб, Петр сразу понял все и пожалел, что сболтнул. Дорого бы он дал, чтобы не состоялось это второе пришествие сына божия на землю, особенно чтобы не быть его спутником! Он заметался в отчаянии, руки у него задрожали.

— Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!.. Куда же мне деть ключи?

В самом деле, брать с собой в далекое путешествие такую тяжелую связку — это большая обуза.

— А кто будет охранять врата?

Тут Иисус, читавший в его душе, улыбнулся и сказал:

— Оставь ключи в замочной скважине, Петр… Ты же сам отлично знаешь, что к нам сюда никто не ходит.

Он говорил мягко, но в его улыбке и голосе чувствовалось все же что-то неумолимое.

Как было предсказано в Священном писании, знамения небесные возвестили сошествие

на землю сына человеческого, но люди, превратившиеся в ползучих тварей, давно уже не поднимали очей горе; поглощенные своими страстями, они проглядели явление учителя и его верного апостола, а те еще взяли с собой разнообразные одеяния и могли рядиться во что им только вздумается.

В первом же городе, куда они прибыли как раз накануне казни знаменитого разбойника Кровожада, на душе у которого было много чудовищных злодеяний, рабочие, воздвигавшие ночью помост, пришли в изумление, увидев при свете факелов, что с ними заодно трудятся два неведомо откуда взявшихся незнакомца: один — стройный и горделивый, точно незаконнорожденный княжеский сын, с раздвоенной бородкой, с глазами, как драгоценные камни, а другой — уже согбенный, с добродушным и усталым выражением лица, с двумя желобками морщин на дряблых щеках. Потом, на рассвете, когда помост был сооружен, когда народ и городские власти собрались на казнь, плотной стеной окружив гильотину, оба чужеземца исчезли, но что-то они там успели наворожить, из-за чего вся механика оказалась испорченной, ибо после того, как осужденного бросили на помост, хорошо отточенный

нож из наилучшей стали падал раз двадцать подряд, но даже не поцарапал преступнику кожу на шее.

Рисуете себе картину? Судьи растерянны, народ в ужасе, палач тузит своих подручных, рвет на себе слипшиеся от пота волосы, а Кровожад — этот изверг, конечно, был из Бокера и вдобавок ко всем прочим порокам отличался еще дьявольскою гордыней, — вертя своей бычьей шеей в кольце гильотины, злобно орет:

— Ну что?.. Ничего вам со мной не поделать!.. Такой уж я человек — никакая сила меня не берет!..

В конце концов полиция уволокла его обратно в тюрьму, а вокруг разломанного эшафота, трещавшего, взметавшего к небу искры, словно костер в Иванову ночь, плясала и завывала чернь.

С тех пор не только в этом городе, но и во всех цивилизованных странах смертные приговоры словно кто заколдовал. Меч закона не отсекал больше голов, а так как убийцы ничего, кроме смерти, не боятся, то скоро весь мир погряз в преступлениях, на улицах и на дорогах запуганным честным людям не стало проходу, а между тем душегубы, коими тюрьмы были набиты битком, жирели на казенных харчах, ударом каблука

проламывали сторожам головы, выдавливали им большим пальцем глаза, а не то, потехи ради, раскалывали им черепа — любопытно, дескать, посмотреть, что там внутри.

Род человеческий редел на глазах, редел вследствие того, что правосудие было обезоружено, и, преисполнившись сострадания к людям, решив, что с них довольно, добрый апостол Петр с подобострастным смешком однажды заметил:

— Хороший урок мы им дали, учитель, долго будут помнить… А теперь, пожалуй, можно и восвояси?.. Дело вот в чем: я, знаете ли, беспокоюсь — наверно, я нужен там, наверху.

Сын человеческий чуть заметно улыбнулся.

— Вспомни, — сказал он, подняв палец: — «Что Христос основал, то он же может и разрушить!..»

При этих словах апостол Петр поник головой.

«Это я сболтнул, дети мои, это я сболтнул!» — подумал он.

Разговор учителя с апостолом происходил на злачной ниве, расстилавшейся по склону холма, у подножья которого великолепный столичный город всюду, куда ни оглянись, возносил свои купола, кровли, узорчатые звонницы и стрельчатые башни соборов, увенчанные разной формы крестами, сверкавшими в лучах мирно догорав-

шего заката.

— Уж, верно, тут у них есть и монастыри и церкви!.. — стараясь отвратить гнев господа, сказал добрый старик. — Что ни говори, благолепие!

Но ведь вы же знаете, что Иисус до глубины души презирает пышную ханжескую обрядность фарисеев, презирает церкви, куда ходят только потому, что так принято, и монастыри, где изготовляют эликсир Гарюс и шоколад. Вот почему он молча ускорил шаг, и среди высоких хлебов, хорошо в том году уродившихся, мелькал лишь узелок с одеждой, покачивавшийся на конце странического посоха грозного истребителя человечества… А в том городе, куда они вошли, жил старый-престарый император, за свое необычайное могущество и необычайную справедливость признанный главою всех государей Европы, приковавший войну к лафетам пушек, применявший и силу, и все свое красноречие для того, чтобы удержать народы от взаимного истребления.

Между волками и собаками действовало молчаливое соглашение: пока император у власти, овцы могут пастись спокойно, ну, а уж потом, дескать, не взыщи! Вот почему все так дорожили добрым императором; любая мать, не задумываясь, позволила бы вскрыть себе вены и отдала бы

ему свою бурную алую кровь.

И вдруг любовь превратилась в ненависть, по городу распространился исполненный адской злобы призыв:

— Убьем его!.. Этот добрый тиран — самый отвратительный из всех, ибо он отнял у нас даже право на бунт.

А теперь сами догадайтесь, что это за таинственный незнакомец с горящими глазами руководил разрушительными работами под императорским дворцом, под который был подведен подкоп и заложен динамит, во мраке подземелья, где по пояс в воде орудовали заговорщики, сами догадайтесь, кто изгонял из сердец жалость и страх и, когда раздался взрыв, исторг из всех грудей ликующий крик: «Ура!..»

О, бедный император! От него мало что осталось под обломками! Клочки обгорелой бороды да одна рука, от сильного жара скрутившаяся жгутом. И в тот же миг завыла сорвавшаяся с цепи война, небо потемнело от вороньих стай над границами, бойня как началась, так уж потом и не кончилась.

Меж тем как народы с помощью смертоносных орудий истребляли друг друга и всюду, насколько хватал глаз, пылали, точно факелы, взятые

приступом города, — по дорогам, запруженным тележками без возчиков и бегущим скотом, по паровым полям, по берегам рек, красных от крови, мимо безжалостно потоптанных виноградников и посевов легкой стопою шел Иисус с неизменным посохом на плече, и лежал его путь в дальнюю-дальнюю страну, к прославленному врачу по имени Мов, а следом за Иисусом поспешал добрый старый апостол, тщетно пытавшийся умилостивить его.

Искусный целитель людей и животных, Мов стремился подчинить себе все силы природы и найти средство продления человеческой жизни, и он чуть-чуть не нашел его, он был почти у цели, как вдруг однажды по неосторожности его нового помощника, красивого бледного юноши, который после этого бесследно исчез, несколько склянок с летучими ядами остались на ночь незакупоренными, и доктор Мов, отворив утром свою дверь, пал бездыханный.

Таким образом, жизнь человеческая не только не была продлена, а, наоборот, укоротилась, ибо врач собирал у себя для изучения многое множество древних болезней, как, например, особые виды проказы: египетскую и средневековую, и зародыши их, выпущенные из реторт,

распространились по всему миру и опустошили его. Как во времена древних иудеев, появилась несметная сила отвратительных чумных жаб; затем — лихорадки: желтая, злокачественная, перемежающаяся, возвращающаяся на третьи, на вторые сутки, чума, тифы — целый сонм исчезнувших былой вновь появившихся болезней, а также болезней, дотоле неведомых, и все они получили в народе общее название «болезни доктора Мова».

Храни вас господь, дети мои, от этой ужасной болезни!

Кости плавились, как стекло, мускулы сами выдергивались, как нитки. Боль была так сильна, что уже не хватало сил кричать. Прежде чем умереть, больные распадались на части, их тела, превратившись в кашу, валялись на дорогах, а чтобы подобрать их, у дорожных мастеров не хватало ни лопат, ни повозок.

— Ишь ты!.. Славно мы потрудились!.. — говорил апостол Петр деланно веселым голосом, в котором, однако, слышались слезы. — А теперь, учитель, не пора ли нам домой?.. Я уж соскучился.

Иисус отлично знал, что под этой личиной скуки скрывается великая жалость к людям, но,

несмотря на свое мягкосердечие, он поклялся истребить их всех до единого. И то сказать: они его довели!.. Всякому терпению приходит конец.

И вот как-то раз, когда он ранним, розовым с прозеленью утром молча шел вместе со старым апостолом по деревне, внезапно сквозь мычанье коров и пенье петухов, приветствовавших восходящее солнце, до него долетел вопль человека, крик женщины, и крик этот, чередуя приливы и отливы, точно морская волна, то при потугах мощно вздымался, грозя просверлить небосвод, то, чуть отлегнет, замирал, переходя в тихий протяжный стон, стон, который узнает всякий, кто хоть когда-нибудь слышал его. Новое существо являлось на заре в мир. Иисус в раздумье остановился. Если они все еще рождаются, то какой же смысл уничтожать их?.. И, повернувшись к лачуге, из которой доносился вопль, он угрожающе простер свою белую руку.

— Смилуйся!.. Смилуйся, учитель, над крошками!.. — всхлипнул добрый апостол Петр.

Господь быстро успокоил его.

Он сделает подарок и этому младенцу, и всем, которые народятся на земле. Петр не посмел спросить, какой же именно, но я вам скажу, друзья мои. Иисус стал наделять бедных агнцев опытом,

и это был несчастный дар.

В самом деле, прежде опыт умирал вместе с человеком. А теперь, благодаря Иисусовым щедротам, опыт на земле стал накапливаться. Дети рождались печальные, старообразные, разочарованные. Едва открыв глазки, они уже видели конечную цель всего сущего, и в мире стало твориться что-то ужасное: младенцы кончали с собой, малые детки в отчаянии накладывали на себя ручонки.

Но этим дело не ограничилось: проклятый богом род человеческий не желал исчезать, — несмотря ни на что, он упорно продолжал жить.

Тогда, чтобы поскорее разделаться с ним, Христос отнял у мужчин и женщин способность любить, отнял чувство прекрасного. На земле не осталось больше ничего светлого, люди уже не находили отрады ни в молитве, ни в сладострастии. Люди искали только забвения, не мечтали ни о чем, кроме сна… О, скорей бы уснуть!.. Только бы ни о чем не думать, только бы не жить…

Как видите, бедный род человеческий находился в весьма плачевном состоянии, да и это состояние, конечно, продолжалось бы недолго, так как неутомимый истребитель не мешкал. Он по-прежнему в образе странника с узелком на

конце посоха бродил по свету, а за ним плелся его усталый, сгорбленный спутник, на щеках у которого борозды от проливаемых слез становились все глубже, по мере того как учитель, проходя по земле, насылал на людей извержения вулканов, циклоны и землетрясения.

Но вот однажды, ясным утром Успеньева дня, Иисус шествовал по водам так, как об этом рассказывается в Евангелии, и наконец очутился среди островов Океании, в той самой части Тихого океана, где плывем сейчас мы с вами.

С букета цветущих островов ветер донес до него голоса женщин и детей, распевавших провансальские песни.

— Э, да это никак тарасконцы! — воскликнул апостол Петр.

Иисус обернулся к нему.

— Наверно, эти тарасконцы дурные христиане?

— Ах, учитель, они уже давно исправились! — боясь, что по мановению божественной десницы остров, к которому они приближались, поглотят волны, поспешил ответить сердобольный апостол.

Вы, конечно, догадались, что остров этот был Порт-Тараскон, жители которого в Успеньев день

устроили торжественную процессию.

И какую процессию, дети мои!

Впереди шли кающиеся, всякого рода кающиеся: синие, белые, серые, всех цветов, и звонили в колокольчики, сливавшие воедино свои хрустальные и серебристые звуки. За кающимися следовали общины женщин, и женщины эти были в длинных белых покрывалах, как обыкновенно изображают мучениц в раю. За ними несли древние хоругви, до того высокие, что вытканные на них святые с нимбами, вышитыми золотом по шелку, казалось, нисходили на толпу с неба. Далее несли чашу со святыми дарами под воздухом из красного бархата, тугим, тяжелым, увенчанным высокими султанами, рядом детский хор нес на длинных позолоченных палках большие зеленые фонари с зажженными свечечками. А сзади валил и стар и млад — народ молился и пел вовсю.

Процессия, обходя остров кругом, то спускалась на песчаный берег, то взбиралась на холмы и горы, и там, на вершинах, от больших раскачивавшихся кадил струился прямо к солнцу легкий сизый дымок.

— Как красиво!.. — прошептал в изумлении апостол Петр и больше не прибавил ни сло-

ва, — после стольких тщетных усилий он уже не надеялся смягчить своего спутника, но на сей раз ошибся.

Сын человеческий, растроганный до глубины души этими порывами наивной веры, смотрел на развевающиеся хоругви Порт-Тараскона и, стоя неподвижно на гребне волны, в первый раз пожалел о том, что сделался орудием смерти.

Внезапно он, подняв голову, обратил свое кроткое, бледное лицо к небу, и в безмолвии притихшего моря прозвучал его громовой, наполнивший собой вселенную голос:

— Отец! Отец! Повремени!..

И, разделенные световым пространством, отец и сын поняли друг друга без дальних слов.

На этом отец Баталье кончил свой рассказ. Взволнованные слушатели сидели молча, не шевелясь, как вдруг с капитанского мостика «Ту-ту-пампама» раздался голос Скрапушина:

— Господин губернатор! Показался остров Порт-Тараскон. Через час станем на рейде.

Тут все вскочили, и поднялся неистовый гам.

VI

Прибытие в Порт-Тараскон. Никого. Высадка ополчения. Апте… Безю… Бравида устанавливает связь. Ужасная катастрофа. Татуированный аптекарь

— Что за черт!.. Никто не вышел нас встретить… — как только гул первых криков восторга утих, проговорил Тартарен.

Должно быть, с суши еще не успели заметить корабль.

Нужно дать знать о своем прибытии. И вот три пушечных выстрела прокатились над двумя длинными, поросшими влажною, тучною зеленью островами, между которыми стал пароход.

Все взоры обратились к ближнему берегу, к узкой песчаной полоске в несколько метров шириною; над этой полоской возвышалась крутая гора, и по ее обрывам с вершины в море низвергалась темно-зеленая растительность.

Когда раскаты пушечных выстрелов прекратили свою воркотню, неприветливые острова вновь окутала мертвая тишина. Нигде ни души.

А главное, не видно ни порта, ни форта, ни города, ни молов, ни сухих доков — ничего!.. Это уж непостижимо.

Тартарен обратился к Скрапушина, который подал команду бросить якорь:

— Вы уверены, капитан?..

Вспыльчивый моряк разразился потоком брани. Ах, разэтакий такой, уверен ли он!.. Кто-кто, а уж он, разрази гром, свое дело знает!.. Уж корабль-то вести он умеет!..

— Принесите мне карту острова, Паскалон… — не теряя присутствия духа, сказал Тартарен.

К счастью, он располагал картой большого масштаба, и на ней были тщательно нанесены мысы, заливы, реки, горы — все вплоть до наиболее примечательных городских монументов.

Карту немедленно разложили, и Тартарен, окруженный всеми своими спутниками, водя по ней пальцем, принялся изучать ее.

Так, так… Здесь остров Порт-Тараскон… Другой остров, напротив, вот он… Мыс… Отлично… Налево коралловые рифы… Великолепно… Но тогда что же? Город, порт, жители — куда это все делось?

Слегка заикаясь, Паскалон робко высказал предположение, что, быть может, это шутка

Бомпара, проказы которого были известны всему Тараскону.

— С Бомпара это станется... — заметил Тартарен. — Но такой благоразумный, такой положительный человек, как Безюке... Да и потом, сколько ни шути, а ведь целый город, порт и ремонтные доки под полой не спрячешь.

В подзорную трубу можно было разглядеть на берегу что-то вроде барака, но коралловые рифы не подпускали корабль ближе, а на таком расстоянии все заслоняла темно-зеленая листва.

Пассажиры, уже готовые к высадке, с узелками в руках, среди них — престарелая вдовица д'Эгбулид, не расставававшаяся с грелкой, в полном недоумении озирались вокруг, и этому всеобщему оцепенению поддался сам губернатор, ибо все слышали, как он вполголоса произнес:

— Странно, более чем странно!..

Впрочем, он тут же приосанился:

— Капитан, снарядите большую шлюпку! Командир Бравида, трубите сбор ратников ополчения!

Пока горнист выпевал свое «ту-ру-ру», пока Бравида производил перекличку, Тартарен, как ни в чем не бывало, успокаивал дам:

— Не волнуйтесь. Я уверен, что все объяснит-

ся…

Мужчинам, остававшимся на корабле, он говорил:

— Мы вернемся через час. До нашего возвращения пусть никто не трогается с места.

А пассажиры и не думали трогаться, — они обступили Тартарена и повторяли за ним:

— Да, да, господин губернатор… Все объяснится… Мы тоже уверены…

И в эту минуту Тартарен в их глазах вырастал до колоссальных размеров.

В шлюпке, кроме него, заняли места его секретарь Паскалон, капеллан отец Баталье, Бравида, Турнатуар, Экскурбаньес и ратники ополчения, все, как один, вооруженные до зубов, с саблями, топорами, револьверами, карабинами, а Тартарен, разумеется, не забыл взять с собой пресловутый тридцатидвухзарядный винчестер.

Когда шлюпка подошла ближе к пустынному, без малейших признаков жизни берегу, показалась сколоченная из бревен и досок ветхая пристань на замшелых сваях, погруженных в стоячую воду. Неужели это тот самый мол, на который туземцы выходили встречать пассажиров «Фарандолы»? Просто невероятно! Чуть поодаль виднелось нечто похожее на старый барак с за-

крытыми железными, выкрашенными суриком ставнями, от которых неподвижная вода в затоне принимала кровавый отсвет. Деревянная крыша барака потрескалась, осела.

Едва успев высадиться, переселенцы побежали к бараку. Он и внутри оказался такой же развалиной, как и снаружи. Сквозь дырявую крышу были видны широкие ленты небесной лазури, покоробившийся, прогнивший пол проваливался, в щели уползали огромные ящерицы, на стенах кишмя кишели черные насекомые, липкие жабы мокли по углам. Тартарен, войдя первым, чуть не наступил на змею толщиной в руку. Всюду стоял противный, тошнотворный запах сырости, плесени.

Уцелевшие остатки перегородок указывали, что барак был разделен на ряд тесных помещений, не то вроде стойл в конюшне, не то вроде кают. На одной из перегородок крупными буквами было выведено: «АПТЕ… БЕЗЮ…» Остальное съела плесень. Однако и несведущий человек легко мог догадаться, что это означало: «Аптека Безюке».

— Я понял, в чем дело, — сказал Тартарен. — Климат на этом склоне горы нездоровый, и, попытавшись сначала устроиться здесь, они в

конце концов обосновались по ту сторону.

Затем он решительным тоном приказал командиру Бравида повести ратников ополчения в разведку, — как только, мол, они взойдут на вершину и окинут взором весь остров, так, конечно, увидят дымящиеся трубы города.

— УстанОвите связь — сейчас же дайте нам знать ружейным залпом.

А он, Тартарен, останется здесь, внизу, в штаб-квартире, с секретарем, капелланом и другими.

Бравида и лейтенант Экскурбаньес построили своих людей и тронулись в путь. Ратники ополчения сначала хорошо держали строй, но идти вверх по горе, покрытой вязким и скользким мхом, было нелегко, и ряды скоро смешались.

Перейдя ручеек, ратники обнаружили на том берегу остатки мостков и кем-то забытый валек, уже зеленые от всюду набивавшегося и все разъедавшего мха. Немного дальше виднелись развалины какого-то строения, по-видимому, блокгауза.

Когда же разведчики наткнулись на сотни ям, расположенных на очень близком расстоянии одна от другой и предательски прикрытых сверху колючками и лианами, то боевой порядок ратников ополчения расстроился окончательно.

Несколько человек провалилось, спугнув своим падением, лязгом оружия и снаряжения жирных ящериц, вроде тех, что ползали в бараке. Ямы, однако, оказались невелики. Это были ряды неглубоких выемок.

— Похоже на старое кладбище, — заметил лейтенант Экскурбаньес.

На эту мысль навели его ветки, кем-то переплетенные как бы крестом, но теперь вновь зазеленевшие, мало-помалу принимавшие свое естественное положение, напоминавшие лозы дикого винограда. Во всяком случае, это было заброшенное кладбище; разведчики нигде не обнаружили ни одной кости.

Долго еще шли они вверх, с трудом продираясь сквозь частый кустарник, и наконец достигли вершины. Тут уже дышалось вольнее, воздух на горе беспрестанно освежался ветром, насыщенным запахами моря. Вдали простиралась широкая равнина, спускавшаяся к морю незаметно для глаза. По-видимому, город был именно там.

Один из разведчиков указал на столбы дыма, а Экскурбаньес весело крикнул:

— Чу!.. Тамбурины!.. Фарандола!..

Плясовой ритм фарандолы ни с чем нельзя бы-

ло спутать. Порт-Тараскон шел к ним навстречу.

Уже видны были люди — из-за противоположного склона на том конце плоскогорья показалась толпа.

— Стой! — внезапно скомандовал Бравида. — Да это уж не дикари ли?

Впереди всей оравы под стук тамбуринов плясал высокий, худой чернокожий, в матросском тельнике, в синих очках, и потрясал томагавком.

Оба войска остановились и принялись рассматривать друг друга на расстоянии, как вдруг Бравида залился хохотом:

— Это уж он пересолил!.. Ах, проказник!..

И, вложив саблю в ножны, помчался вперед.

Ратники кричали ему вслед:

— Командир!.. Командир!..

Но он их не слушал, он бежал по направлению к танцующему и, полагая, что обращается к Бомпару, кричал:

— Узнал, узнал тебя, дружище!.. Уж это чересчур по-дикарски!.. Чересчур первобытно!..

Тот, вертя своим оружием, продолжал плясать. Когда же несчастный Бравида убедился, что перед ним настоящий канак, было уже поздно: тяжким ударом палицы дикарь пробил ему пробковый шлем, вышиб из его немудрой головы мозг, и

Бравида растянулся на земле.

В то же мгновение взметнулся вихрь воплей, пуль и стрел. Видя, что командир убит, ратники ополчения инстинктивно открыли огонь, а затем пустились наутек, не заметив, что и дикари спасаются от них бегством.

Тартарен услыхал стрельбу.

— Они установили связь! — радостно воскликнул он.

Но немного спустя ликование у него в душе сменилось ужасом: его солдатики неслись сломя голову, перепрыгивая через кусты, кто без шапки, кто без сапог, и оглашали воздух устрашающим криком:

— Дикари!.. Дикари!..

Поднялась невероятная паника. Шлюпка отчалила и стала быстро удаляться. Губернатор бегал взад и вперед вдоль берега.

— Спокойствие!.. Спокойствие!.. — кричал он осипшим голосом, голосом испуганной чайки, и этим только наводил еще больше страху на своих соотечественников.

Несколько минут на узкой песчаной полосе продолжалась кутерьма повального бегства, но так как никто толком не знал, куда бежать, то все в конце концов сбились в кучу. К тому же дикари

не показывались; можно было устроить поверку, расспросить.

— А командир?

— Убит.

Выслушав рассказ Экскурбаньеса о роковой ошибке Бравида, Тартарен воскликнул:

— Бедный Пласид!.. Как это было неосмотрительно!.. Во враждебной стране!.. Стало быть, он не произвел разведки…

Тартарен немедленно отдал приказ расставить часовых, и отряженные в караул двинулись попарно медленным шагом, твердо решив не отрываться от главных сил. Потом всех созвали на совет, а Турнатуар между тем занялся перевязкой раненого, пораженного отравленной стрелой и чудовищно пухнувшего у всех на глазах.

Слово взял Тартарен:

— Прежде всего надо избегнуть кровопролития.

Он предложил послать отца Баталье с пальмовой ветвью: отец Баталье, мол, станет издали помахивать ею, а сам в это время разведает, что творится у неприятеля и что сталось с первой партией переселенцев.

— А, да ну вас с вашей пальмой!.. — вскричал отец Баталье. — Дайте-ка мне лучше ваш тридца-

тидвухзарядный винчестер.

— Что ж, если его преподобие не хочет идти, так я пойду сам, — объявил губернатор. — Но вам все-таки придется пойти со мной, господин капеллан, а то ведь папуасский язык я знаю неважно.

— Я тоже…

— Дьявольщина!.. Чему же вы меня тогда три месяца учили?.. Какого же языка уроки я брал на корабле?..

Отец Баталье, как истинный тарасконец, моментально вышел из положения, заявив, что он знает язык не здешних папуасов, а папуасов тамошних.

Во время этих пререканий вновь вспыхнула паника: в том направлении, куда ушли часовые, загремели ружейные выстрелы, и из чащи леса послышался отчаянный голос, кричавший с тарасконским акцентом:

— Не стреляйте!.. Не стреляйте, прах вас побери!..

Мгновение спустя из кустов выскочило какое-то необыкновенно безобразное существо, с ног до головы выпачканное в красной и черной краске, точно оно надело на себя костюм клоуна. Это был Безюке.

— Э!.. Да это Безюке!

— Эге! Ну как дела?

— Что тут происходит?..

— Где же остальные?

— Где город, порт, сухой док?

— От города, — ответил аптекарь, указывая на развалившийся барак, — осталось вот что, от жителей — вот кто. — Тут он указал на себя. — Но только прежде дайте мне что-нибудь накинуть, чтобы не видать было тех мерзостей, которыми эти негодяи меня изукрасили.

В самом деле, дикари острым концом стрелы нарисовали на его коже всякие пакости, какие только могло измыслить их грязное горячечное воображение.

Экскурбаньес дал ему свой плащ сановника первого класса, и, пропустив для бодрости водки, злосчастный Безюке с еще не утраченным им акцентом и по-тарасконски велеречиво начал рассказывать:

— Нынче утром вы пришли в горестное изумление, удостоверившись, что город Порт-Тараскон существует только на карте. Представьте же себе, как мы, прибыв на «Люпифере» и на «Фарандоле»...

— Простите, я вас перебью, — заметив, что часовые на опушке леса подают тревожные сигналы,

сказал Тартарен. — Лучше, если мы выслушаем вас на корабле, — там нам будет спокойнее. Здесь на нас могут напасть каннибалы.

— И не подумают… Ваши выстрелы обратили их в бегство… Они покинули остров, а я этим воспользовался и удрал от них.

Тартарен стоял на своем. Он считал необходимым, чтобы Безюке рассказал обо всем Большому совету. Положение было серьезное.

Шлюпке, которая с самого начала стычки трусливо держалась на расстоянии, дали знак подойти к берегу, а затем она переправила всех на корабль, где с нетерпением ждали, чем кончится первая рекогносцировка.

VII

Продолжайте, Безюке… Кто такой герцог Монский: обманщик он или нет? Адвокат Бранкебальм. Verum enim vero[102], «постольку» из «поскольку». Плебисцит. «Туту-пампам» исчезает вдали

---

[102] Примечания: 102
но поистине *(лат.)*

Мрачную одиссею первых порт-тарасконских поселенцев Безюке рассказывал в кают-компании «Туту-пампама» на заседании Совета, на котором присутствовали старейшины, губернатор, начальники, сановники первого и второго класса, капитан Скрапушина со всем своим штабом, а наверху, на палубе, другие пассажиры, сгорая от нетерпения и любопытства, улавливали только сдержанное гудение аптекарева баса и громкие возгласы его слушателей.

Прежде всего вскоре после погрузки, как только «Фарандола» вышла из Марсельского порта, временно исполнявший обязанности губернатора, он же начальник экспедиции, Бомпар внезапно заболел какой-то непонятной болезнью, по его словам, заразной, и его высадили на берег, полномочия же свои он передал Безюке… Счастливец Бомпар!.. Должно быть, он предвидел, что их ожидало на острове.

Стоявший в Суэце «Люцифер» не мог двигаться дальше по причине своего плачевного состояния, и его пассажиров пришлось взять на борт и без того уже перегруженной «Фарандоле».

А как они страдали от жары на этом проклятом судне! Наверху можно было изжариться на солнце, внизу было тесно и душно.

Когда же они прибыли в Порт-Тараскон, их постигло разочарование, оттого что они ничего не обнаружили: ни города, ни порта, ни каких-либо других построек, но им так хотелось размяться на свободе, что, высадившись на пустынном острове, они все-таки облегченно вздохнули, искренне обрадовались. Нотариус Камбалалет, он же землемер, посмешил их даже уморительной песенкой о землеустройстве океана. Потом стали думать о вещах серьезных.

— Мы тогда решили, — рассказывал Безюке, — отправить корабль в Сидней за строительными материалами и послать вам отчаянную телеграмму, которую вы, конечно, получили.

Тут со всех сторон раздались возгласы недоумения:

— Отчаянную телеграмму?..

— Какую телеграмму?..

— Мы никакой телеграммы не получали…

— Дорогой Безюке! — покрывая гул голосов, заговорил Тартарен. — Мы получили только одну вашу телеграмму, в которой вы нам сообщили, что туземцы вас хорошо встретили и что в соборе был отслужен молебен.

Аптекарь вытаращил глаза от изумления:

— Молебен в соборе? В каком соборе?..

— Потом все объяснится… Продолжайте, Фердинанд… — сказал Тартарен.

— Я продолжаю… — подхватил Безюке.

Повесть его между тем становилась все безотраднее.

Колонисты бодро принялись за дело. Земледельческие орудия у них были, и они начали распахивать новь, но почва оказалась убийственной, на ней ничего не росло. Потом пошли дожди…

Вопль аудитории снова прервал рассказчика:

— Разве здесь бывают дожди?..

— Да еще какие!.. Хуже, чем в Лионе… хуже, чем в Швейцарии… десять месяцев в году.

Слушатели были подавлены. Их взоры невольно обратились к иллюминаторам, в которые был виден густой туман и неподвижные облака над влажною темною зеленью острова.

— Продолжайте, Фердинанд, — сказал Тартарен.

И Безюке продолжал.

Вечные дожди, стоячая вода, тифы, малярия — от всего этого начало быстро разрастаться кладбище. К болезням присоединилась тоска, хандра. Самые стойкие — и те не могли больше работать: так ослабевало тело в этом сыром климате.

Питались консервами, а кроме того, папуасы, жившие на другом конце острова, притаскивали ящериц и змей, приносили на продажу все, что им удавалось наловить и настрелять, и под этим предлогом проникали в колонию, так что в конце концов к этим коварным существам привыкли и перестали их бояться.

Но однажды ночью дикари захватили барак, — нечистая сила лезла в двери, в окна, через крышу, завладела оружием, перебила всех, кто пытался оказать сопротивление, остальных увела в свой лагерь.

Целый месяц после этого шли кровавые пиры. Пленных одного за другим приканчивали ударами палицы, жарили, как поросят, на раскаленных камнях, а затем безжалостные каннибалы поедали их…

Крик ужаса, вырвавшийся у всего собрания, навел страх даже на тех, кто пребывал на палубе, а у губернатора едва хватило сил прошептать:

— Продолжайте, Фердинанд,

На глазах у аптекаря погибли его товарищи: кроткий отец Везоль, вечно улыбавшийся, со всем мирившийся, до самой смерти твердивший: «Слава тебе, господи!» — и нотариус Камбалалет, веселый землемер, нашедший в себе силы сме-

яться даже на угольях.

— И эти изверги заставили меня есть несчастного Камбалалета! — содрогаясь при одном воспоминании, добавил Безюке.

Наступило молчание, а потом вдруг желчный Костекальд, сразу пожелтев, с перекошенным от злобы лицом обратился к губернатору:

— Как же вы нам говорили, писали и заставляли писать других, что здесь нет людоедов?

Пришибленный губернатор опустил голову.

— Нет людоедов!.. — подхватил Безюке. — Да они все людоеды! Человеческое мясо — это у них самое лакомое блюдо, особенно наше мясо, мясо белых тарасконцев: они до того к нему приохотились, что когда съели живых, так принялись за мертвых. Вы были на старом кладбище? Там ничего не осталось, ни одной косточки. Все до одной обглоданы, обсосаны, подчищены, как подчищаем мы тарелки после вкусного супа или после жареного мяса с чесноком.

— А как же вы-то, Безюке, уцелели? — спросил один из сановников первого класса.

Аптекарь полагал, что, живя среди склянок, возясь со всякими снадобьями: мятой, мышьяком, арникой, ипекакуаной, он в конце концов так пропитался ароматами лекарственных трав, что,

по всей вероятности, не понравился дикарям, а может быть, наоборот: из-за аптечного запаха они берегли его на закуску.

— Что же мы теперь будем делать? — выслушав рассказ Безюке, спросил маркиз дез Эспазет.

— Как что делать?.. — по обыкновению сердито заговорил Скрапушина. — Надеюсь, вы тут не останетесь?

— Ну уж нет!.. Конечно, нет!.. — закричали со всех сторон.

— Хотя мне заплатили только за то, чтобы доставить вас сюда, я готов всех желающих увезти обратно, — заявил капитан.

В этот миг тарасконцы простили ему его дурной характер. Они позабыли, что он собирался перестрелять их всех, «как собак». Его обступили, благодарили, жали ему руку. Но тут, покрывая шум голосов, с большим достоинством заговорил Тартарен:

— Поступайте как хотите, господа, а я остаюсь. На меня возложены обязанности губернатора, и я должен их исполнить.

— Губернатора чего? — гаркнул Скрапушина. — Ведь ничего же нет!

Другие его поддержали:

— Капитан прав… Ведь ничего же нет!..

Но Тартарен упорствовал:

— Герцог Монский взял с меня слово, господа.

— Ваш герцог Монский — жулик, — сказал Безюке. — Он и раньше казался мне подозрительным, когда у меня еще не было доказательств.

— Где же они, ваши доказательства?

— В кармане я их с собой не ношу! — С этими словами аптекарь стыдливым жестом запахнул плащ сановника первого класса, коим он прикрывал свою татуированную наготу. — Но недаром умирающий Бомпар, сходя с «Фарандолы», сказал мне: «Бойтесь этого бельгийца, — он лгун...» Бомпар не договорил — он очень ослаб от своей болезни. Впрочем, каких вам еще доказательств? Достаточно того, что герцог загнал нас на этот бесплодный остров с губительным климатом, чтобы мы заселили его и распахали новь, достаточно его лживых телеграмм...

Совет пришел в волнение, все заговорили разом, одобряя Безюке и осыпая герцога бранью:

— Лгун!.. Врун!.. Паршивый бельгиец!..

Один лишь Тартарен героически защищал его:

— Пока я не получу веских доказательств, я не переменю своего мнения о герцоге Монском...

— А мы уже составили о нем мнение: он вор!..

— Он мог поступить опрометчиво, он мог быть

плохо осведомлен…

— Не защищайте его, по нем плачет каторга!..

— Он меня назначил губернатором Порт-Тараскона, и я остаюсь в Порт-Тарасконе…

— Ну и оставайтесь тут один!

— Хорошо, останусь, если вы меня покинете. Только не увозите земледельческих орудий.

— Да ведь вам же говорят, что здесь ничего не растет! — вскричал Безюке.

— Значит, вы просто не сумели, Фердинанд.

При этих словах Скрапушина в сердцах ударил кулаком по столу, за которым заседал Совет.

— Он спятил!.. Я увезу его отсюда насильно, а при попытке к сопротивлению застрелю, как собаку.

— А ну, разэтакий такой, попробуйте!

Это, распалясь гневом, угрожающе воздев длань, выступил на защиту Тартарена отец Баталье.

Началась яростная перебранка, посыпались излюбленные тарасконские выражения, вроде: «Вы одурели… Вы мелете вздор… Вы порете несусветную дичь…»

Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не вмешался наконец начальник юридического отдела адвокат Бранкебальм.

Это был искусный оратор, пересыпавший свои доводы всевозможными перлами, вроде: «В том или ином случае, с одной стороны, с другой стороны», — так что любая его речь, сцементированная по римскому способу, была не менее прочно построена, чем акведук Гарского моста[103]. Искушенный в латыни, воспитанный на Цицероновой логике и красноречии, неизменно выводивший при помощи verum enim vero «постольку» из «поскольку», он воспользовался случайным затишьем, взял слово и, возведя ряд красивых, но бесконечно длинных периодов, в конце концов высказался за плебисцит.

Пусть пассажиры скажут «да» или «нет». С одной стороны, те, кто пожелает остаться, останутся. С другой стороны, те, кто пожелает уехать, отправятся в обратный путь на корабле, как только судовые плотники отремонтируют барак и блокгауз.

Примирительное предложение Бранкебальма было принято, и после этого сейчас же приступили к голосованию.

Весть о таком исходе дела переполошила тех,

---

[103] Примечания: 103

Гарский мост — римский водопровод (акведук), построенный в 19 году и переброшенный через реку Гар. Представляет собой три ряда стоящих друг на друге арок, длина его около 270 метров.

кто находился на палубе и в каютах. Всюду слышались жалобы и стенания. Бедняги вложили все свои средства в пресловутые гектары. Значит, они теряют все, значит, они должны отказаться от уже оплаченной земли, от надежды на колонизацию? Материальный интерес побуждал их остаться, но при взгляде на унылый пейзаж они впадали в нерешительность. Разрушенный барак, темная влажная зелень, за которой мерещились пустыня и каннибалы, перспектива быть съеденными, как съеден был Камбалалет, — все это ничего отрадного не сулило, и сердца переселенцев стремились к столь неблагоразумно покинутому Провансу.

Корабль с толпой эмигрантов напоминал разворошенный муравейник. Престарелая вдовица д'Эгбулид, не расставаясь ни с грелкой, ни с попугаем, бродила по палубе.

В шуме пререканий, предшествовавших голосованию, легко можно было уловить проклятья, посылавшиеся на голову бельгийца, «паршивого бельгийца»... О, теперь это был уже не его светлость герцог Монский!.. Просто — паршивый бельгиец... Слова эти произносились сквозь зубы, со сжатыми кулаками.

Как бы то ни было, из тысячи тарасконцев

полтораста проголосовали за то, чтобы остаться с Тартареном. Большинство их, надо заметить, составляли высокие особы, которым губернатор пообещал оставить их должности и звания.

Когда приступили к дележу продовольствия между отъезжающими и остающимися, опять начались препирательства.

— Вы пополните запасы в Сиднее, — говорили мореплавателям островитяне.

— А вы будете охотиться и ловить рыбу, — возражали те. — Зачем же вам столько консервов?

Тараск тоже вызвал ожесточенные перекоры. Вернется ли он в Тараскон?.. Останется ли в колонии?..

Спор возгорелся жаркий. Скрапушина несколько раз грозился расстрелять отца Баталье.

Дабы водворить мир, адвокат Бранкебальм вынужден был вновь выказать всю свою Нестерову мудрость и прибегнуть к хитроумным verum enim vero. Но ему стоило большого труда успокоить умы, помимо всего прочего возбужденные лицемерием Экскурбаньеса, который всеми силами старался подлить масла в огонь.

Курчавый, вихрастый, крикливый, со своим вечным девизом: *Двайте шумэт*ь!.. — этот лейтенант ополчения был не просто южанин — он

мог сойти за араба не только благодаря смуглому цвету кожи и вьющимся волосам, но и благодаря своей душевной низости, тщеславию, привычке танцевать на задних лапках перед сильным: на корабле — перед капитаном Скрапушина, окруженным матросами, на суше — перед Тартареном, окруженным ратниками ополчения. Каждому из них он по-разному объяснил, почему он избирает Порт-Тараскон.

Скрапушина он говорил:

— Я остаюсь, потому что моя жена должна родить, а если б не это…

А Тартарену:

— Ни за что на свете не поеду я с этим варваром.

Наконец, после долгих раздоров, дележ с грехом пополам был произведен. Тараск остался на корабле, островитяне же получили в обмен на него чугунную пушку и шлюпку.

Тартарен дрался за съестные припасы, за оружие, за каждый ящик с рабочим инструментом.

В течение нескольких дней взад и вперед беспрестанно сновали шлюпки, груженные всякой всячиной: ружьями, консервами, ящиками с тунцами и сардинами, паштетами из ласточек и пампери.

Одновременно в лесу раздавались удары топора, и одно за другим валились деревья — надо было срочно ремонтировать барак и блокгауз. Со стуком топоров и молотков сливались звуки горна. Днем вооруженные ратники ополчения охраняли работников на случай нападения дикарей, ночью располагались биваком на берегу. «Пусть попривыкнут к походной жизни», — говорил Тартарен.

Простились уже перед самым отъездом, и, надо сказать, довольно холодно. Отъезжающие завидовали остающимся, что, впрочем, не мешало им подпускать шпильки:

— Пойдет у вас дело на лад — напишите: мы вернемся…

С другой стороны, как ни бодрились многие колонисты, а в глубине души они были бы рады сесть на корабль.

Наконец судно снялось с якоря, грянул орудийный салют, с суши ответила чугунная пушка, заряженная отцом Баталье, а Экскурбаньес заиграл на кларнете: «Счастливый путь вам, Дюмоле».

Да! А все-таки, когда «Туту-пампам» обогнул мыс и скрылся из виду, на глазах у многих провожающих навернулись слезы, и порт-тарас-

конский рейд показался им вдруг бескрайним.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Порт-тарасконский мемориал. Дневник секретаря Паскалона

В дневнике упоминается обо всем, что говорилось и делалось в свободной колонии, когда ею правил Тартарен

20 сентября 1881 года. Я намерен отмечать здесь важнейшие события, которые произойдут в колонии.

Не знаю только, что со мной будет, до того я завален делами, я правитель канцелярии, на мне вся официальная переписка, а как выдастся свободная минутка, я на своем родном тарасконском наречии наспех строчу стихи: не должна же служба убивать во мне поэта!

Попробую все-таки; потом самому будет любопытно прочесть этот первый опыт истории великого народа. Я никому не говорил о своем начинании, даже губернатору.

После отбытия «Туту-пампама» прошла неделя, и я прежде всего считаю своим долгом отметить, что за это время наше положение улучшилось.

Понемногу обживаемся. Тарасконский флаг, таких же цветов, как и флаг французский, только с изображением Тараска, развевается над блокгаузом.

Здесь разместилось правительство, то есть Тартарен, начальники и возглавляемые ими отделы. Холостые начальники, как, например, я, начальник отдела здравоохранения г-н Турнатуар и главнокомандующий артиллерией и флотом отец Баталье, живут в Правлении и столуются у Тартарена. Гг. Костекальд и Экскурбаньес, люди женатые, питаются и ночуют в городе.

Городом мы называем большой дом, заново отделанный плотниками с «Туту-пампама». Вокруг него разбили нечто вроде бульвара и дали ему громкое название Городского круга, как в Тарасконе. У нас уже образовалась привычка. Мы говорим: «Вечером мы идем в город… Вы были утром в городе?.. Не пойти ли нам в город?..» И это никого не удивляет.

Блокгауз отделен от города ручьем, который мы называем Малой Роной. Когда окно в моей канцелярии открыто, я слышу, как стучат вальками выстроившиеся в ряд под откосом и склоненные над водою прачки, слышу, как они поют, как они перекликаются на своем провансальском языке,

языке красочном и сочном, и мне кажется, что я на родине.

Одно мне отравляет жизнь в Правлении — это пороховой погреб. Нам оставили изрядное количество пороху; сложен он в подвальном этаже вместе с разного рода провиантом, то есть с чесноком, консервами, крепкими напитками, а также с оружием, рабочим инструментом и сельскохозяйственными орудиями. Подвал накрепко запирается, но все равно: от одного сознания, что у вас под ногами столько горючих и взрывчатых веществ, вам становится не по себе, особенно ночью.

25 сентября. Вчера г-жа Экскурбаньес благополучно выродила[104] упитанного мальчика — это первый гражданин, записанный в порт-тарасконские акты гражданского состояния. Его весьма торжественно крестили в нашей маленькой, временной, построенной из бамбука и крытой широкими листьями церкви во имя святой Марфы Латаньерской.

На мою долю выпало счастье быть крестным отцом младенца и кумом мадемуазель Клоринды

---

[104] Примечания: 104

Так говорят в Тарасконе. «Мемориал» пестрит неправильными выражениями; исправить их, по-видимому, не сочли нужным *(Примеч. А. Доде)*

дез Эспазет; правда, моя кума ростом намного выше меня, но зато она такая хорошенькая, такая славненькая, и ее еще красили блики солнечного света, проникавшего сквозь бамбуковую изгородь и между неплотно перевитыми ветвями навеса.

Весь город присутствовал при этой церемонии. Наш добрый губернатор произнес трогательную речь, всех нас умилившую, а отец Баталье рассказал одну из самых красивых своих легенд. В этот день, как в праздник, работы были повсюду приостановлены. После крестин на Городском кругу состоялось гулянье. Все ликовали; у нас было такое чувство, как будто новорожденный принес колонии счастье и надежду на лучшее будущее. Правительство раздало островитянам двойную порцию тунцов и пампери, и за обедом у всех было лишнее блюдо. Для нас, холостяков, зажарили кабана, которого убил маркиз — лучший стрелок на всем острове после Тартарена.

По окончании обеда, оставшись наедине с моим дорогим учителем и почувствовав все его отеческое ко мне расположение, я открылся ему в своей любви к мадемуазель Клоринде. Оказывается, учитель давно уже догадывался: он заулыбался, подбодрил меня и обещал замолвить словечко.

К несчастью, маркиза, урожденная д'Эскюдель де Ламбеск, кичится своим происхождением, а ведь я простой разночинец. Конечно, в нашем роду все, как на подбор, люди хорошие, безукоризненно честные, а все-таки мы чистокровные мещане. Кроме того, мне мешает моя застенчивость и легкое заиканье. Помимо всего прочего, я начинаю лысеть… Вот что значит в такие юные годы управлять целой канцелярией!..

Маркиз — это бы еще ничего! Ему только дай поохотиться… Это не маркиза с ее помешательством на родословной. Вот вам пример ее чванливости. В городе все по вечерам собираются в общей зале. Получается очень мило: дамы вяжут, мужчины играют в вист. И только г-жа дез Эспазет из надменности остается с дочерьми в своей каютке, до того тесной, что переодеваются они по очереди. В этой каморке повернуться негде, а она мало того что сама с дочерьми коротает там вечер, да еще и гостей принимает и поит их липовым цветом и ромашкой, только бы не смешиваться со всеми прочими — до того в ней сильно презрение к меньшой братии. Вот какие дела!

А все-таки я не теряю надежды.

29 сентября. Вчера губернатор собрался в город. Он обещал поговорить обо мне и по возвращении

все рассказать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ждал! Однако, вернувшись, он не проронил ни слова.

За завтраком он нервничал; в разговоре с капелланом у него вдруг вырвалось:

— А знаете ли, нам тут, в Порт-Тарасконе, положительно недостает меньшой братии…

Так как это презрительное выражение «меньшая братия» не сходит с уст г-жи дез Эспазет де Ламбеск, то я заключил, что губернатор ее видел и что предложение мое отвергнуто, но узнать поточнее мне не удалось, потому что он сейчас же перешел на другую тему и заговорил о докладе Костекальда по поводу сельскохозяйственных культур.

А Костекальд доказывал, что положение безнадежно. Все попытки напрасны: маис, пшеница, картофель, морковь — ничто не взошло. Нет чернозема, нет солнца, на поверхности слишком много воды, а в подпочву влага не просачивается, посевы затоплены. Словом, оказалось, что Безюке еще несколько смягчил.

Нужно сказать, что начальник сельскохозяйственного отдела, быть может, нарочно сгустил краски, изобразил все в чересчур зловещих тонах. Скверный он человек, этот Костекальд! Завидует

славе Тартарена и в глубине души ненавидит его.

Его преподобие отец Баталье, не любящий никаких подходов, прямо потребовал его отставки, но губернатор с присущей ему дальновидностью и со свойственной ему выдержкой заметил:

— Не увлекайтесь…

Встав из-за стола, он прошел в кабинет к Костекальду и, как ни в чем не бывало, спросил:

— Ну что, господин начальник, как же насчет культур?

Костекальд, не дрогнув ни единым мускулом, ехидно заметил:

— Я представил доклад господину губернатору.

— Полно, полно, Костекальд, ваш доклад что-то уж слишком мрачен!

Костекальд сразу весь пожелтел:

— Уж каков есть, а если он вам не нравится…

Это было сказано вызывающе, но они были не одни, и Тартарен сдержался.

— Костекальд! — сказал он, и его маленькие серые глазки засверкали. — Я с вами поговорю наедине.

Это было очень страшно, меня даже в пот бросило…

30 сентября. Так я и знал: мое предложение дез

Эспазеты отвергли. Я слишком низкого происхождения. Бывать у них я могу по-прежнему, но надеяться не смею…

Но на что же они сами-то надеются?.. Кроме них, дворян в колонии больше нет. За кого же они рассчитывают выдать дочь? Ах, господин дез Эспазет, нехорошо вы со мной поступили!..

Что же делать?.. Как быть?.. Клоринда любит меня, я знаю, но она девушка благоразумная, она не пойдет на то, чтобы молодой человек ее похитил, бежал с ней и где-нибудь обвенчался… Да и попробуй тут убеги! Ведь мы на острове, отрезаны от всего мира.

Откажи они мне, когда я был всего-навсего аптекарским учеником, это я бы еще понял. Но теперь, когда я занимаю такое высокое положение, когда у меня такое блестящее будущее…

Скольких девушек я осчастливил бы своими притязаниями! Да вот, далеко некуда ходить, малютка Бранкебальм: она хорошая музыкантша, сама играет на фортепьяно и своих сестер обучает; намекни я только — родители были бы в восторге!

Ах, Клоринда, Клоринда!.. Кончились дни счастья!.. И, как назло, с утра зарядил дождь, зарядил на весь день, все заливает, все покрывает мелкой

штриховкой, на все набрасывает серую пелену.

Безюке не солгал. Идет дождь в Порт-Тарасконе, идет и идет!.. Дождь смыкает вокруг вас кольцо, обносит вас частой решеткой, частой, как в клетке для цикад. Нет больше горизонта. Есть дождь, только дождь. Он затопляет землю, подергивает рябью море, и море сливает с дождем падающим поднимающийся дождь брызг и водяной пыли.

3 октября. Губернатор правильно сказал: нам положительно недостает меньшой братии! Поменьше бы благородных отпрысков, поменьше сановников да побольше водопроводчиков, каменщиков, кровельщиков, плотников — тогда бы дела колонии пошли на лад.

Нынче ночью дождь все шел и шел, яростный водяной смерч пробил крышу в большом доме, город затоплен, все утро в Правление поступали жалобы.

Отделы валили друг на друга. Сельскохозяйственники заявили, что это дело секретариата, секретариат утверждал, что это подведомственно здравоохранению, а здравоохранение отсылало жалобщиков в морское ведомство на том основании, что это, мол, плотницкая работа.

В городе росло недовольство «существующим порядком».

А дыра в крыше все увеличивалась, сверху вода лилась потоками, во всех каютках затопляемые жильцы, раскрыв зонтики, злобно переругивались, кричали, возмущались правительством.

Хорошо еще, что мы не терпим недостатка в зонтах! Много их валяется среди всякой рухляди, которую мы привезли на обмен дикарям, — почти столько же, сколько ошейников для собак.

Чтобы остановить наводнение, некая девица Альрик, находящаяся в услужении у мадемуазель Турнатуар, взгромоздилась на крышу и прибила цинковый лист, который она взяла на складе. Губернатор поручил мне написать ей благодарственное письмо.

Упоминаю я об этом происшествии потому, что тут обнаружились слабые стороны нашей колонии.

Администрация у нас превосходная, деятельная, даже, я бы сказал, чересчур громоздкая, истинно французская, но для колонизации нам не хватает рабочих рук, — мы не столько заняты делом, сколько междуведомственной перепиской.

Еще меня поражает вот что: любая из наших важных птиц ведает тем, к чему она меньше всего пригодна и подготовлена. Взять хотя бы

оружейника Костекальда: он всю жизнь провел среди пистолетов, сабель и всякого охотничьего снаряжения, а его назначили начальником сельскохозяйственного отдела. Экскурбаньес всех за пояс заткнул по части изготовления арльских колбас, а его после несчастного случая с Бравида поставили во главе военного ведомства и ополчения. Артиллерия и флот находятся в подчинении у отца Баталье только потому, что у него воинственный нрав, а если разобраться, так он лучше всего служит обедни и рассказывает разные истории.

В городе то же самое. Мелкие рантье, мануфактурщики, бакалейщики, пирожники — все эти почтенные граждане владеют земельными участками, но так как они ничего не смыслят в сельском хозяйстве, то и не знают, как к ним приступиться.

По-моему, один только губернатор действительно знает свое дело. Во всем-то он разбирается, все-то он видел, все читал, а главное, какая у него живость воображения!.. К сожалению, он слишком мягок и старается не замечать дурного. Так, например, он все еще не утратил доверия к этому негодяю бельгийцу, к этому обманщику — герцогу Монскому. Он все еще надеется, что тот

явится сюда с колонистами, с запасом продовольствия, и каждое утро, как только я вхожу к нему в кабинет, прежде всего задает мне вопрос:

— А что, Паскалон, корабля нынче не видно?

И подумать только, что такой благожелательный, такой прекрасный человек, как наш губернатор, нажил себе врагов! Да, уже нажил. Он сам об этом знает и только посмеивается.

— Что меня недолюбливают — это вполне естественно, — говорит он мне иногда, — ведь я же для них «Существующий порядок»!

8 октября. Все утро был занят переписью населения, и ее данные я привожу здесь. Этот документ, относящийся к начальному периоду истории нашей колонии, тем более интересен, что составил его один из основателей колонии, один из тех, кто начал трудиться на ее благо, как только она возникла.

О каждом лице сделано краткое примечание, с тем чтобы сразу можно было определить, кто за, а кто против губернатора. В этом списке отсутствуют женщины и дети, поскольку в голосовании они не участвуют.

КОЛОНИЯ ПОРТ-ТАРАСКОН

Данные переписи

Фамилия: Его превосходительство Тартарен.

Должность и звание: Губернатор, кавалер ордена 1-й степени.

Особые отметки:

Ф.: Тестаньер (Паскаль), именуемый Паскалоном.

Д/з: Правитель канцелярии, сановник 2-го класса.

О/о: Осмеливаюсь утверждать: человек превосходный.

Ф.: Его преподобие отец Баталье.

Д/з: Командующий артиллерией и флотом, капеллан при губернаторе, сановник 1-го класса.

О/о: Мыслит здраво, но легко возбуждается.

Ф.: Экскурбаньес Спиридион.

Д/з: Начальник военного ведомства, командующий ополчением и руководитель хорового кружка, сановник 1-го класса.

О/о: Взять на заметку.

Ф.: Д-р Турнатуар

Д/з: Начальник отдела здравоохранения, главный врач колонии, сановник 1-го класса.

О/о: Превосходный человек.

Ф.: Костекальд Фабий.

Д/з: Начальник сельскохозяйственного отдела, сановник 1-го класса.

О/о: Отвратительный человек.

Ф.: Бранкельмбальм Цицерон.

Д/з: Начальник юридического отдела, сановник 1-го класса.

О/о: Человек очень хороший, но скучный.

Ф.: Торкбьо Марий.

Д/з: Помощник правителя канцелярии, сановник 2-го класса.

О/о: Хороший человек.

Ф.: Безюке Фердинанд.

Д/з: Помощник начальника отдела здравоохранения, заместитель главного врача и фармацевт колонии.

О/о: Хороший человек.

Ф.: Галофер.
Д/з: Ризничий, он же инспектор артиллерии.
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Рюжимабо Антонин.
Д/з: Сотрудник сельскохозяйственного отдела.
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Барбан Сенека.
Д/з: Сотрудник сельскохозяйственного отдела.
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Маркиз дез Эспазет.
Д/з: Лейтенант ополчения.
О/о: Хороший человек.

Ф.: Бомвьейль Досифей.
Д/з: Колонист.
О/о: » »

Ф.: Космиль Тимофей.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Эскара.

Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барафор Альфонс.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Рабина (моряк).
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Кудонья (моряк).
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Руменгас (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Дурладур (моряк).
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Мьежвиль (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Менфор (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Буске (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Лафранк (моряк).
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Траверсьер.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Буфартиг Нерон.
Д/з: Пирожник.
О/о: » »

Ф.: Пертюс.
Д/з: Содержатель кофейни.
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Ребюфа.

Д/з: Кондитер.
О/о: Хороший человек.

Ф.: Бердула Марк.
Д/з: Барабанщик.
О/о: » »

Ф.: Фуркад.
Д/з: Горнист.
О/о: » »

Ф.: Бекуле.
Д/з: Горнист.
О/о: Плохой человек.

Ф.: Везане.
Д/з: Ратник ополчения.
О/о: Подозрительный.

Ф.: Мальбос.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Кесарг.
Д/з: » »
О/о: Очень плохой человек.

Ф.: Бульярг.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Абидос.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Труяс.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Рейранглад.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Толозан.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Маргути.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Пру.

Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Труш.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Сев.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Сорг.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Кад.
Д/з: » »
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Пюэш.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Боск.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Жув.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Трюфенюс
Д/з: » »
О/о: Отвратительный человек.

Ф.: Роктальяд.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барбюс.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барбуэн.
Д/з: » »
О/о: Плохой человек.

Ф.: Руньонас.
Д/з: » »
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Сосин.

Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Соз.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Рур.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Барбигаль.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Меренжан.
Д/з: » »
О/о: Подозрительный.

Ф.: Вентебрен.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Гаво.
Д/з: » »
О/о: Плохой человек.

Ф.: Марк-Аврелий.
Д/з: » »
О/о: Очень хороший человек.

Ф.: Кок де Мер.
Д/з: Хорист.
О/о: Хороший человек.

Ф.: Понж-старший.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Гаргас.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Лапалюд.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Безус.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Понж-младший.

Д/з: » »
О/о: Плохой человек.

Ф.: Пишраль.
Д/з: » »
О/о: Хороший человек.

Ф.: Мезуль.
Д/з: Охотник.
О/о: » »

Ф.: Устале.
Д/з: » »
О/о: » »

Ф.: Террон Марк-Антоний.
Д/з: » »
О/о: » »
---

10 октября. Маркиз дез Эспазет и еще несколько искусных стрелков на время дождя устроили себе мишень из жестяных коробок, в которых раньше были тунцы, сардины и пампери, и день-деньской палили по ним из окон.

Теперь, когда новую каску или каскетку достать не так-то легко, бывшие стрелки по фуражкам

превратились в стрелков по консервным банкам. Отличное, в сущности говоря, упражнение. Но Костекальд уверил губернатора, что на это идет много пороху, после чего был издан декрет, воспрещающий стрельбу по жестянкам. Стрелки по консервным банкам в ярости, дворянство ропщет. Зато Костекальд и вся его шайка потирают руки.

Но в чем же можно упрекнуть нашего бедного губернатора? Негодяй бельгиец оплел его, как и всех нас. И разве это его вина, что хлещет дождь и из-за ненастья нельзя устроить бой быков?

С этим злополучным боем быков сплошное невезенье, а уж как радовались тарасконцы, что им удастся его устроить, — нарочно привезли сюда коров и камаргского быка Римлянина, прославившегося на провансальских торжествах.

Из-за дождей скотину не выгоняли, все время держали в хлеву, и вдруг — до сих пор не выяснено, при каких обстоятельствах, я не удивлюсь, если окажется, что здесь замешан Костекальд, — Римлянин пропал.

Он бродит по лесам, совсем одичал, превратился в настоящего бизона. И теперь уж никому в голову не придет вызывать его на бой, — того и гляди, он бросится в бой по собственному почину, вот все и бросаются от него врассыпную.

Что ж, и это, значит, вина Тартарена?..

II
Бой быков в Порт-Тарасконе. Приключения и схватки. Прибытие короля Негонко и его дочери Лики-Рики. Тартарен трется носом о нос короля. Великий дипломат

День за днем, страница за страницей, с той кропотливостью, которая чувствовалась в серой штриховке дождя, с той безнадежно тусклой однотонностью, с какой его сетка затягивала горизонт, ведет летопись жизни колонии лежащий у нас перед глазами «Мемориал». Однако, боясь наскучить, читателям, мы лишь вкратце передадим содержание дневника нашего друга Паскалона.

Так как отношения между городом и губернатором становились все более натянутыми, то, чтобы не утратить окончательно своей популярности, Тартарен решился наконец устроить бой быков, но уже, разумеется, без Римлянина, который по-прежнему бродил где-то в дебрях, а только с тремя оставшимися коровами.

Эти три злосчастные камаргские коровенки, привыкшие в родной Камарге к вольному воздуху, к яркому солнцу, здесь, на острове, отощали, исхудали, да и было от чего: привезли их в Порт-Тараскон, загнали в сырой и темный сарай и за все время ни разу не выпустили. Ну да не беда. Все лучше, чем ничего.

Первым делом на песчаном берегу, где обыкновенно происходили строевые занятия ратников ополчения, сколотили помост, затем вбили колья и протянули между ними веревки, — так была огорожена арена.

Временно распогодилось, и, воспользовавшись этим, «Существующий порядок», разряженный, окруженный сановниками в парадной форме, уселся на возвышении, меж тем как колонисты, ратники, их жены, дочери и служанки толпились подле веревок, а дети бегали по кругу и кричали:

— Эй!.. Эй!.. Быки!..

В этот миг была забыта скука долгих дождливых дней, забыта злоба на бельгийца, паршивого бельгийца.

— Эй!.. Эй!.. Быки!..

Все с ума сходили от радости.

Но вот застучали барабаны.

Это был сигнал. В мгновение ока толпа отхлы-

нула, и на арену, встреченная громким «ура!», вышла корова.

Ничего страшного она собой не представляла. Бедная оголодавшая коровка большими, отвыкшими от света глазами глядела по сторонам. Протяжно, жалобно мыча, отчего затряслись прицепленные к ее рогам ленты, она стала посреди цирка — и ни с места, пока наконец возмущенная толпа дубинами не прогнала ее с арены.

С другой коровой получилось иначе. Никакими силами нельзя было выгнать ее из сарая. Ее толкали, дергали за хвост, тащили за рога, тыкали вилами в морду — так она и не вышла.

Посмотрим теперь, как повела себя третья. Про нее говорили, что она очень сердитая, что ее легко раздразнить. И впрямь: она галопом влетела на арену, роя своими раздвоенными копытами землю, обмахиваясь хвостом и тычась во все стороны мордой… Наконец-то будет настоящий бой!.. Да, как бы не так! Собравшись с силами, корова перемахнула через веревку и, наставив рога на толпу, пробила себе путь прямехонько к морю.

Вода ей была сперва по колено, затем по холку, а она все шла себе да шла. Вскоре над водой остались только ее ноздри да полумесяц рогов. Так

она молча и мрачно простояла здесь до самого вечера. Вся колония осыпала ее с берега бранью, свистела, бросала в нее камнями, причем и свист и ругань относились не только к ней, но и к бедному «Существующему порядку», сошедшему с возвышения.

Так как бой быков не удался, надо было чем-нибудь другим поднять упавший дух островитян. Наилучшим средством отвлечения была признана война, экспедиция против короля Негонко. После кончины Бравада, Камбалалета, Везоля и других славных тарасконцев этот мерзавец бежал со своими папуасами, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Говорили, впрочем, что он обретается мили за две, за три отсюда, где-то на соседнем острове, расплывчатые очертания которого, большую часть года задернутые завесой тумана, можно было различить в ясный день. Тартарен, будучи человеком миролюбивым, долго не решался предпринять поход, но в конце концов политические соображения взяли верх.

После того как была приведена в порядок и починена шлюпка и на ее носу установлена кулеврина, орудийную прислугу при которой составляли отец Баталье и ризничий Галофр, однажды утром двадцать хорошо вооруженных

ратников под командой Экскурбаньеса и маркиза дез Эспазета, сложив в шлюпку запас продовольствия, погрузились и вышли в море.

Отсутствовали они три дня, и дни эти показались колонистам отменно длинными. На исходе третьего дня островитяне, услышав донесшийся с моря пушечный выстрел, высыпали на берег и увидели, что шлюпка, словно подгоняемая ветром триумфа, едва касаясь носом волн, летит на всех парусах.

Она еще не успела пристать к берегу, а восторженные крики подплывавших и Экскурбаньесово «*Двайте шумэть*» уже возвестили островитянам блестящий успех экспедиции.

Каннибалам отомстили жестоко: сожжено множество селений, перебито, согласно показаниям всех без исключения участников похода, несколько тысяч папуасов. Цифра колебалась, но все же оставалась весьма внушительной. О событиях рассказывали тоже по-разному. Одно было несомненно: ратники привезли с собой человек шесть знатных пленников, в том числе самого короля Негонко и его дочь Лики-Рики, коих немедленно препроводили в Правление мимо толпы, рукоплескавшей победителям.

Ратники шли церемониальным маршем, уве-

шанные, точно солдаты Христофора Колумба, возвращавшиеся после открытия Нового Света, множеством разных необыкновенных вещей: блестящими перьями, звериными шкурами, оружием и тряпьем дикарей.

Но больше всего глазели на пленников. Добрые тарасконцы разглядывали их со злорадным любопытством. Отец Баталье велел прикрыть их смуглую наготу одеялами, и они с грехом пополам в них завернулись. При мысли, что эти дикари, в таком наряде шествующие сейчас в Правление, съели отца Везоля, нотариуса Камбалалета и многих других, островитяне содрогались от омерзения, точно они были в зверинце и смотрели, как удавы, залегшие в складках шерстяной подстилки, переваривают пищу.

Король Негонко, высокий черный старик под шапкой курчавых и совершенно седых волос, с раздутым, как у грудного младенца, животом, привесив за бечевку к левой руке трубку из марсельской глины, шел впереди. Рядом с ним, блестя глазенками, в которых так и прыгали чертенята, шла маленькая Лики-Рики с коралловым ожерельем на шее и с браслетами из розовых раковин. За ними шли большие, длиннорукие черные обезьяны и, жутко улыбаясь, скалили острые зубы.

Островитяне попробовали было пошутить:

— Вот теперь будет работа для мадемуазель Турнатуар!

В самом деле: добродетельная старая дева, преследуемая своей навязчивой идеей, уже подумывала о том, как она оденет всех этих дикарей. Но при воспоминании о соотечественниках, съеденных каннибалами, любопытство тарасконцев перешло в ярость.

Раздались крики:

— Смерть им!.. Смерть им!.. Бей их!..

Экскурбаньес, желая прослыть лихим воякой, повторял слова Скрапушина:

— Перестрелять их всех, как собак!..

Чтобы остановить безумца, Тартарен предостерегающе поднял руку:

— Спиридион! Надо уважать законы войны.

Не торопитесь, однако, приходить в восторг от прекрасных слов губернатора — это была с его стороны особая политика, и только.

Горячий защитник герцога Монского, Тартарен в глубине души начал в нем сомневаться. А что, если он в самом деле нарвался на жулика? Тогда, значит, купчей крепости не существует, как не существует и всего остального, остров, будто бы проданный королем Негонко герцогу Монскому,

не принадлежит тарасконцам, а земельные акции — простые бумажки.

Вот почему губернатор не только не перестрелял пленников, «как собак», но даже устроил папуасскому королю торжественную встречу.

Он прочитал книги всех мореплавателей, знал наизусть Кука, Бугенвиля, д'Антркасто[105] и благодаря этому в грязь лицом не ударил.

Он подошел к королю и потерся носом о его нос. Дикарь был, видимо, изумлен, ибо подобный обычай давно уже исчез у этих племен. Полагая, однако, что так, наверно, принято в Тарасконе, король сопротивления не оказал. Глядя на них, и другие пленники, в том числе маленькая Лики-Рики, у которой нос был как у кошки, а вернее сказать — у которой совсем не было носа, захотели во что бы то ни стало проделать ту же церемонию с Тартареном.

После того как все вдоволь потерлись носами, надо было переходить с дикарями на язык слов. Отец Баталье заговорил с ними на «тамошнем» папуасском наречии, но так как оно ничего

---

[105] Примечания: 105

Д'Антркасто Антуан-Реймон-Жозеф де Брюни (1737-1793) французский мореплаватель, возглавлявший первую экспедицию, отправленную на поиски Лаперуза в 1791 году. Исследовал ряд островов Полинезии и Меланезии; заболел во время плавания и умер в море.

общего не имело со «здешним», пленники, разумеется, его не поняли. Цицерон Бранкебальм, немного знавший английский язык, попробовал заговорить с ними по-английски. Экскурбаньес пробормотал несколько слов по-испански, но тоже не имел успеха.

— Дайте им сначала поесть, — сказал Тартарен.

Открыли несколько коробок тунцов. На сей раз дикари поняли, с жадностью набросились на консервы и, уничтожив содержимое жестянок, принялись выскребывать их вымазанными маслом пальцами. Затем король, отнюдь, как оказалось, не дурак выпить, тяпнул водочки и, к великому изумлению Тартарена и всех прочих островитян, хриплым голосом затянул песню:

Охотой иль неволей,
Но только в эти дни
Из башен Тараскона
Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они.

Утробный голос вислогубого дикаря с черными от бетеля зубами придавал тарасконской песне какое-то дикое и жуткое звучание. Но откуда Негонко мог знать тарасконское наречие?

После минутного недоумения все объяснилось.

Прожив несколько месяцев по соседству со злосчастными пассажирами «Фарандолы» и «Люцифера», папуасы выучились говорить так, как говорят на берегах Роны. Конечно, они исказили этот язык, но все-таки при помощи жестов с ними можно было до чего-нибудь договориться.

И в конце концов договорились.

Когда короля Негонко спросили про герцога Монского, то король ответил, что он в первый раз о нем слышит.

Равным образом он заявил, что остров никогда никому не был продан.

Равным образом он заявил, что никакой купчей крепости не было совершено.

Ах, не было совершено?.. Ну что ж! И Тартарен, не моргнув глазом, на том же самом заседании составил купчую крепость. Бранкебальм, сей кладезь учености, изрядно потрудился над тем, чтобы придать ей безукоризненно строгую форму официального документа. Он вложил в нее все свое знание законов, вставил тьму всяких «ввиду того, что…», скрепил ее римским цементом, и получилось нечто сжатое и прочное.

Король Негонко уступал остров Порт-Тараскон за бочонок рому, десять фунтов табаку, два бумаж-

ных зонтика и дюжину собачьих ошейников.

В особом примечании специально оговаривалось, что Негонко, его дочь и их свита могут поселиться на западной оконечности острова, в той его части, куда никто не заходил из боязни наткнуться на Римлянина, знаменитого быка, превратившегося в бизона, — единственное опасное существо во всей колонии.

Все это было обделано и обстряпано на тайном заседании за несколько часов.

Так благодаря дипломатическому искусству Тартарена порт-тарасконские земельные акции стали теперь представлять собой некую ценность, стали что-то значить, чего прежде с ними не случалось.

III

Дождь все идет. Повальная водянка. Суп с чесноком. Приказ губернатора. Чесноку не хватит. Чесноку хватит! Крестины Лики-Рики

А между тем все та же слякоть, все то же серое небо, и дождь льет, льет… По утрам в городе отворялись окна, протягивались руки:

— Идет дождь!

— Идет!..

Он шел беспрерывно, как и говорил Безюке.

Бедный Безюке! Несмотря на все невзгоды, какие довелось ему претерпеть вместе с пассажирами «Фарандолы» и «Люцифера», он все же остался в Порт-Тарасконе: из-за своей татуировки он не решался вернуться в земли христианские. Временно исполняющий обязанности губернатора скоро стал простым аптекарем и младшим врачом под началом у Турнатуара, но он мирился и с этим положением, лишь бы не показывать в цивилизованных странах свою чудовищную физиономию, раскрашенные и испещренные точками руки. Неудачи свои он вымещал на соотечественниках, которым приходилось выслушивать самые мрачные его предсказания. Если они жаловались на дождь, грязь, мокроту, он только пожимал плечами:

— Погодите!.. Это еще что!

И он не ошибался. Люди начинали хворать — на них действовали вечная сырость и отсутствие свежей пищи. Коров давно уже съели. На охотников надежда была плоха, хотя они могли похвалиться такими меткими стрелками, как маркиз дез Эспазет, и хотя правила Тартарена

вошли у них в плоть и кровь: для перепела отсчитать «раз, два, три», для куропатки — «раз, два».

Да вот беда: ни куропаток, ни перепелов — ни черта тут не водилось, даже чайки и буревестники — и те не залетали с моря на эту сторону острова.

На охоте попадались лишь кабаны, да и то редко, или кенгуру, но убить кенгуру очень трудно, оттого что они все время прыгают и скачут.

Тартарен и сам толком не знал, до скольких нужно считать, прежде чем выстрелить в это животное. Когда маркиз дез Эспазет задал ему однажды этот вопрос, он ответил наобум:

— До шести, маркиз…

Дез Эспазет отсчитал шесть, но кенгуру от него убежала, и вместо кенгуру он схватил отчаянный насморк, оттого что охотился под проливным, обложным дождем.

— Пойду-ка я сам на охоту, — заявил Тартарен.

Но из-за ненастной погоды он откладывал это предприятие, а дичи между тем становилось все меньше. Правда, жирные ящерицы на вкус были недурны, но их пресное белое мясо, которое пирожник Буфартиг консервировал по способу «белых отцов», в конце концов опротивело тарасконцам.

К отсутствию свежей пищи прибавилось новое лишение: тарасконцы не могли делать моцион. И то сказать: кому охота шлепать по лужам, по грязи, под дождем?

Городской круг залит, затоплен!

Лишь немногие храбрецы — Эскара, Дурладур, Менфор, Роктальяд — невзирая на проливень, выходили копать землю, распахивать свои «гектары» и упорно старались хоть что-нибудь вырастить, но вырастало во влажном тепле этой земли, которую вечно мочил дождь, нечто весьма странное: сельдерей за одну ночь вымахивал в огромное дерево, жесткое-прежесткое, капуста тоже достигала потрясающих размеров, но все у нее уходило в кочерыжку, длинную, как ствол пальмы, от картофеля же и от моркови пришлось совсем отказаться.

Безюке сказал правду: здесь или совсем ничего не росло, или уж росло до небес.

К этому ряду причин, способствовавших деморализации, прибавьте еще скуку, тоску по далекой отчизне, сожаление об уютных тарасконских беседках, настроенных вдоль позлащенного солнцем городского вала, и не удивляйтесь после этого, что число больных увеличивалось с каждым днем.

К счастью для больных, начальник отдела здравоохранения Турнатуар не верил в фармакопею и, вместо того чтобы пичкать их всякими снадобьями, «замикстуривать» их, как это делал Безюке, прописывал им «супцу с чесночком».

Действовало это безотказно, уж вы мне поверьте! Человек весь распух, ни гласа, ни воздыхания, просит послать за священником и за нотариусом. Приносят ему супцу с чесночком — три головки на небольшой чугунок, туда же три полные ложки свежего прованского масла, гренков — и человек, от слабости не могший говорить, неожиданно восклицает:

— А, чтоб!.. Как здорово пахнет!..

Один запах уже возвращал его к жизни.

Скушает тарелочку, другую, а после третьей опухоль у него опадает, появляется голос, и он встает с постели, а вечером в общей зале уже играет в вист. Не следует, однако, забывать, что все это были тарасконцы.

Только одна-единственная больная — знатная дама из высшего круга, маркиза дез Эспазет, урожденная д'Эскюдель де Ламбеск, — отказалась от Турнатуарова снадобья. Суп с чесноком хорош для меньшой братии, но не для тех, кто ведет свое происхождение от крестоносца… Она не хотела

об этом слышать, равно как и о свадьбе Клоринды с Паскалоном. А между тем состояние несчастной дамы внушало самые серьезные опасения. Ей по-настоящему было *нехорошо.* Под этим неопределенным названием в данном случае надо разуметь некое странное заболевание, род водянки, сущий бич наших южан-колонистов. Это была болезнь уродующая: у больных слезились глаза, живот и ноги пухли. Она напоминала «болезнь доктора Мова» из легенды о сыне человеческом.

Словом, несчастную маркизу «разнесло», как выражается автор «Мемориала». Кроткий и безутешный Паскалон каждый вечер отправлялся в город и всякий раз заставал такую картину: бедная женщина лежала в постели под громадным синим бумажным зонтом, прикрепленным к изголовью, охала и наотрез отказывалась от супа с чесноком, рослая Клоринда заботливо кипятила липовый цвет, а маркиз с видом философа набивал в углу патроны для завтрашней весьма сомнительной охоты.

В соседних клетушках вода стекала с раскрытых зонтов, пищали дети, в общей зале шли шумные споры, сталкивались различные политические убеждения. А дождь все барабанил по стеклам окон, по цинковой крыше, и целые водопады с

шумом низвергались из водосточных труб.

Костекальд между тем продолжал интриговать: днем — в кабинете начальника сельскохозяйственного отдела, вечером — в городе, в общей зале, совместно с такими отпетыми негодяями, как Барбан и Рюжимабо, которые помогали ему распускать зловещие слухи и между прочим такой: «Чесноку не хватит!..»

А вдруг в самом деле нельзя будет достать спасительного, целительного чесноку, этой универсальной панацеи, хранящейся на складе правительства, которое, как уверял Костекальд, наложило на нее лапу? Страшно подумать!

Наветы начальника сельскохозяйственного отдела подхватил — да еще как громогласно! — Экскурбаньес. Существует старая тарасконская пословица: «Пизанские разбойники днем между собой дерутся, а по ночам вместе грабят». Пословица эта как нельзя лучше подходила к двуличному Экскурбаньесу, который в Правлении, при Тартарене, выступал против Костекальда, а по вечерам, в городе, подпевал злейшим врагам губернатора.

Тартарен, славившийся своей кротостью и терпением, не мог не знать про эти нападки. Когда он перед сном покуривал у раскрытого окна труб-

ку, до него вместе с ночными шорохами, вместе с журчаньем Малой Роны и сбегавших с горы ручейков, образовавшихся от дождей, долетали отголоски споров, сердитые голоса, взор его различал сквозь мглу огоньки, мерцавшие в окнах большого дома. И при мысли, что вся эта шумиха поднята Костекальдом, рука его судорожно цеплялась за подоконник, а глаза метали молнии в ночной мрак. Но так как волнение и сырость были ему вредны, он пересиливал себя, закрывал окно и преспокойно шел спать.

Страсти между тем до того разгорелись, что в конце концов он решился на крайние меры: уволил Костекальда и двух его приспешников, мало того — лишил его плаща сановника первого класса, а на его место назначил Бомвьейля, бывшего часовщика, смыслившего в земледелии, пожалуй, столько же, сколько его предшественник, но зато человека заведомо в высшей степени порядочного, помощниками же его вместо Рюжимабо и Барбана назначил бывшего клееночника Лафранка и бывшего торговца «наилучшими» леденцами Ребюфа — выбор был сделан на редкость удачный.

Декрет вывесили ранним утром на дверях большого дома, так что Костекальд, отправляясь на

службу, сейчас же налетел на эту пощечину. И очень скоро всем стало ясно, насколько был прав Тартарен, что так смело действовал.

Часа через два перед резиденцией появилось человек двадцать недовольных, вооруженных до зубов.

— Долой губернатора!.. — кричали они. — Смерть ему!.. В Рону его!.. Вот его куда!.. Вот его куда!.. Пусть подает в отставку! В отставку!

За этим сбродом следовал почтенный Экскурбаньес и ревел громче всех:

— В отставку!.. *Двайте шумэть*!.. В отставку!..

На их несчастье, дождь лил как из ведра, и в одной руке они держали ружье, а в другой — зонт. А правительство, со своей стороны, приняло меры.

Перейдя Малую Рону, мятежники подошли к блокгаузу и увидели такую картину.

В распахнутом настежь окне второго этажа был виден Тартарен со своим тридцатидвухзарядным винчестером, а за ним — преданные ему охотники во главе с маркизом дез Эспазетом, стрелки по фуражкам или, вернее, по консервным банкам, стрелки, которые на расстоянии трехсот шагов по счету «четыре» всадят пулю в кружок этикетки от ящика с пампери.

Внизу, на крыльце, отец Баталье, склонившись

над чугунной пушкой, ждал только сигнала губернатора.

Это было до того неожиданно, до того грозен был вид приведенной в боевую готовность артиллерии, что бунтовщики тотчас же отступили, а Экскурбаньес, которому была свойственна внезапная смена настроений, начал танцевать под самым окном Тартарена дикий танец, который он цинично называл «пляской победы», и орать во всю мочь:

— Да здравствует губернатор!.. Да здравствует существующий порядок!.. *Двайте шумэт*ь!.. Хо-хо-хо!

Сверху раздался зычный голос Тартарена, по-прежнему сжимавшего в руке винчестер:

— Разойдитесь по домам, господа недовольные!.. Я не хочу, чтобы вы стояли тут и мокли под дождем. Завтра мы соберем наш добрый народ и поставим вопрос о доверии. А пока что сохраняйте спокойствие, не то пеняйте на себя!

На другой день состоялось голосование, и «Существующий порядок» получил подавляющее большинство голосов.

Несколько дней спустя после смуты произошло событие радостное, а именно — крестины юной Лики-Рики, маленькой папуасской принцессы,

дочери короля Негонко, воспитанницы его преподобия отца Баталье, довершившего ее обращение, начатое, «слава тебе, господи!», отцом Везолем.

Лики-Рики была прелестная маленькая обезьянка, ладная, статная, гибкая, пухленькая, а убор желтокожей принцессы составляли коралловое ожерелье и платье с голубыми полосками, которое ей сшила мадемуазель Турнатуар.

Крестным отцом у нее был губернатор, крестной матерью — г-жа Бранкебальм.

При крещении ей дали имя Марфы-Марии-Тартарены. По случаю, убийственной погоды, которая стояла в тот день, как, впрочем, и до и после, крестить ее нельзя было в храме св. Марфы Латаньерской, оттого что его лиственный навес давным-давно обрушился и церковь была затоплена.

Все собрались на крестины в общей зале большого дома. Можете себе представить, какие воспоминания пробудил этот обряд в нежной душе Паскалона, еще так недавно принимавшего в нем участие вместе с Клориндой!

В этом месте его дневника, содержание коего мы передаем здесь в общих чертах, размазанными от слез чернилами были выведены слова:

«*Бедный я и бедная она!*»

А на другой день после крестин Лики-Рики произошла ужаснейшая катастрофа… Но события принимают слишком грозный характер — предоставим же слово «Мемориалу».

IV
Продолжение Паскалонова «Мемориала»

4 декабря. Сегодня у нас воскресенье, пошла уже вторая неделя рождественского поста; инспектор флота ризничий Галофр, выйдя нынче, по обыкновению, осмотреть шлюпку, таковой не обнаружил.

Кольцо и цепь вырваны, шлюпка исчезла.

Сперва он решил, что это очередная проделка Негонко и его шайки, которым мы по-прежнему не доверяем, но в отверстии, образовавшемся на месте вырванного кольца, торчал мокрый, грязный конверт, адресованный губернатору.

В конверт были вложены визитные карточки Костекальда, Барбана и Рюжимабо. На карточке Барбана заявили о своем выходе в отставку и расписались еще четыре ратника ополчения: Кесарг, Бульярг, Трюфенюс и Роктальяд.

За несколько дней до этого шлюпку, как на-

рочно, привели в порядок и сложили в нее запас продовольствия, ибо его преподобие отец Баталье решил предпринять еще одну экспедицию. Негодяям повезло. Они увезли с собой все, даже компас, не забыли и свои ружья.

И ведь подумать только: трое из них женаты, побросали жен и кучу детей! Жен — это еще туда-сюда, но детей!..

Вышеописанные события привели всю колонию в ужас. Пока у колонистов была шлюпка, оставалась надежда добраться когда-нибудь до материка, двигаясь от острова к острову, можно было рассчитывать на помощь извне, а теперь всякая связь с внешним миром, по-видимому, утеряна.

Отец Баталье пришел в неописуемую ярость, — он призывал на беглецов все кары небесные, назвал их разбойниками, ворами, дезертирами и еще почище. Экскурбаньес — и тот всюду ходил и кричал, что их самих надо перебить, «как собак», а их жен и детей приговорить к смертной казни через расстреляние.

Один лишь губернатор был невозмутим.

— Не увлекайтесь, — говорил он. — Ведь они все-таки тарасконцы. Их пожалеть надо — хлебнут они горя в дороге! Никто из них не умеет

обращаться с парусом, только Трюфенюс, да и то еле-еле.

Затем ему пришла счастливая мысль воспитать брошенных детей на счет колонии. В глубине души, я думаю, он был рад, что ему удалось избавиться от своего заклятого врага и его присных.

В тот же день его превосходительство продиктовал мне очередной приказ, который был потом расклеен по городу.

ПРИКАЗ

«Мы, Тартарен, губернатор Порт-Тараскона и всех его владений, кавалер ордена первой степени и пр. и пр., призываем население сохранять полнейшее спокойствие.

Виновные будут неукоснительно преследоваться и привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

Исполнение настоящего приказа возлагаю на командующего артиллерией и флотом.»

Чтобы помешать дальнейшему распространению тревожных слухов, он велел мне в конце прибавить: «Чесноку хватит».

6 декабря. Приказ губернатора всем в городе очень понравился.

Позволительно, однако, спросить: «Преследовать виновных? Но каким способом? Где? Чем?» Ну да у нас недаром есть пословица: «Бери быка за рога, а на человека выходи со словом». Тарасконское племя обожает громкие фразы — вот отчего приказ губернатора был всеми принят на веру.

А тут еще разъяснилось, и вот уже все в восторге. На Городском кругу танцы, смех. Славный народ, и до чего же легко им управлять!

10 декабря. Я удостоился неслыханной чести: меня произвели в сановники первого класса.

Приказ об этом я обнаружил сегодня за завтраком у себя под тарелкой. Губернатор был, по-видимому, счастлив, что пожаловал мне высшее отличие. Теперь я сравнялся с Бранкебальмом, Бомвьейлем и его преподобием, и они все радуются моему повышению не меньше меня.

Вечером я пошел к дез Эспазетам — у них все уже было известно. Маркиз поцеловал меня при Клоринде, и та вся вспыхнула от радости. Одна лишь маркиза осталась равнодушна к моему новому достоинству. Она находит, что плащ сановника еще не возносит меня из моей низкой доли. Чего же ей еще нужно?.. Я уже сановник

первого класса! И в таком юном возрасте!..

14 декабря. В Правлении происходит нечто необычайное, такое, что я не без смущения решаюсь поверить моему дневнику.

Губернатор питает нежные чувства!

И к кому? Бьюсь об заклад, что не отгадаете. К своей маленькой крестнице, принцессе Лики-Рики.

Да, да, Тартарен, наш великий Тартарен, отказавшийся от стольких прекрасных партий, не желавший никакой другой спутницы жизни, кроме славы, увлекся этой обезьянкой! Правда, обезьянка — царской крови, приняла христианскую веру, но в душе осталась дикаркой: все такая же лгунья, лакомка, воровка, замашки и повадки у нее преуморительные! Одежда на ней вся в дырах; когда нет дождя, она залезает на самую макушку кокосовой пальмы и оттуда швыряет крепкие, как камень, орехи в наших стариков, норовит попасть им прямо в лысину — это у нее такая милая игра. Однажды она чуть не убила почтенного Мьежвиля.

А разница в возрасте? Тартарену за шестьдесят. Он поседел, располнел. Ей лет двенадцать, от силы пятнадцать, она в возрасте маленькой Флорансы, о которой поется в одной из наших песен:

Она еще малышка -
Не носит пояска.

И вот эта девочка, этот дикаренок будет нашей повелительницей!

Я уже давно замечал кое-что за губернатором. Взять, например, его заигрывания с папашей, старым разбойником Негонко, — он часто приглашал эту нечистоплотную, противную гориллу к нам обедать, хотя тот ест руками и напивается до того, что падает со стула.

Тартарен смотрел на это, как говорится, «сквозь пальцы», а когда маленькая принцесса в подражание своему родителю откалывала какую-нибудь штуку, скажем — наливала нам за ворот воды, мой дорогой учитель мило улыбался, бросал на нее отечески ласковый взор и, как бы прося извинить ее, говорил:

— Она еще дитя…

Но, несмотря на все эти и даже еще более очевидные признаки, я долго не хотел верить. А теперь уже всякие сомнения отпадают.

18 декабря. Сегодня на утреннем совещании губернатор объявил нам о своем намерении жениться на маленькой принцессе.

Он уверял, что это из политических соображе-

ний, что это дипломатический шаг, что этого требуют интересы колонии: Порт-Тараскон отрезан от мира, со всех сторон окружен океаном, союзников не имеет. Женясь на дочери папуасского короля, Тартарен предоставляет в распоряжение колонии армию и флот.

Никто из участников совещания ему не возражал.

Экскурбаньес первый вскочил и от восторга затопал ногами:

— Браво!.. Отлично!.. Когда же свадьба?.. Хо-хо-хо!..

Можно себе представить, какие гадости будет он говорить вечером в городе!

Цицерон Бранкебальм начал, по обыкновению, приводить неопровержимые доводы за и против: «Если, с одной стороны, колония… то нельзя не признаться, что, с другой… в том или ином случае… verum enim vero…» — но в конце концов присоединился к мнению губернатора.

Бомвьейль и Турнатуар пошли по его стопам. Что касается отца Баталье, то он, видимо, был обо всем осведомлен заранее и неудовольствия не выразил.

И смешной же вид был, наверно, у нас: в кабинете царит торжественное одобрительное

молчание, и мы, лицемеры, притворяемся, что верим, будто Тартареном руководят интересы колонии.

Внезапно добрые глаза Тартарена увлажнились слезами радости, и он прошептал:

— И потом, друзья мои, я должен вам сказать, что есть еще одна причина... Я люблю эту крошку.

Это было до того непосредственно, до того трогательно, что все мы невольно растаяли.

— Ну так женитесь, господин губернатор, женитесь!..

Тут все его обступили и стали жать ему руку.

20 декабря. Намерение губернатора вызвало в городе оживленные толки, но, в общем, все смотрят на дело проще, чем я мог предполагать.

Мужчины говорят об этом в шутливом тоне и не без яду, — тарасконцы ведь не могут не съязвить, когда обсуждаются чьи-нибудь любовные похождения.

Большинство дам отнеслись к затее Тартарена менее благоприятно, в особенности мадемуазель Турнатуар и ее окружение. Если уж он задумал жениться, то почему не на своей соотечественнице? Рассуждая таким образом, многие думают о самих себе или же о своих дочках.

Экскурбаньес, вернувшись вечером в город, согласился с дамами и указал на слабые стороны этого предприятия: тесть — мужлан, пьяница, каннибал; невеста тоже, по всей вероятности, отведала мяса тарасконцев. Тартарену стоит еще подумать.

Слушая, что говорит этот оборотень, я едва сдерживался и очень скоро ушел из общей залы, а то бы я наверняка влепил ему затрещину. У тарасконцев кровь-то ведь горячая, ух ты!

Из общей залы я прошел к дез Эспазетам. Маркиза очень ослабела, с постели не встает и все, бедняжка, отказывается от Турнатуарова супа с чесноком, а как только я вошел, она обратилась ко мне с вопросом:

— Ну так как же, господин камергер, будут у новой королевы придворные дамы?

Должно быть, она хотела надо мной посмеяться, а я сейчас же подумал о нас с Клориндой. Если Клоринда сделается фрейлиной или статс-дамой, то она переедет в резиденцию, и тогда мы сможем видеться постоянно… Какое бы это было счастье!..

Когда я вернулся, губернатор уже лег, но я не стал откладывать на завтра и поделился с ним своими планами, а он нашел, что я хорошо при-

думал. Потом я еще долге сидел у его постели, и мы толковали о наших сердечных делах.

25 декабря. Вчера вечером по случаю сочельника вся колония собралась в общей зале. Правительство, сановники — все праздновали наш чудный провансальский праздник за пять тысяч миль от родины.

После того как отец Баталье отслужил полунощницу, был подброшен «прикрой-огонь»: старший из нас взял полено, обнес его вокруг залы, бросил в огонь, а затем плеснул туда белого вина.

Принцесса Лики-Рики тоже была здесь и наслаждалась зрелищем, а также нугой, орешками, пряниками и прочими тарасконскими лакомствами, коими искусный пирожник Буфартиг украсил стол.

Были спеты старинные святочные песенки:

Царь мавританский — жалкий трус,
Хоть и глаза таращит дико.
В пещере плачет Иисус…
А ну, попробуй, царь, войди-ка!

Песни, пирожки, пылающий огонь, вокруг которого мы расселись, — все напоминало нам родину, несмотря на дождь, стучавший по крыше, и на зонтики, раскрытые по той причине, что

потолок в общей зале протекал.

Неожиданно отец Баталье под аккомпанемент фисгармонии запел прекрасную песню Фредерика Мистраля о том, «как Жана Тарасконского корсары в плен взяли», — о том, как некий тарасконец попал в лапы к туркам, как он не постыдился надеть тюрбан и совсем было собрался жениться на дочери паши, но однажды, выйдя на берег, вдруг услыхал провансальскую песню:

Моряки тарасконские пели.
И тогда,
Как под ударами весел вода,
Слезы в груди у него закипели.
Безродный вспомнил край родной,
И дрогнуло черствое сердце,
Невмоготу стала ему
Жизнь среди иноверцев.

При этих словах: «Как под ударами весел вода…» — мы все зарыдали. Сам губернатор, запрокинув голову, глотал слезы, его мощная грудь сотрясалась под лентой ордена первой степени. Как подумаешь, большое влияние на ход событий может иметь вот такая песенка великого Мистраля!

29 декабря. Сегодня в десять часов утра состоялось бракосочетание порт-тарасконского губернатора его превосходительства Тартарена с наследной принцессой Негонко.

Брачный договор подписали: его величество Негонко, поставивший вместо имени крестик, начальники отделов и наиболее видные сановники, затем в общей зале началось венчание.

Обряд был совершен просто, но торжественно: ратники ополчения были при оружии, и военные и штатские — все в полной парадной форме. Один только Негонко портил все дело. Он оскандалился и как король и как отец.

Зато принцесса, в белом платье, с коралловым ожерельем на шее, была обворожительна.

Вечером — великое торжество: всем — двойные порции съестного, пушечные выстрелы, ружейные салюты стрелков по консервным банкам, крики «ура!», песни, всеобщее ликование.

А дождь-то льет!.. А дождь-то лупит!..

V

Появление герцога Монского. Бомбардировка острова. Нет, это не герцог Монский. Спустите флаг, черт побери! Тарасконцам дается двадцать четыре часа на эвакуацию, хотя судна у них нет. Все, разделяющие с Тартареном трапезу, клянутся последовать за губернатором в плен

— Глянь! Глянь!.. Корабль!.. Корабль на рейде!

На крик ратника Бердула, собиравшего утром под проливным дождем черепашьи яйца, порт-тарасконские колонисты высунулись из всех окон и дверей своего заплесневелого ковчега, тысячью уст повторили, как эхо, за ратником Бердула: «Корабль! Глянь, глянь! Корабль!» — и вприпрыжку и вприскочку, точно в английской пантомиме, выбежали на набережную, сразу наполнив ее ревом, сильно напоминавшим рев тюленей.

Как только губернатору дали знать, он, застегивая на ходу свою куртку и весь сияя, несмотря на дождь, от которого подвластные ему островитяне прятались под зонтами, мигом примчался на набережную.

— Что, дети мои, не говорил ли я вам, что он

приедет?.. Это герцог!..

— Герцог?..

— А кто же еще, по-вашему? Ну, конечно, это наш славный герцог Монский едет к нам с провиантом, везет нам оружие, инструмент и рабочие руки — я ведь их у него все время просил.

Посмотрели бы вы, как вытянулись лица у тех, кто особенно возмущался «паршивым бельгийцем», — ведь это надо было иметь наглость Экскурбаньеса, чтобы носиться вихрем по набережной и орать:

— Да здравствует герцог Монский! Хо-хо-хо! Да здравствует наш спаситель!..

Тем временем огромный корабль, возвышавшийся над водой, величественно приближался к рейду. Он дал свисток, выхаркнул пар, с грохотом бросил якорь, но, из-за коралловых рифов, очень далеко от берега, затем смолк и, поливаемый дождем, дальше не двинулся.

Колонисты недоумевали, почему на корабле не торопятся отвечать на их приветственные крики, на маханье зонтами и шляпами. Они нашли, что доблестный герцог суховат.

— Должно быть, он не уверен, что это мы.

— А может, он на нас сердится за то, что мы его бранили?

— Кто бранил? Я никогда его не бранил.

— Я тоже.

— А уж обо мне и говорить нечего…

Среди всеобщего смятения один лишь Тартарен не терял головы. Он отдал приказ поднять над резиденцией флаг и, дабы у герцога не оставалось уже никаких сомнений, выстрелить из пушки.

Пушка выпалила, тарасконский флаг затрепетал в воздухе.

В тот же миг на рейде раздался оглушительный взрыв, корабль скрылся в непроницаемом облаке дыма, а над головами островитян пронеслось с хриплым свистом нечто похожее на черную птицу и, ударившись в крышу склада, снесло целый угол.

На мгновение все остолбенели.

— Да они же в нас стреляют! — взвизгнул Паскалон.

По примеру губернатора колонисты, все, как один, попадали на землю.

— Значит, это не герцог, — шепнул Тартарен Цицерону Бранкебальму.

А тот, плюхнувшись в грязь рядом с ним, решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать приводить свои несокрушимые доводы:

— Если, с одной стороны, не лишено вероятия… то, с другой стороны, можно предположить…

Новый разрыв снаряда прервал его разглагольствования.

Тут отец Баталье вскочил, стал диким голосом звать инспектора артиллерии ризничего Галофра и кричать, что сейчас они вдвоем откроют огонь по неприятелю из чугунной пушки.

— А я вам строго-настрого запрещаю! — завопил Тартарен. — Это безумие!.. Держите его!.. Не пускайте!..

Торкбьо и Галофр, подхватив святого отца под руки, пригнули его к земле, и как раз в эту минуту из корабельного орудия вылетел третий снаряд и опять в направлении флага. Очевидно, цвета тарасконского национального флага раздражали моряков.

Тартарен это понял. И еще он понял, что если флаг убрать, то обстрел прекратится.

— Спустите флаг, черт побери! — заорал он во всю силу легких.

И тогда закричали все:

— Спустите флаг!.. Да спустите же флаг!..

Флаг, однако, реял по-прежнему — ни военные, ни штатские не отваживались на столь опасное дело.

И опять девица Альрик подала пример самоотверженности.

Она «взгромоздилась» на крышу и сняла злополучный флаг.

Только после этого корабль перестал обстреливать остров.

Немного погодя от судна отделились две шлюпки со сверкавшими оружием солдатами, и гребцы, мерно, по-военному, взмахивая длинными веслами, стали грести к берегу.

Когда они подошли ближе, островитяне разглядели, что на корме, над пенистою струей, развевается английский флаг.

До берега англичанам было еще далеко, и Тартарен успел встать, счистить грязь, приставшую к его одежде, послать за орденской лентой и второпях надеть ее поверх зеленой со стальным отливом куртки.

Когда обе шлюпки причалили, вид у него был уже вполне губернаторский.

Первым выпрыгнул из шлюпки надменный английский офицер в надетой набекрень треуголке, а вслед за тем на берегу выстроился целый десант моряков в бескозырках, на которых было написано «Томагавк».

Тартарен ждал их, выпятив для пущей важ-

ности нижнюю губу, как это он делал в особо торжественные минуты; справа от него стоял отец Баталье, слева — Бранкебальм.

Экскурбаньес, бросив своих соотечественников, побежал навстречу англичанам и уже готов был пуститься в пляс перед победителями.

Но офицер ее величества, не обращая внимания на этого паяца, подошел вплотную к Тартарену и спросил по-английски:

— Какой вы национальности?

Бранкебальм, понимавший английскую речь, ответил на том же языке:

— Тарасконской.

Офицер, услышав название, которого ему не приходилось встречать ни на одной морской карте, выкатил свои круглые, как блюдца, глаза и спросил еще более дерзким тоном:

— Что вы делаете на этом острове? По какому праву вы его занимаете?

Бранкебальм перевел его вопрос Тартарену, и тот велел ответить так:

— Передайте ему, Цицерон, что это наш остров, что нам его уступил король Негонко и что у нас имеется купчая крепость, составленная по всей форме.

Бранкебальму не было никакого смысла про-

должать играть роль переводчика. Англичанин обратился к губернатору и на прекрасном французском языке переспросил:

— Негонко? В первый раз слышу… Нет такого короля Негонко.

Тартарен отдал распоряжение немедленно разыскать своего тестя-короля и привести сюда.

А пока что он предложил английскому офицеру пройти в Правление и ознакомиться с документами.

Офицер согласился и проследовал за ним, а шлюпку оставил под охраной моряков, приставивших ружья к ноге и примкнувших штыки. И какие штыки! Сверкающие и до того острые, что при взгляде на них по спине начинали бегать мурашки.

— Спокойствие, дети мои, спокойствие! — на ходу бормотал Тартарен.

Никто, собственно, не нуждался в подобного рода совете, за исключением, впрочем, отца Баталье, который все еще кипятился. Но за ним следили.

— Если вы не уйметесь, ваше преподобие, я вас свяжу! — обезумев от страха, твердил Экскурбаньес.

А в это время шли безуспешные поиски короля

Негонко, всюду раздавались призывавшие его голоса. Наконец кто-то из ратников обнаружил его на складе — король надышался запахом чеснока и деревянного масла, упился спиртом, почти весь запас которого он влил в свою утробу, и теперь мирно храпел между двумя бочками.

В таком виде, грязный, вонючий, предстал он перед губернатором, но толку от него так и не добились.

Тогда Тартарен огласил купчую крепость, а затем показал крестик, который его величество поставил вместо подписи, государственную печать и подписи виднейших должностных лиц колонии.

Уж если, мол, не верить этому подлинному документу, подтверждающему право тарасконцев на остров, то чему же тогда верить?

Офицер пожал плечами:

— Милостивый государь! Этот дикарь — просто мошенник. Он продал вам то, что никогда ему не принадлежало. Остров с давних пор является английским владением.

Приняв к сведению это заявление, внушительным дополнением к которому служили орудия «Томагавка» и штыки морской пехоты, Тартарен счел дальнейшие препирательства излишни-

ми, но зато сорвал злобу на своем недостойном тесте:

— Старый мерзавец!.. Как ты смел уверять нас, что это твой остров?.. Как ты смел нам его продавать?.. Как тебе не стыдно обманывать порядочных людей?..

Но Негонко тупо молчал — его недальний ум, ум дикаря, улетучился вместе с винными и чесночными парами.

— Уведите его!.. — крикнул Тартарен тем ратникам ополчения, которые его привели, и обратился к офицеру, с высокомерным и бесстрастным видом наблюдавшему за этой семейной сценой. — Во всяком случае, милостивый государь, моя честность вне подозрений.

— Это установит английский суд… — с высоты своего величия процедил тот. — Отныне вы мой пленник. Что касается жителей, то они должны в двадцать четыре часа эвакуировать остров, в противном случае мы их расстреляем.

— Расстреляете? Вот тебе на!.. — воскликнул Тартарен. — Прежде всего как же они эвакуируются? Судна-то ведь у нас нет. Разве что вплавь…

В конце концов англичанин, проникшись доводами Тартарена, согласился довезти колонистов до Гибралтара, с тем, однако, условием,

что все оружие будет сдано, включая охотничьи ружья, револьверы и тридцатидвухзарядный винчестер.

Засим он, приставив к губернатору вооруженную охрану, отправился на фрегат завтракать.

Так как в Правлении в это время тоже обыкновенно завтракали, то, осмотрев все латании и кокосовые пальмы, росшие вокруг резиденции, и так и не обнаружив принцессы, сановники оставили для нее за столом место и принялись за еду.

Отец Баталье от волнения позабыл даже прочесть молитву.

Некоторое время все ели молча, уткнувшись в тарелки, как вдруг Паскалон встал и поднял стакан:

— Господа! Наш губернатор вое-енноплененный. Поклянемся же последовать за ним в пле-е-ен…

Тут все, не дав ему договорить, вскочили и, подняв стаканы, огласили резиденцию криками восторга:

— Непременно!

— Вот как бог свят, мы за ним последуем!..

— А как же!.. Хотя бы и на эшафот!..

— Хо-хо-хо!.. Да здравствует Тартарен!.. — завывал Экскурбаньес.

А час спустя все, за исключением Паскалона,

покинули губернатора, все, даже маленькая принцесса Лики-Рики, каким-то чудом обнаруженная на крыше резиденции. При первом же выстреле, не сознавая, что на крыше гораздо опаснее, она туда взобралась и, еле живая от страха, спустилась только после того, как придворные дамы издали показали ей раскрытую коробку сардин, служившую для нее не менее соблазнительной приманкой, чем для вылетевшего из клетки попугая что-нибудь сладенькое.

— Милое дитя мое! — торжественно обратился к ней Тартарен, как только ее подвели к нему. — Я военнопленный. Что бы вы предпочли? Отправиться со мной или же остаться на острове? Я думаю, что англичане позволят вам здесь остаться, но меня уж вы тогда больше не увидите.

Она взглянула на него в упор и, не задумываясь, звонким детским голоском прощебетала:

— Мой остается на остлов.

— Хорошо, вы свободны, — с покорным видом произнес бедный Тартарен, но сердце у него в эту минуту разрывалось на части.

А вечером, оставленный и женой и сановниками, он долго сидел, предаваясь размышлениям, у раскрытого окна в опустевшей резиденции, и только Паскалон делил с ним одиночество.

Вдали мерцали огни города, слышались возмущенные голоса колонистов, песни англичан, расположившихся на берегу, и ропот Малой Роны, вздувшейся от дождей.

Тартарен с тяжелым вздохом затворил окно и, повязав голову большим белым в горошинку платком, сказал своему верному секретарю:

— Что все от меня отреклись, это меня не очень удивило и не очень огорчило, но что и малютка… Откровенно говоря, я думал, что она сильнее ко мне привязана.

Отзывчивый Паскалон постарался утешить его. Что ни говори, но возвращаться в Тараскон с таким багажом, как эта принцесса-дикарка, — а в Тараскон они рано или поздно непременно вернутся, — было бы довольно оригинально, и когда жизнь у Тартарена снова наладится, то папуаска только бы стесняла, компрометировала его…

— Вспомните, дорогой учитель, как вас извел ве-ерблюд, когда вы возвращались из Алжира…

Но тут Паскалон запнулся и покраснел. Что ему пришло в голову сравнивать верблюда с принцессой королевской крови? И, чтобы загладить свою бестактность, Паскалон обратил внимание Тартарена, что он сейчас в таком положении, в каком находился Наполеон, когда его взяли в

плен англичане и когда его оставила Мария-Луиза[106].

— А ведь и правда, — весьма польщенный подобным сближением, согласился Тартарен.

И, утешенный сознанием, что у него общая судьба с великим Наполеоном, он спал потом всю ночь, не просыпаясь.

На другой день, к великой радости колонистов, Порт-Тараскон был эвакуирован. Потеря денег, несуществующие «гектары», грандиозная банковская операция «паршивого бельгийца», который их надул, — все казалось им теперь сущими пустяками, так счастливы были они вырваться из этого болота.

Во избежание столкновений с «Существующим порядком», на который они теперь сваливали всю вину, их посадили на корабль раньше Тартарена.

Когда их вели к шлюпкам, Тартарен выглянул в окно, но принужден был тотчас же скрыться, ибо все при виде его дружно засвистели и замахали кулаками.

---

[106] Примечания: 106

15 июля 1815 года Наполеон сдался на милость англичанам и был доставлен на судно «Беллерофонт». Мария-Луиза, вторая жена Наполеона (1791-1847), после разгрома Наполеона покинула мужа и сына и отправилась к отцу, австрийскому императору Францискуу I.

Конечно, в солнечный день они были бы снисходительнее, но беда в том, что погрузка происходила под настоящим проливнем, и несчастные тарасконцы шлепали по грязи, унося на подошвах целые комья этой проклятой земли и кое-как прикрывая зонтиками свои убогие пожитки.

Когда все колонисты покинули остров, пришел наконец черед Тартарена.

Паскалон все утро провел в хлопотах, готовился к отъезду, увязывал архив колонии.

В последнюю минуту его осенила гениальная мысль посоветоваться с Тартареном, не надеть ли ему в дорогу плащ сановника первого класса.

— Надень, надень, это произведет на них впечатление! — сказал губернатор.

И он сам надел ленту ордена первой степени.

Внизу уже стучали ружейные приклады конвоя и рявкал офицер:

— Господин Тартарен! Господин губернатор! Пора!

Прежде чем сойти вниз, Тартарен в последний раз окинул взором этот дом, где он любил, где он страдал, где он познал все муки властолюбия и сердечного влечения.

Но тут он, заметив, что правитель канцелярии прячет под плащом какую-то тетрадь, спросил,

что это такое, и попросил показать. Паскалону ничего другого не оставалось, как признаться дорогому учителю, что это мемориал.

— Ну что ж, продолжай, дитя мое, — ласково промолвил Тартарен и дернул его за ухо, подобно тому как Наполеон дергал за ухо своих гренадеров, — ты будешь моим маленьким Лас-Казом.

Вот уже второй день он упорно думал о схожести своей и Наполеоновой судьбы. Да, несомненно… Англичане, Мария-Луиза, Лас-Каз…[107] Точно такие же обстоятельства и тот же характер. И оба южане, черт побери!

[107] Примечания: 107

Лас-Каз Эмманюэль (1766 — 1842) — морской офицер, последовавший за Наполеоном на остров св. Елены. На этом острове он пробыл до ноября 1816 года, а затем вынужден был покинуть его из-за конфликта с английским губернатором Гудсоном Лоу (1769-1844). Лас-Каз записывал высказывания Наполеона; эти записи послужили ему материалом для книги «Мемориал св. Елены» (1823).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прием, оказанный англичанами Тартарену на борту «Томагавка». Последнее «прости» острову Порт-Тараскон. Губернатор беседует на палубе со своим маленьким Лас-Казом. Костекальд отыскался. Супруга командора. Тартарен первый раз в жизни стреляет в кита

Горделивая осанка Тартарена, поднявшегося на палубу «Томагавка», произвела на англичан сильное впечатление, но больше всего их поразила розовая орденская лента с вышитым на ней изображением Тараска, которую губернатор носил как масонский знак, а равно и Паскалонов плащ сановника первого класса, красный с черными полосами, длинный до пят.

Англичане, как известно, испытывают особое почтение к чинам, к служебному положению и к проявлениям мабулизма (от арабского слова *мабул* — простодушный, чудаковатый).

На верхней ступеньке трапа Тартарена встре-

тил дежурный офицер и с великим почетом проводил в каюту первого класса. Паскалон последовал за ним и был вознагражден за свою преданность: ему отвели каюту рядом с губернатором, а между том других тарасконцев, на которых англичане смотрели как на стадо презренных эмигрантов, загнали на нижнюю палубу и туда же впихнули весь бывший генеральный штаб острова, наказанный таким образом за малодушие и вероломство.

Каюту Тартарена отделял от каюты верного ему секретаря, во-первых, небольшой салон, где стояли диваны, где на стенах висело оружие и где красовались экзотические растения, а во-вторых, столовая, атмосферу которой освежали две глыбы льда, сверкавшие по углам в вазах.

К его превосходительству были приставлены для услуг метрдотель и два или три лакея, а тот принимал все почести с полнейшим равнодушием и на всякую любезность отвечал *«прррэкрасно»* тоном властелина, привыкшего к знакам уважения и внимания.

Когда начали выбирать якорь, Тартарен, несмотря на дождь, поднялся на палубу сказать острову последнее «прости».

Остров обозначился перед ним нечетко, но

сквозь серую пелену тумана все же можно было различить шайку разбойников во главе с королем Негонко, грабивших город и резиденцию и лихо отплясывавших на берегу фарандолу.

Стоило отбыть миссионеру отцу Баталье, стоило отбыть блюстителям порядка — и в новообращенных тотчас же заговорил могучий природный инстинкт.

Паскалону даже привиделся среди пляшущих стройный силуэт Лики-Рики, но он промолчал, так как не хотел огорчать губернатора, который, впрочем, ко всему относился в высшей степени безразлично.

Заложив руки за спину, и застыв в величественной позе, точно памятник какому-нибудь историческому деятелю, тарасконский герой смотрел перед собой невидящим взглядом, все крепче задумываясь над общностью своей судьбы с судьбой Наполеона, к вящему своему удивлению отыскивая между великим человеком и собою все новые и новые черты сходства и простодушно сознаваясь, что даже слабости у них одинаковые.

— Ну вот хотя бы, — говорил он своему маленькому Лас-Казу: — Наполеон был страшно вспыльчив, и я тоже, особенно в молодости…

Например, как-то раз я повздорил в Театральном кафе с Костекальдом, хватил кулаком по его чашке, по своей и разбил их вдребезги…

— Бонапарт в Леобене!..[108] — робко заметил Паскалон.

— Совершенно верно, дитя мое, — ласково улыбнувшись, сказал Тартарен.

Но, если вдуматься, больше всего сближало Тартарена с императором воображение, пламенное южное воображение. Воображение Наполеона отличалось широчайшим размахом. Достаточно вспомнить его поход в Египет, переход через пустыню на верблюде, — еще одно потрясающее совпадение: верблюд! — поход в Россию, мечты о завоевании Индии.

Ну, а вся жизнь Тартарена — что это, как не самая невероятная сказка?.. Львы, нигилисты, Юнгфрау, управление островом за пять тысяч миль от Франции! Разумеется, Тартарен не отрицал, что кое в чем уступает императору. Но зато он не проливал крови, морей крови, и не приводил в трепет весь мир, как тот, другой…

Остров между тем уходил вдаль, а Тартарен,

---

[108] Примечания: 108

Имеются в виду мирные переговоры, которые Наполеон, тогда еще генерал Бонапарт, вел с австрийцами в Леобене (Штирия) после победоносного итальянского похода.

облокотившись о борт, продолжал разглагольствовать для галерки — для матросов, сметавших с палубы угольную пыль, и для вахтенных офицеров, подошедших его послушать.

В конце концов он всем наскучил. Паскалон отпросился на нос корабля, якобы для того, чтобы разузнать, что говорят о губернаторе тарасконцы, в полном оцепенении мокнувшие под дождем, а главное, для того, чтобы шепнуть своей милой Клоринде несколько утешительных и ободряющих слов.

Вернувшись через час, он нашел Тартарена в салоне, — его превосходительство во фланелевых кальсонах, повязав голову платком, устроился поудобнее на диване, точно это было в Тарасконе, в его уютном домике, покуривал трубочку и попивал превосходный шерри-гобблер.

— Ну, что же там говорят про меня добрые люди? — спросил отлично себя чувствовавший учитель.

Паскалон не скрыл от Тартарена, что они «очень на него злы».

Их, как скот, загнали на нижнюю палубу, морят голодом, грубо с ними обращаются, и во всех своих невзгодах они винят губернатора.

Но Тартарен только пожал плечами. Он хорошо

знает свой народ, уж вы ему поверьте! Все это высохнет в первое же солнечное утро.

— Народ не злопамятный, это верно, — согласился Паскалон, — но его мутит гадина Костекальд.

— Костекальд? Это еще что такое?.. При чем тут Костекальд?

Услыхав зловещее имя, Тартарен встревожился.

И тут Паскалон ему рассказал, как «Томагавк» встретил в море их общего недоброжелателя, умиравшего от голода и жажды в своей шлюпке, как он его подобрал и как потом Костекальд донес англичанам, что на их территории обосновались французские колонисты, и привел корабль к порт-тарасконскому рейду.

Глаза у губернатора засверкали:

— Ах, мерзавец!.. Ах, злодей!..

Успокоился он лишь после того, как Паскалон поведал ему злоключения бывшего сановника и его приспешников.

Трюфенюс утонул!.. Еще трое ратников сошли на берег за пресной водой — и попали к людоедам!.. Барбан умер от истощения прямо в лодке!.. А Рюжимабо съела акула.

— Какая там акула!.. Не акула, а сам негодяй

Костекальд.

— Это еще что, господин гу-убернатор!.. Костекальд уверяет, что в открытом море, во время грозы, он при блеске молний увидел — угадайте, кого?..

— Очень нужно мне угадывать! А ну его к черту!

— Тараска… отца-батюшку!

— Какая чепуха!..

А впрочем, как знать?.. «Туту-пампам» мог потерпеть крушение, или, быть может, порывом ветра Тараска сбросило с палубы…

Тут стюард принес господину губернатору меню, а через несколько минут он и его секретарь уже сидели за столом, и им был подан чудный обед с шампанским: отменная семга, розоватый ростбиф, превосходно зажаренный, а на сладкое — восхитительный пудинг. Тартарену пудинг очень понравился, и он велел отнести изрядную его порцию отцу Баталье и Бранкебальму. А Паскалон припрятал несколько бутербродов с семгой. Бедненький! Надо ли говорить, для кого?

На второй день плавания, как только Порт-Тараскон скрылся из виду, наступила хорошая погода, — можно было подумать, что из всего архипелага один этот остров навлекал на себя

туманы и дождь…

Каждое утро после завтрака Тартарен поднимался на палубу, садился на определенное место и заводил разговор с Паскалоном.

И у Наполеона, когда он находился на борту «Нортумберленда»[109], было свое любимое место: он опирался на пушку, всегда на одну и ту же, за что ее и прозвали «пушкой императора».

Думал ли об этом великий тарасконец? Какое это было совпадение: случайное или не случайное? Возможно, что и не случайное, но это обстоятельство не должно умалять Тартарена в наших глазах. Разве Наполеон, сдаваясь англичанам, скрывал, что он вспоминает Фемистокла?[110] «Я как Фемистокл…» А кто знает, о ком думал Фемистокл, подсаживаясь к огоньку, разведенному персами?.. Род человеческий до того стар! Мир его тесен, пути его исхожены… Все мы идем по чьим-либо стопам…

Впрочем, отдельные черты, о которых Тартарен

---

[109] Примечания: 109

«Нортумберленд» — фрегат, на котором англичане доставили Наполеона на остров св. Елены.

[110] Примечания: 110

Фемистокл (525-461 гг. до н.э.), политический руководитель Афин, победитель персов, из-за разногласий с консервативной партией был изгнан в 472 году из Афин и поселился у своих былых врагов — персов. Наполеон, вступив на палубу «Беллерофонта», сказал: «Я как Фемистокл: я буду греться у очага британского народа».

упоминал в беседах со своим маленьким Лас-Казом, были присущи только ему, Тартарену из Тараскона, и к Наполеону никакого отношения не имели.

Тартарен говорил Паскалону о том, что детство свое он провел на Городском кругу; о том, что он, из молодых, да ранний, вытворял, возвращаясь ночью из Клуба; о том, что он сызмала бредил оружием, охотой на крупных хищников, но что здравый смысл латинянина не покидал его во время самых отчаянных шалостей, внутренний голос неизменно шептал ему: «Возвращайся пораньше, не простудись!..»

Из укромных уголков его памяти выплыла прогулка на Гарский мост, когда старая-престарая цыганка, посмотрев на линии его руки, предсказала:

— Когда-нибудь ты будешь королем.

Можете себе представить, как все потешались над ее предсказанием! А между тем оно сбылось.

Тут великий человек прервал себя:

— У меня, понимаете ли, получается ералаш — я ведь вам рассказываю не по порядку, а так, что вспомнится, но я думаю, что все это может вам пригодиться для «Мемориала»...

— Еще бы!

Помимо Паскалона, жадно впитывавшего в себя каждое слово своего героя, вокруг Тартарена усаживались молодые гардемарины, человек шесть, и с разинутым ртом слушали его рассказы.

Но самой внимательной его слушательницей была небрежно раскинувшаяся на бамбуковом шезлонге, чуть поодаль, жена командора, совсем юная, томная изящная креолка с бледно-розовым цветом лица, напоминавшим магнолию, и с большими черными глазами, задумчивыми, глубокими, ласковыми… Она просто упивалась повестями Тартарена.

Гордый за своего наставника, которого все слушали с таким живым любопытством, Паскалон стремился прославить его еще больше и заставлял рассказывать про охоту на львов, про восхождение на Юнгфрау, про оборону Пампериγуста. И герой наш со свойственным ему простодушием шел на этот невинный сговор, сам увлекался и позволял перелистывать себя, как книгу, как книжку с картинками, иллюстрированную его выразительной тарасконской мимикой и «бах-бахами» его охотничьих приключений.

Креолка, зябко поеживаясь на шезлонге,

вздрагивала при каждом его восклицании, и ее волнение означалось чуть заметным приливом розовой краски, легчайшими мазками ложившейся на ее акварельно нежное лицо.

Когда же за ней приходил ее муж, командор, похожий на Гудсона Лоу, с лицом злой куницы, она умоляла его: «Нет, нет!.. Погодите», — украдкой бросала взор на великого тарасконца, и тарасконец ловил этот взор и нарочно для нее возвышал голос, стараясь придать ему какую-то особенно благородную интонацию и звучание.

Иной раз, возвращаясь после такой беседы к себе в каюту, он с небрежным видом спрашивал Паскалона:

— Что вам сказала супруга командора? Она, кажется, говорила обо мне? А?..

— Вы правы, учи-итель. Эта особа сказала мне, что она много о вас слышала.

— Это меня не удивляет, — не моргнув глазом, замечал Тартарен. — Я очень популярен в Англии[111].

Еще одна черта сходства с Наполеоном!

---

[111] Примечания: 111

Тартарен утверждает это с полным основанием: первые две книги его приключений выдержали в Англии несколько изданий. Английское издание «Порт-Тараскона» появилось одновременно с французским; перевод был сделан известным англо-американским писателем Генри Джеймсом, приятелем Доде.

Однажды утром, поднявшись на палубу спозаранку, он, к крайнему своему изумлению, не нашел креолки на ее обычном месте. Но он тут же себя успокоил: день нынче ветреный, холодновато, брызги долетают до юта, оттого она, наверное, и не вышла: ведь она такая хрупкая, такая впечатлительная!

Казалось, волнение, поднявшееся на море, охватило всю палубу и весь экипаж.

Дело в том, что с парохода заметили кита — явление в тех местах довольно-таки редкое. Дыхал у него не было, и фонтанов он не пускал, из чего некоторые матросы заключили, что это самка, тогда как другие утверждали, что это кит особой породы. Обе стороны остались при своем мнении.

Кит находился как раз на пути следования корабля и податься в сторону не собирался, а потому один из офицеров пошел к капитану просить разрешения поохотиться. Капитан, по обыкновению злой, как черт, отказал на том основании, что нельзя терять драгоценное время, и позволил лишь в него пострелять.

До кита оставалось метров двести пятьдесят — триста, и он то показывался, то исчезал по прихоти сильной и бурной волны, так что попасть в

него было нелегко.

Раз за разом гремели выстрелы, об успехе которых сообщали стоявшие на вантах марсовые, но кит оставался невредим, по-прежнему резвился и плескался на поверхности, и все на него смотрели, даже тарасконцы, хотя они мокли и дрогли на носу, так как волна окатывала там сильнее, чем на корме, где стояли джентльмены.

Присоединившись к молодым офицерам, пробовавшим свою меткость, Тартарен давал оценку выстрелам:

— Перелет!.. Недолет!..

— Попробуйте вы, учи-итель! — проблеял Паскалон.

При этих словах один из гардемаринов с юношеской живостью обратился к Тартарену:

— Пожалуйста, господин губернатор!

И протянул ему свой карабин. Надо было видеть Тартарена в ту минуту, когда он взял карабин, взвесил его на ладони и приставил к плечу. А Паскалон с гордым и в то же время робким выражением лица задал ему вопрос:

— Сколько раз надо отсчитать, когда стреляешь в кита?

— На эту дичь мне редко приходилось охотиться, — ответил герой, — но, по-моему, надо считать

до десяти.

Тут он прицелился, отсчитал до десяти и, выстрелив, отдал карабин офицеру.

— Кажется, попали! — сказал гардемарин.

— Урраа!.. — закричали матросы.

— Я так и знал, — скромно заметил Тартарен.

Но тут послышался такой отчаянный вой, поднялась такая дикая суматоха, что на место происшествия прибежал сам капитан, которому показалось, будто на его судно напали пираты. На носу корабля топали ногами, размахивали руками, вопили, заглушая шум ветра и волн, тарасконцы:

— Тараск!.. Он стрелял в Тараска!.. В отца-батюшку!..

— А, чтоб!.. Что они городят? — бледнея, спросил Тартарен.

Теперь уже в десяти метрах от корабля безобразный идол Тараск из Тараскона вздымал над изумрудными волнами свою чешуйчатую спину, свою уродливую, как у химеры, голову с раскрашенными киноварью губами, кривившимися в злобной усмешке, и с налитыми кровью глазами.

Сделанный из крепчайшего дерева, сработанный на совесть, он выдерживал натиск волн с

того самого дня, когда, как это стало известно впоследствии, порывом ветра его сбросило с палубы корабля, находившегося под водительством Скрапушина. Он носился по воле морских зыбей, он залоснился, оброс водорослями и ракушками, но крушения не потерпел, бушевавшие над ним чудовищные ураганы не причинили ему ни малейшего вреда и ущерба, — первую и единственную рану нанес ему Тартарен из Тараскона…

Он! Ему!

На лбу у бедного «отца-батюшки» зияла свежая рана.

Кто-то из английских офицеров воскликнул:

— Лейтенант Шип! Посмотрите, какое смешное животное!

— Это Тараск, молодой человек, — торжественно изрек Тартарен, — это наш предок, пращур, чтимый всеми добрыми тарасконцами.

Офицер пришел в крайнее изумление, да и было от чего: оказалось, что этот урод — пращур странного народца, черномазого, усатого, подобранного на диком острове, в океане, за пять тысяч миль от родины.

Заговорив о Тараске, Тартарен в знак особого уважения снял шляпу, но «отец-батюшка», уноси-

мый волнами Тихого океана, уплыл уже далеко, и долго еще было ему суждено нетонущим обломком плыть по течению и оживать в рассказах моряков то гигантским спрутом, то морским змеем, к великому ужасу китоловов появляющимся то здесь, то там.

Пока Тараск не скрылся из глаз, герой наш молча смотрел ему вслед. Когда же от Тараска осталась лишь черная точка на фоне белеющих волн, он упавшим голосом произнес:

— Запомните, Паскалон: этот выстрел принесет мне несчастье!

И весь тот день он пребывал во власти тревожных дум, угрызений совести и священного ужаса.

II

Обед у командора. Тартарен выделывает па фарандолы. Как лейтенант Шип определил тип тарасконца. В виду Гибралтара. Месть Тараска

Неделю спустя, в жаркий и ясный полдень, когда тарасконцы приближались к благоуханным берегам Индии под небом все такого же

молочного цвета, по волнам все такого же тихого, маслянистого моря, как и тогда, по пути в Порт-Тараскон, Тартарен в одних кальсонах отдыхал у себя в каюте, повязав свою большую голову платком, белым в горошинку, и длинные-предлинные концы этого платка торчали у него, точно спокойные уши некоего жвачного животного.

Неожиданно в каюту вбежал Паскалон.

— А?.. Что такое?.. Что случилось? — буркнул великий человек и сорвал с головы платок; он не любил кому бы то ни было показываться в таком виде.

— Кажется, вы одержали победу, — выпучив глаза, с трудом переводя дух и сильнее, чем когда-либо, заикаясь, проговорил Паскалон.

— Над кем?.. Над Тараском?.. Дьявольщина, я это слишком хорошо знаю!

— Нет, — прошелестел Паскалон, — над супругой командора.

— Ай, ай, ай! Бедняжка! Еще одна!.. Да, но почему вы так думаете?

Вместо ответа Паскалон подал ему печатную карточку, из которой явствовало, что лорд командор Уильям Плантагенет и леди Уильям Плантагенет приглашают его превосходительство губернатора Тартарена и правителя канцелярии

г-на Паскалона сегодня у них отобедать.

— О, женщины, женщины!.. — воскликнул Тартарен; он сразу догадался, что приглашение исходило от жены командора, но никак не от ее мужа, который вряд ли был способен кого бы то ни было приглашать.

— Так как же, принять мне приглашение или не принять?.. — с важным видом спросил себя Тартарен. — Положение военнопленного…

Паскалон, знавший его слабую струнку, напомнил, что на борту «Нортумберленда» Наполеон обедал у адмирала.

— В таком случае я согласен, — поспешил заявить губернатор.

— Но как только подавали вина, император с дамами удалялся, — добавил Паскалон.

— Ну что ж, тем более! Ответьте в третьем лице, что мы принимаем приглашение.

— Во фраке, учитель?

— Разумеется.

Паскалон хотел было надеть плащ сановника первого класса, но наставник ему не позволил, — он сам решил не надевать орденской ленты.

— Приглашают не губернатора, а Тартарена, — пояснил он секретарю, — это разница.

Молодчина Тартарен разбирался буквально

во всем.

Обед, поистине царский, был сервирован в обширной, залитой светом, роскошно обставленной кают-компании, перегородки и пол которой были обшиты чудесной английской панелью, до того изящной, что ее планки, тончайшей филигранной работы, казались игрушечными.

Тартарен сидел на почетном месте, справа от леди Уильям. Приглашены на обед были еще только двое: лейтенант Шип и корабельный врач — оба понимали по-французски. За стулом каждого гостя с важным видом, вытянувшись в струнку, стоял лакей в нанковой ливрее. Особым великолепием отличались сервировка вин, высокопробное серебро с гербом Плантагенетов и стоявшая посреди стола драгоценная ваза с редкостными орхидеями.

Паскалон, на которого вся эта роскошь действовала подавляюще, заикался сильнее обычного еще и потому, что, когда к нему кто-нибудь обращался, рот у него, как нарочно, бывал набит. Он восхищался ненаигранным спокойствием Тартарена, как раз напротив которого сидел командор с оттопыренными, как у тигровой кошки, губами и с зелеными, в красных жилках, глазами, глядевшими из-под белых, как у всех альбиносов,

ресниц. Тартарен, хаживавший на крупных хищников, плевать хотел на тигровых кошек — он с таким увлечением и так мило ухаживал за леди Уильям, как будто командор был за тридевять земель отсюда. Миледи тоже не скрывала своей симпатии к герою и бросала на него нежные, многозначительные взгляды.

«Несчастные! Ведь муж-то все видит», — эта мысль не давала Паскалону покоя.

Но нет, муж ничего не видел, — казалось, он тоже с величайшим удовольствием слушает рассказы великого тарасконца.

По просьбе леди Уильям Тартарен рассказал историю Тараска, святой Марфы и голубой ленты. Рассказывал он о своем народе, о так называемом тарасконском племени, о его обычаях, о его переселении. Потом заговорил о своем образе правления, о своих планах, реформах, о новом кодексе, проект которого он разрабатывал. О кодексе он, между прочим, ни с кем до этого не говорил, даже с Паскалоном, но кто может угадать, что зреет в объемистых черепных коробках у властей предержащих?

Он высказывал глубокие мысли, он был в ударе, он спел несколько народных песен, в частности песню о том, как Жана Тарасконского взяли в

плен корсары и как он полюбил дочь султана.

Наклонившись к уху леди Уильям, каким страстным, вибрирующим полушепотом напевал он ей:

Он был полководец, в боях закаленный,
Сединой убеленный,
И лавры венчали его.
А дочь короля, молодая красотка,
Его полюбила
И молвила как-то ему…

Томная креолка, обыкновенно такая бледная, тут вдруг вся порозовела.

Когда он кончил петь, она спросила, что такое фарандола, о которой так много говорят тарасконцы.

— Ах, боже мой, это же так просто! Вот вы сейчас увидите!.. — воскликнул добрый Тартарен.

Не желая ни с кем делить лавры, он сказал своему секретарю:

— Сидите смирно, Паскалон.

Затем встал и принялся выделывать па в ритме фарандолы: «Тра-та-та-там, та-та-тим, та-та-там…» К несчастью, корабль в это время тряхнуло, — Тартарен грохнулся, но сейчас же вскочил и, не

унывая, первый посмеялся своей неудаче.

Несмотря на *cant*[112], несмотря на всю свою выдержку, англичане покатились со смеху и нашли, что губернатор просто очарователен.

Наконец подали вина. Леди Уильям сейчас же вышла, а следом за ней Тартарен, резким движением бросив салфетку, не поклонившись, не извинившись, строго придерживаясь легенды о Наполеоне, покинул кают-компанию.

Англичане в недоумении переглянулись и стали перешептываться.

— Его превосходительство вина не пьет… — сказал Паскалон; он счел необходимым объяснить выходку наставника и взять нить разговора в свои руки.

Секретарь тоже очень мило тарасконил, пил кларет, не отставая от англичан, развлекал их и потешал веселой болтовней и повышенной жестикуляцией.

Когда все встали из-за стола, он, будучи уверен, что Тартарен присоединился на палубе к леди Плантагенет, не без тайного умысла предложил командору, заядлому шахматисту, сыграть с ним партию.

---

[112] Примечания: 112
чопорность *(англ.)*

Два других гостя беседовали и покуривали возле них. Лейтенант Шип сказал на ухо доктору, по-видимому, что-то очень смешное, потому что доктор залился хохотом, а командор поднял голову и спросил:

— Что такое вам сказал лейтенант Шип?

Лейтенант повторил, и тут они все трое расхохотались еще громче, Паскалон же решительно ничего не мог понять.

А в это время наверху, овеваемый затихающим благовонным бризом, при ослепительном блеске заходящего солнца, купавшегося в море, игравшего на палубе и словно развесившего на всех снастях красную смородину, Тартарен, опершись о спинку кресла леди Уильям, рассказывал ей о своем романе с принцессой Лики-Рики и о том, как мучительно тяжело было им расставаться. Он знал, что женщины любят утешать и что поведать им муки наболевшего сердца — это лучший способ добиться успеха.

О, сцена прощания Тартарена с малюткой, которую сам Тартарен в таинственном полумраке рассказывал шепотом на ухо своей собеседнице! Кто не слыхал этого, тот вообще ничего не слыхал.

Я не берусь утверждать, что рассказ Тартарена

полностью соответствовал действительности, что эта сцена не была им хоть сколько-нибудь приукрашена. Во всяком случае, он повествовал о событиях так, как бы ему хотелось, чтобы они происходили: бедная принцесса, пылкая, страстная, в душе у которой шла борьба между дочерним долгом и супружеской верностью, в конце концов вцепилась в героя своими маленькими ручонками и голосом, полным отчаяния, крикнула: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» А у него сердце обливалось кровью, но он отталкивал ее и вырывался из ее объятий: «Нет, дитя мое, так надо. Оставайся со своим старым отцом, — кроме тебя, у него никого нет…»

Рассказывая об этом, Тартарен самым настоящим образом плакал, и ему казалось, что прекрасные глаза креолки, устремленные на него, тоже наполняются слезами, а солнце в это время медленно погружалось в море и покидало горизонт, затопляемый фиолетовой мглой.

Внезапно к ним приблизились какие-то тени, и все очарование нарушил резкий, холодный голос командора:

— Поздно уже, дорогая, да и свежо, — идемте!

Она встала и, чуть заметно кивнув головой, вымолвила:

— Покойной ночи, господин Тартарен!

Он был потрясен той глубокой нежностью, какую она вложила в свои слова.

После этого он еще некоторое время прохаживался по палубе, и в ушах у него продолжало звучать: «Покойной ночи, господин Тартарен!» Но командор был прав: воздух быстро свежел, и Тартарен решил идти спать.

Проходя мимо маленького салона, Тартарен увидел в приотворенную дверь своего секретаря: тот с озабоченным видом сидел за столом, подперев одной рукой голову, а другой перелистывая словарь.

— Что это вы делаете, дитя мое?

Верный Паскалон рассказал ему о том, какое неприятное впечатление произвел его внезапный уход, о перешептывании возмущенных сотрапезников, а главное, о таинственной фразе лейтенанта Шипа, которую командор заставил его повторить и которая всех насмешила.

— Хоть я и недурно понимаю по-английски, а все-таки смысла не уловил, только слова запомнил и теперь пытаюсь уразуметь, что же означала вся фраза.

Выслушав доклад секретаря, Тартарен лег в постель, поудобнее, поуютнее вытянулся, повязал

голову платком, пододвинул к себе большущий стакан с апельсинной водой и, закурив трубку, которую он всегда выкуривал перед сном, спросил:

— Вы кончили перевод?

— Да, дорогой учитель: «В сущности тарасконец — это тот же француз, только в увеличенном, непомерно увеличенном виде, точно отраженный в зеркальном шаре».

— И вы говорите, что они над этим покатывались?

— Все трое: и лейтенант, и доктор, и сам командор — никто не мог удержаться от смеха.

Тартарен пожал плечами и изобразил на своем лице сожаление:

— Известно, что англичанам редко выпадает случай посмеяться, вот они и рады всякой ерунде! Ну, дитя мое, пора спать, до завтра!

Немного погодя оба они заснули, и во сне один из них увидел Клоринду, а другой — супругу командора, ибо Лики-Рики была уже далеко.

Дни шли за днями и складывались в недели, путешествие превращалось в прелестную, очаровательную прогулку, и Тартарен, так любивший возбуждать к себе симпатию, приводить в восхищение, все время ощущал вокруг себя эту атмосферу и наблюдал самые разнообразные

проявления этих чувств.

Он мог бы сказать о себе словами Виктора Жакмона[113], который в одном из своих писем выразился так: «Странно сложились мои отношения с англичанами! Эти люди, с виду такие бесстрастные, такие холодные друг с другом, мгновенно оттаивают от моей непринужденности. Они волей-неволей впервые в жизни становятся ласковы; я делаю их добрыми, я в двадцать четыре часа офранцуживаю любого англичанина».

На «Томагавке» все обожали Тартарена — и офицеры и матросы, обожали везде одинаково: и на носу и на корме. Всякие разговоры о том, что он военнопленный, что его дело будет передано в английский суд, были прекращены, — его собирались освободить в Гибралтаре.

А суровый командор, в восторге, что у него такой сильный партнер, как Паскалон, по вечерам часами держал злосчастного вздыхателя Клоринды за шахматной доской, чем приводил его в отчаяние, так как он не мог отнести Клоринде лакомые кусочки от своего обеда. Дело в том, что горемыки тарасконцы по-прежнему влачили в

---

[113] Примечания: 113

Жакмон Виктор — известный французский путешественник *(Примеч. А. Доде.)*

своей каторжной тюрьме жалкое существование эмигрантов, и для Тартарена это была пытка и мука — разливаясь соловьем на юте или же в печальный час заката ухаживая за леди Уильям, бросить случайный взгляд вниз и вдруг увидеть своих соотечественников, сбившихся в кучу, как убойный скот, под охраной часового, и с ужасом от него отворачивающихся, особенно явно после того, как он стрелял в Тараска.

Они не прощали губернатору его преступления, да и он сам не забыл этого выстрела, сулившего ему несчастье.

Уже прошли Малаккский пролив, Красное море, уже обогнули Сицилию, уже близок был Гибралтар.

Однажды утром показалась земля, и Тартарен с Паскалоном, призвав на помощь лакея, начали было укладывать вещи, как вдруг все ощутили толчок, какой бывает приостановке судна. «Томагавк» застопорил. Одновременно послышался приближающийся плеск весел.

— Посмотрите, Паскалон, — сказал Тартарен, — уж не лоцман ли это?..

В самом деле, к судну приставала шлюпка, но без лоцмана. На ней развевался французский флаг, в ней сидели французские матросы и еще

два каких-то человека во всем черном и в высоких шляпах. Тартарен взыграл духом:

— О! Французский флаг! Дайте мне посмотреть, дитя мое!

Он бросился к иллюминатору, но дверь внезапно отворилась, в каюту хлынули потоки света, и вслед за тем два полицейских чина в штатском платье, державшие себя грубо и нагло, предъявив приказ об аресте, разрешение на выдачу преступников и всякую прочую музыку, наложили лапу на несчастный «Существующий порядок» и на его секретаря.

Губернатор отшатнулся, побледнел и с достоинством произнес:

— Прошу не забываться — я Тартарен из Тараскона.

— Вас-то нам и надо!

И тут их обоих схватили — схватили без объяснения причин, оставив без ответа все их многочисленные вопросы, не потрудившись сообщить, в чем их преступление, за что их задержали и куда повезут. Сейчас они не испытывали ничего, кроме стыда, оттого что их вели в кандалах — им и правда надели наручники — мимо матросов, мимо гардемаринов, а затем, под смех и улюлюканье соотечественников, которые, перевесившись

через борт, били в ладоши и кричали истошными голосами: «Вот это здорово!.. Так им и надо!.. Так им и надо!..» — посадили в шлюпку.

Тартарен рад был очутиться на дне морском.

Из военнопленного, под стать Наполеону или Фемистоклу, превратиться в обыкновенного жулика!

А тут еще супруга командора на него смотрит!

Положительно, он был прав: Тараск ему за себя мстил, и мстил жестоко.

III
Продолжение Паскалонова «Мемориала»

5 июля. Тарасконская тюрьма на Роне. Я только что с допроса. Теперь я понял, в чем нас обвиняют, губернатора и меня, почему нас тогда так неожиданно взяли на «Томагавке», схватили в тот момент, когда мы были наверху блаженства, на седьмом небе, выловили, как двух лангустов на чистом дне морском, надели наручники, переправили на французский корабль, доставили в Марсель, оттуда в Тараскон и посадили в секретную.

Нам предъявили обвинение в мошенничестве,

в непреднамеренном убийстве и в нарушении закона об эмиграции. Ну, а как же я мог не нарушить этот треклятый закон, коли я до сих пор не подозревал о его существовании?

Два дня нас продержали в тюрьме, причем нам было строжайше запрещено вступать с кем-либо в разговоры, — а что может быть ужаснее для тарасконца? — и наконец вызвали в суд к следователю г-ну Бонарику.

Бонарик начал свою карьеру в Тарасконе лет десять тому назад, меня он прекрасно знает, сто раз приходил ко мне в аптеку, — я ему приготовлял мазь от хронической экземы на щеке.

Тем не менее я должен был сообщить ему мое имя, фамилию, возраст, профессию, как будто он в первый раз меня видит. Мне пришлось показывать буквально все, что я знаю по делу о Порт-Тарасконе, и говорил я битых два часа без передышки. Его секретарь за мной не поспевал — вот до чего я разошелся. Ну, а потом: «Подследственный! Можете удалиться». Даже «до свиданья» не сказал.

В коридоре суда я столкнулся с бедным губернатором — мы не виделись с того дня, как нас засадили в тюрьму. Он сильно изменился.

Он успел пожать мне руку на ходу и ласково

молвил:

— Мужайтесь, дитя мое! Правда — что масло: всегда наверх всплывает.

Больше он ничего не мог мне сказать — полицейские толкали его в спину.

Его ведут полицейские!.. Тартарен в оковах, и где? В Тарасконе!.. И потом — этот гнев, эта ненависть всего народа!..

В ушах у меня всегда будут звучать неистовые крики черни, всегда я буду чувствовать на себе ее жаркое дыхание, никогда я не забуду, как нас обоих, рассадив по разным отделениям тюремной кареты, везли в тюрьму.

Видеть я ничего не мог, но рев толпы слышал. На Рыночной площади карета остановилась, — об этом я догадался по запаху, который вместе с полосками золотистого света просачивался в щели кареты, — и в запахе помидоров, баклажанов, кавальонских дынь, красного перца и крупного сладкого лука я ощущал дыхание нашего города. Я так давно не ел этих чудных вещей, и у меня слюнки потекли, как только я вдохнул их аромат.

Народу собралось столько, что лошадям негде было проехать. Тараскон по-прежнему многолюден, — можно подумать, что никто из тараскон-

цев не потонул, никто из них не был убит или же съеден людоедами. Мне даже почудился голос землемера Камбалалета. Наверно, я ослышался, — ведь сам Безюке признался, что ел нашего незабвенного Камбалалета. Но что я слышал голос Экскурбаньеса — в этом я убежден. Тут уж нельзя было ошибиться — его голос покрывал все вопли:

— А ну, в воду его!.. В Рону! В Рону!.. *Двайте шумэть*! В воду Тартарена!..

Тартарена — в воду!.. Какой печальный исторический урок! Какая скорбная страница в «Мемориале»!

Я забыл упомянуть, что следователь вернул мне дневник, отобранный у меня на «Томагавке». Он сказал, что дневник представляет интерес, советовал мне продолжать, а по поводу нашего мрачного острова даже скаламбурил, улыбаясь в свои рыжие бакенбарды:

— Вы составили мемориал и описали остров Умориал.

Я сделал вид, что мне смешно.

С 5 по 15 июля. Тарасконская городская тюрьма находится в историческом замке с четырьмя башнями по углам, в старинном замке короля Рене — он стоит на берегу Роны и виден издалека.

Не везет нам с историческими замками. В Швейцарии нас всех приняли за нигилистов, а славного Тартарена — за нашего главаря, и посадили в темницу Бонивара, в Шильонский замок.

Правда, здесь не так мрачно. Свету много, от реки тянет свежестью, и не льет дождь — не то что в Швейцарии или в Порт-Тарасконе.

Моя одиночка очень узкая: четыре оштукатуренных стены, железная койка, стол, стул. Солнечный свет проникает в зарешеченное окно, выходящее прямо на Рону.

Отсюда во время Великой революции бросали якобинцев в воду под звуки широко известной песни:

Бултых — и прямо в Рону
Попрыгают они…

А так как репертуар народных песен не очень богат, то и нам поют все тот же зловещий куплетец. Я не знаю, где поместили бедного губернатора, но и он, вероятно, слышит крики, несущиеся по вечерам с берегов Роны, и они не могут не навевать на него мрачных дум.

Хоть бы посадили-то нас с ним в одну камеру!.. Впрочем, откровенно говоря, по приезде сюда я испытываю некоторое облегчение, мне приятно

побыть один на один с самим собой, привести свои мысли в порядок.

Близость к великому человеку в конце концов до того утомительна! Он говорит с вами только о своей персоне и совершенно не входит в ваши интересы. На «Томагавке» я ни одной минуты не принадлежал себе, ни одной секунды не мог побыть с Клориндой. Сколько раз я говорил себе: «Она там!» Но улизнуть к ней мне не удавалось. Только пообедали — изволь играть в шахматы с командором, а потом весь остаток дня сиди около Тартарена: ведь после того, как я ему признался, что пишу «Мемориал», он не отпускал меня ни на шаг: «Напишите об этом… Не забудьте упомянуть о том-то…» И давай рассказывать случаи не только из своей жизни, а еще из жизни родителей, по правде сказать — мало интересные.

Не понимаю, как Лас-Каз мог это выдерживать несколько лет подряд! Император будил его в шесть часов утра, таскал за собой то пешком, то верхом, то в карете, и дорогой — пожалуйте: «Вы помните, Лас-Каз, на чем мы остановились?.. Ну так давайте дальше… Когда я подписал мир-

ный договор в Кампо-Формио...»[114] У бедного наперсника свои заботы: больной ребенок, жена, которую он оставил во Франции, но какое до этого дело императору? Ему бы только рассказать о себе, оправдаться перед Европой, перед всем миром, перед потомством — и так каждый день, каждый вечер, годами! Стало быть, настоящим мучеником был на Святой Елене не Наполеон, а Лас-Каз!

Я теперь от этой пытки избавлен. Бог свидетель, я этого не добивался, но нас с ним разъединили, и у меня есть теперь досуг подумать о себе, о моей горькой доле, о моей горячо любимой Клоринде.

Считает ли она меня виновным? Она-то нет, а вот ее семья, все эти Эспазеты д'Эскюдель де Ламбеск?.. В их кругу человек нетитулованный всегда виноват. Во всяком случае, у меня уже ничего не осталось от былого величия, и они ни за что не отдадут за меня Клоринду. Придется мне, как видно, вернуться к Безюке, в его аптеку на Малой площади, и опять заняться склянками... Вот она, слава!

17 июля. Никто не навещает меня в тюрьме, а

---

[114] Примечания: 114

Договор в Кампо-Формио — мирный договор между австрийцами и генералом Бонапартом, заключенный после его похода в Италию и отдававший в руки французов северную часть страны (1797 г.).

это дурной знак. Стало быть, на меня так же злы, как и на моего учителя.

Единственное развлечение, которое я могу себе позволить в тюремной камере, — это влезть на стол. Оттуда я смотрю в окно, и между прутьев решетки глазам моим открывается чудный вид.

Рона, дробя в своих водах солнечный свет, течет среди островков, покрытых взлохмаченной от ветра бледною зеленью. Быстролетными черными точками испещрили все небо стрижи. Их взвизги стремятся один другому вдогонку, то проносясь у самого моего окна, то падая с вышины, а внизу качается длинный висячий мост, до того легкий, что так и ждешь: вот сейчас ветер сорвет его и унесет, как шляпу.

По берегам стоят развалины старинных замков: Бокерского замка, у подножья которого прилепился город, Куртезонского, Вакейрасского. За их некогда толстыми, ныне осыпавшимися стенами устраивались «любовные турниры», и принцессы и королевы дарили свою любовь поэтам того времени — труверам, воспевавшим их, как ныне Паскалон воспевает свою Клоринду. Но, увы, какие с тех отдаленных времен произошли перемены! От дивных чертогов остались ныне лишь ямы, заросшие бурьяном, а поэты хотя и

славят знатных дам и девушек, да девушки-то их поднимают на смех.

Зато не так уныло выглядит Бокерский канал: там тесными рядами все идут и идут зеленые и желтые суда, а набережную усеяли красными пятнами мундиры разгуливающих офицеров, которых мне хорошо видно из моего высокого окна.

Бокерцы, наверно, радуются беде тарасконцев, падению нашей знаменитости, ибо слава Тартарена затмевала славу наших кичливых соседей.

Я помню, как в годы моего детства бокерцы похвалялись своею ярмаркой. Народ стекался к ним отовсюду — но только не из Тараскона: уж больно ненадежен висячий мост! Наплыв был огромный — на ярмарку съезжалось не менее пятисот тысяч душ!.. Однако год от году она редела. Бокерская ярмарка существует и поныне, но никто на нее не ездит.

В Бокере повсюду надписи: «Отдается внаймы… Отдается внаймы…» Если же случайно забредет туда путешественник или коммивояжер, то жители устраивают в его честь торжество: муниципальный совет встречает его с музыкой, бокерцы зазывают его к себе наперебой. С годами Бокер утратил свою былую славу, тогда как

Тараскон приобрел известность... И все из-за Тартарена!

Вот о чем думал я, стоя на столе и глядя в окно. Солнце зашло, спустилась ночь, и вдруг на том берегу Роны на башне Бокерского замка вспыхнул яркий огонь.

Он горел долго, а я долго смотрел, как в глубокой ночной тишине, которую лишь по временам колебали мягким шорохом крыльев орланы, ложился на Рону красноватый отблеск, и что-то таинственное чудилось мне в нем. Уж не сигнал ли это?

Быть может, это какой-нибудь поклонник нашего великого Тартарена хочет устроить ему побег?.. Нет, неспроста загорелся огонь на самом верху полуразрушенной башни как раз напротив его темницы!

18 июля. Проезжая сегодня с допроса в тюремной карете мимо церкви св. Марфы, я услышал голос маркизы дез Эспазет, голос по-прежнему властный, с характерным провансальским акцентом: «*Клорэнда!.. Клорэнда*!..» — а затем нежный, ангельский голосок моей возлюбленной: «Иду, мама!»

Наверно, она шла в церковь помолиться за меня, за благоприятный исход дела.

Вернулся я в тюрьму крайне взволнованный… Я даже написал на провансальском языке стихи о том, что эта встреча явится для меня счастливым предзнаменованием.

Вечером в тот же час опять на Бокерской башне загорелся огонь. Светит он во мраке, будто костер в Иванову ночь. Вне всякого сомнения, это сигнал.

Тартарен, с которым я перекинулся несколькими словами в коридоре суда, тоже видел огонь сквозь решетку своей тюрьмы, а когда я ему сказал, что, наверное, друзья хотят устроить ему побег, как Наполеону с острова Святой Елены, он был потрясен таким совпадением:

— Ах, вот оно что! Наполеону с острова Святой Елены… пытались устроить побег?

Однако, немного подумав, он заявил, что никогда на это не решится.

— Конечно, не спуск с башни в триста футов вышиной по веревочной лестнице, которую раскачивает ночной ветер с реки, пугает меня. Можете не сомневаться, дитя мое!.. Я боюсь другого; подумают, что я уклонился от ответственности. Нет, Тартарен из Тараскона не побежит!

Ах, если бы все те, кто кричит, когда он проезжает мимо: «А ну, в Рону его, в Рону!..» — могли

слышать наш разговор!.. И его еще обвиняют в мошенничестве! Его сочли сообщником этого подлеца герцога Монского!.. Какой вздор!.. Ну на что это похоже?..

Между прочим, он уже не заступается за герцога, он раскусил поганого бельгийца! В невиновности Тартарена убедятся все, он сумеет себя защитить — дело в том, что на суде Тартарен сам будет себя защищать. Я же из-за своего заикания не могу выступать публично, и меня будет защищать Цицерон Бранкебальм, стяжавший себе славу той несокрушимой силой логики, какой отличаются его судебные речи.

20 июля вечером. Как мучительно тяжелы для меня допросы! Трудность заключается не в том, чтобы защитить себя, а в том, чтобы, защищая себя, не потопить моего бедного учителя. Он был так неосторожен, он так слепо доверял герцогу Монскому! А потом из-за перемежающейся экземы г-на Бонарика никогда не знаешь, бояться тебе или надеяться. Экзема — это у моего следователя пункт помешательства. «Выступила» — он лезет на стену, «не выступила» — он «душа-человек».

Вот у кого «выступила» и так никогда и не сойдет, это у несчастного Безюке: за морем татуировка ничуть ему не мешала, но здесь, под

тарасконским небом, он сам себе стал противен, никуда не выходит, прячется от всех в своей лаборатории, приготовляет травяные настойки, омлеты и к посетителям выходит не иначе как в бархатной маске, словно опереточный заговорщик.

До чего мужчины боятся физической боли, боятся всяких лишаев, пятен, экзем, — пожалуй, даже больше, чем женщины! Оттого-то, наверно, он так и злится на Тартарена — он видит в нем источник всех своих мучений.

24 июля. Вчера меня опять вызвали к г-ну Бонарику, — по-видимому, в последний раз. Он показал мне бутылку, найденную ронским рыбаком на одном из островов, и дал прочитать письмо, которое было в этой бутылке:

> «Тараскон. Городская тюрьма. Тартарену. Мужайся! Друг твой бодрствует на том берегу. Когда урочный час пробьет, он переправится. Одна из жертв герцога Монского».

Следователь спросил, знаком ли мне почерк. Я ответил, что не знаком, но так как всегда надо говорить правду, то прибавил, что кто-то уже однажды пытался завести таким образом пере-

писку с Тартареном: перед нашим отъездом из Тараскона ему доставили точно такую же бутылку с письмом, но он не придал ей никакого значения, полагая, что кто-то над ним подшутил.

Следователь сказал: «Хорошо». А потом, как всегда: «Можете идти».

26 июля. Предварительное следствие закончилось; объявлено, что дело будет слушаться на ближайших днях. Город бурлит. Судебное разбирательство начнется, вероятно, 1 августа. Теперь я уже не буду спать до самого суда. Да я и так уже давно не сплю в этой узкой конурке, накаленной, как печка. Приходится на ночь оставлять окно открытым, но тогда нет отбою от комаров, а по углам скребутся крысы.

За последние дни я имел несколько свиданий с Цицероном Бранкебальмом. Он с большой горечью говорил о Тартарене. Я чувствую, что он на него обижен за то, что тот не поручил ему защищать себя. Бедный Тартарен! Все против него.

Состав суда, насколько мне известно, обновлен. Бранкебальм назвал мне фамилии судей: председатель суда — Мульяр, члены суда — Бекман и Робер дю Нор. Никакие знакомства нам не помогут. Говорят, все трое — нездешние. Да это и по фамилиям видно.

По непонятной мне причине из обвинительного акта исключены два пункта: непреднамеренное убийство и нарушение закона об эмиграции. Явке в суд подлежат: Тартарен из Тараскона, герцог Монский — да, так он вам и явится! — и Паскаль Тестеньер, именуемый Паскалоном.

31 июля. Ночь провел в волнении и в тревоге. Завтра суд. Встал поздно. Смог только нацарапать на стене тарасконскую поговорку, слышанную мною не раз от Бравида, который знал их все до одной:

От бессонницы страдать,
Зря кого-нибудь прождать,
Без взаимности любить -
Что ужасней может быть?

IV
Судебный процесс на юге Франции. Сбивчивые показания. Тартарен клянется перед богом и людьми. Тарасконские узорщики. Рюжимабо съела акула. Неожиданный свидетель

Нет, прах их побери, судьи бедного Тартарена

не были южанами! Чтобы убедиться в этом, достаточно было на них взглянуть в дышавший зноем августовский полдень в ломившейся от публики большой зале суда, где слушалось дело Тартарена.

Надо вам сказать, что август в Тарасконе — месяц нестерпимо жаркий. Жарко, как в Алжире, и меры принимаются здесь против этой небесной кары такие же, как и в африканских городах: еще до полудня улицы пустеют, из казарм запрещено выходить, перед каждой лавкой навес. Но из-за процесса Тартарена все эти местные обычаи пришлось нарушить, а потому нетрудно вообразить температуру в переполненной зале суда, в глубине которой трибуны были битком набиты дамами в платьях с оборками и в шляпках с перьями.

Часы на башне суда пробили два. В высокие, настежь распахнутые окна, на которых были спущены длинные желтые шторы, вливались струистый, переливчатый свет, оглушительный треск цикад, укрывавшихся в тени кустов боярышника и платанов Городского круга — больших деревьев с белой листвой, белой от пыли, — гул толпы, оставшейся снаружи, и, как на арене перед боем быков, выкрики разносчи-

ков: «Кому холодной воды?..»

Поистине, надо было быть тарасконцем, чтобы не изнемочь в духоте этой залы, а духота стояла такая, что ожидающий смертной казни — и тот, кажется, заснул бы здесь во время чтения приговора. Судьи совсем задыхались; они, все трое, не привыкли к знойному югу: и председатель суда Мульяр, лионец, выглядевший на юге белой вороной, с продолговатой седой головой и строгим взглядом философа, одним своим видом нагонявший тоску, и два члена суда — Бекман из Лилля и прибывший с еще более дальнего севера Робер дю Нор.

Как только началось заседание, эти господа, сразу осовев, уставились на большие световые квадраты, вычертившиеся на желтых шторах, а во время бесконечно долгой проверки свидетелей, коих было со стороны обвинения никак не меньше двухсот пятидесяти, судьи уже спали вовсю.

Спали и полицейские — они тоже не были уроженцами юга, а их жестокосердное начальство не позволило им снять хотя бы часть их тяжеленной амуниции.

Разумеется, в таких условиях трудно было решить дело по справедливости. К счастью, судьи

изучили его заранее, иначе сквозь дремоту вряд ли бы что-нибудь дошло до их сознания, кроме треска цикад да жужжания мух, сливавшегося с гудением человеческих голосов.

После парада свидетелей товарищ прокурора Бомпар дю Мазе начал читать обвинительное заключение.

Вот это уж был настоящий южанин! Низенький, пузатенький, лохматый, косматый, с бородкой, завивавшейся, как черные стружки, с глазами навыкате, словно кто-то изо всех сил треснул его по затылку, с глазами, налитыми кровью, будто ему только что ставили мушки, с металлическим голосом, от которого звенело в ушах. А уж мимика, а телодвижения!.. Это была краса и гордость тарасконской прокуратуры. Его приходили слушать за несколько миль. Но на сей раз особую остроту его обвинительной речи придавало его родство с пресловутым Бомпаром, одной из первых жертв порт-тарасконского предприятия.

Никогда еще обвинитель не был столь ожесточен, столь возбужден, столь несправедлив, столь пристрастен, но ведь в Тарасконе любят все будоражащее и громозвучное!

Как развенчивал он бедного Тартарена, сидевшего рядом со своим секретарем между двумя

полицейскими! С пеной у рта, топорща закрученные усы, он в такие жалкие лохмотья превращал его славное прошлое!

Паскалон совсем растерялся и от стыда закрыл лицо руками. Тартарен, напротив, слушал очень спокойно, с гордо поднятой головой и не отводя глаз в сторону, — он чувствовал, что его песня спета, что звезда его закатилась, он знал, что за взлетом обыкновенно следует падение — так уж устроен мир, — и был ко всему готов, а между тем Бомпар дю Мазе, все свирепея, обрисовывал его как самого заурядного мошенника, злоупотреблявшего своей призрачной славой, хваставшегося львами, которых он, вернее всего, и не убивал, восхождениями, которых он, вернее всего, и не совершал, связавшегося с авантюристом, с проходимцем, неким герцогом Монским, которого суд так и не мог разыскать. Он доказывал, что Тартарен еще хуже герцога Монского, — тот, по крайней мере, не эксплуатировал своих соотечественников, а Тартарен нажился на тарасконцах, обворовал их, зарезал без ножа, пустил по миру, довел до того, что они подбирали корки в помойных ямах.

— Впрочем, господа судьи, чего же еще можно ожидать от человека, стрелявшего в Тараска,

нашего отца-батюшку?..

Эта заключительная часть его речи вызвала на трибунах патриотические рыдания, а с улицы им вторил рев толпы, ибо голос товарища прокурора, пробив двери и окна, достиг и ее слуха. Сам же товарищ прокурора, потрясенный до глубины души звуками собственного голоса, зарыдал и заверещал так громко, что судьи мгновенно проснулись — им показалось, что от страшного ливня попадали все водосточные трубы и желоба.

Бомпар дю Мазе говорил пять часов подряд.

Хотя жара еще не спала, но как раз когда он кончил, свежий ветер с реки стал надувать желтые шторы на окнах. Председатель суда Мульяр больше уже не засыпал, — изумление, в которое его, недавно сюда прибывшего, повергла страсть тарасконцев к вымыслам, было так сильно, что он все время потом бодрствовал.

Сам Тартарен подал пример этого очаровательного в своей наивности вранья, которое составляет, так сказать, аромат, букет здешних мест.

Допрос Тартарена мы по необходимости даем здесь в сокращенном виде, но вот один из его любопытных моментов. Тартарен вскочил и, подняв руку, произнес:

— Перед богом и людьми клянусь, что я этого письма не писал.

Речь шла о письме, которое Тартарен прислал из Марселя редактору «Порт-тарасконской газеты» Паскалону и в котором он подстегивал редактора и требовал, чтобы тот еще поддал пару, расписывая, как богат этот остров и какая там плодородная почва.

Нет, тысячу раз нет! Обвиняемый этого не писал. Он отрицает, он протестует.

— Не знаю, может быть, это герцог Монский, не явившийся в суд…

Как презрительно цедит он сквозь зубы это: «не явившийся в суд»!

Тут вмешивается председатель суда:

— Покажите письмо обвиняемому.

Тартарен берет письмо, смотрит и, как ни в чем не бывало, заявляет:

— Да, правда, это мой почерк. Письмо писал я, я позабыл.

При этих словах заплакал бы и тигр.

Немного погодя — еще один эпизод, с Паскалоном. На этот раз поводом послужила помещенная в вышеупомянутой газете статья о том, как принимали туземцы, король Негонко и первые поселенцы острова пассажиров с «Фарандолы»

и «Люцифера» в порт-тарасконской ратуше, подробнейшим образом описанной автором.

Каждое слово статьи вызывало в зале дикий, неудержимый хохот, прерываемый воплями негодования. Паскалон — и тот был вне себя; сидя на скамье подсудимых, он выражал глубокое возмущение: это не он, ни за что не поставил бы он своей подписи под такой заведомой ложью.

Ему сунули под нос напечатанную статью с рисунками, сделанными по его указаниям, подписанную его фамилией, и вдобавок его собственный черновик, найденный в типографии Тринклага.

— Потрясающе! — вытаращив глаза, сказал бедный Паскалон. — У меня это совсем вылетело из головы!

Тартарен вступился за своего секретаря:

— Дело в следующем, господин председатель суда: слепо веря всем россказням герцога Монского, не явившегося…

— Ну да, теперь валите на герцога Монского — он все свезет! — в бешенстве прервал его товарищ прокурора.

— Я давал этому несчастному ребенку, — продолжал Тартарен, — идею для статьи и говорил: «Вышейте мне по этой канве узоры». Он и раз-

узоривал.

— Это верно, я только разу-узоривал… — робко пролепетал Паскалон.

Ох уж эти узорщики! Председатель суда Мульяр понял, что это такое, во время опроса свидетелей: все они были тарасконцы, все до одного — сочинители, и все, как один, отказывались от того, что утверждали накануне.

— Но ведь вы же сами показывали это на предварительном следствии.

— Кто, я?.. А, да ну!.. Мне и во сне-то ничего подобного не снилось.

— Но вы же, однако, подписали.

— Подписал?.. Даже и не думал…

— Вот ваша подпись.

— Свят, свят, свят, а ведь и правда!.. Должен вам сказать, господин председатель суда, что я крайне изумлен.

И так было со всеми — никто не помнил своих показаний.

Судьи терялись, становились в тупик перед этими противоречиями, перед этой кажущейся недобросовестностью, ибо страсть к вымыслам, свойственная людям, населяющим страну солнечного света, и живость их воображения были недоступны холодным северянам.

С ошеломляющими сообщениями выступил Костекальд, — он показал, что его изгнали с острова, что из-за лихоимца и тирана Тартарена ему пришлось покинуть жену и детей. Потом, чего стоила драма в шлюпке: его несчастные товарищи один за другим умирают страшной смертью. Рюжимабо захотелось освежиться он решил искупаться около самой шлюпки, внезапно к нему подплывает акула и разрывает его пополам.

— О, эта улыбка моего друга!.. Я вижу ее как сейчас. Он простирает ко мне руки, я плыву к нему, но вдруг по его лицу пробегает судорога, и он исчезает бесследно… лишь кровавый круг ширится на воде.

Костекальд дрожащею рукою обводит круг, а из глаз его текут слезы величиною с турецкий горох.

Услыхав фамилию Рюжимабо, Бекман и Робер дю Нор, как раз к этому времени очнувшиеся, наклонились к председателю, и пока стены суда сотрясались от громких рыданий публики, возбужденной рассказами Костекальда, три черные судейские шапочки все время покачивались из стороны в сторону.

Наконец председатель суда Мульяр задал свидетелю вопрос:

— Вы говорите, что Рюжимабо у вас на глазах съела акула. Но на суде только что упоминался в качестве свидетеля со стороны обвинения некий Рюжимабо, сегодня утром прибывший в Тараскон… Это не тот?..

— Ну да, конечно!.. Это я и есть!.. — воскликнул бывший заместитель начальника сельскохозяйственного отдела.

— Как? Рюжимабо здесь? — не поведя бровью, сказал Костекальд. — Я его не видел, это для меня новость.

Тут одна из черных шапочек обратилась к нему с вопросом:

— Значит, он не был съеден, как вы только что утверждали?

— Я, видимо, спутал его с Трюфенюсом…

— Дьявольщина, я же здесь, вот он я, меня тоже никто не съел!.. — раздался возмущенный голос Трюфенюса.

Костекальда это начало раздражать.

— Да не все ли равно? — заявил он. — Я знаю наверное, что кто-то был съеден акулой, я видел круг.

И, как ни в чем не бывало, продолжал давать показания.

Прежде чем отпустить его, председатель су-

да поинтересовался, как велико, по подсчетам свидетеля, число жертв. На это свидетель ему ответил:

— По меньшей мере *срок* тысяч. (Вместо *сорок* там говорят *срок*.)

Между тем по переписи значилось никак не более четырехсот островитян, а потому легко можно себе представить смятение председателя суда Мульяра и членов суда. Пот лил градом с этих несчастных — такого судебного разбирательства в их практике еще не было, никогда еще не приходилось им выслушивать столь противоречивые свидетельские показания. А свидетели все так же ожесточенно спорили, перебивали друг друга, вскакивали с мест, вырывали друг у друга признания, а вместе с признаниями, кажется, готовы были вырвать и языки. И все со скрежетом зубовным и сатанинским смехом! На этом фантастическом, трагикомическом процессе речь шла только о съеденных, утонувших, вареных, жареных, пареных, проглоченных, татуированных, изрубленных на мелкие куски тарасконцах, сидевших тут же, на одной скамье, живых и здоровых, целых и невредимых, не потерявших ни единого зуба, без единой ссадины на теле.

Два-три свидетеля до сих пор еще не явились,

но так как их ждали с минуты на минуту и так как они наверняка были на одну стать со всеми прочими, то судебный следователь Бонарик, хорошо знавший нравы своих сограждан, убедил председателя суда не поднимать вопроса о непреднамеренном убийстве.

А шумная и забавная вереница свидетелей все еще тянулась.

Публика тоже вела себя бурно: одних она освистывала, другим рукоплескала и без зазрения совести отвечала хохотом на ежеминутные угрозы председателя суда очистить залу, хотя, сбитый с толку всем этим гамом и неразберихой, он на самом деле и не думал очищать ее, а лишь, облокотившись на стол, то и дело хватался за свою раскалывавшуюся голову.

Воспользовавшись относительным затишьем, Робер дю Нор, высокий сухощавый старик с насмешливо поджатыми губами и длинными пушистыми седыми бакенбардами, в съехавшей на ухо шапочке, откинувшись на спинку кресла, проговорил:

— Короче, насколько я понимаю, не вернулся один Тараск.

При этих словах товарищ прокурора Бомпар дю Мазе неожиданно выпрыгнул, как чертик из

коробочки:

— А мой дядя?..

— А Бомпар? — отозвалась вся зала.

— Я считаю своим долгом обратить внимание суда, — трубным гласом продолжал товарищ прокурора, — что мой дядя Бомпар пал одной из первых жертв. Я из деликатности не упомянул о нем в обвинительной речи, но факт остается фактом, что он, во всяком случае, не вернулся и никогда больше не вернется…

— Извините, господин товарищ прокурора, — вмешался председатель суда, — но мне только что прислал свою карточку некий господин Бомпар, — он желает дать показания… Не ваш ли это дядя?

Да, это был его дядя, Бомпар Гонзаг.

Его имя, хорошо известное всем тарасконцам, вызвало невообразимый шум. Публика, свидетели, обвиняемые — все повскакали с мест, полезли на скамейки, вытянули шеи и, задыхаясь от нетерпения и любопытства, стали искать глазами Бомпара. По случаю такого переполоха председатель суда Мульяр объявил на несколько минут перерыв, и во время перерыва из залы пришлось вынести человек десять потерявших сознание полицейских, полумертвых от духоты

и от бестолочи.

V

Бомпар перешел мост. История письма за пятью красными печатями. Бомпар призывает, в свидетели весь Тараскон, но на его призыв никто не откликается. «Да прочтите же нам наконец письмо, черт бы вас побрал!» Лгуны северные и лгуны южные

— Это он, это Гонзаг!.. Глянь! Глянь!

— Как же он раздобрел!

— Какой же он бледный!

— Он стал похож на *тэрка*!

Тарасконцы давно его не видели, и теперь им трудно было его узнать: их славный Бомпар, прежде очень худой, с головой усатого палликара[115] и с глазами как у бешеной козы, теперь раздался, его «разнесло», как принято говорить в Тарасконе, но усы у него были все такие же длинные и такие же безумные глаза на расплывшемся одутловатом лице.

---

[115] Примечания: 115

Палликар (греч. — молодец, богатырь) — солдат греческих народных отрядов, боровшихся против Турции за независимость своей страны.

Не глядя по сторонам, он шел за судебным приставом к решетке.

Вопрос. Вы — Гонзаг Бомпар?

— По правде сказать, господин председатель суда, я уже начинаю в этом сомневаться, когда я вижу, — патетический жест в сторону скамьи подсудимых, — когда я вижу на этой позорной скамье нашу незапятнанную славу, когда я слышу, как оплевывают за этой решеткой олицетворение честности и глубокой порядочности…

— Спасибо, Гонзаг! — сдавленным от волнения голосом крикнул с места Тартарен.

Все оскорбления он переносил стойко, но сочувствие старого приятеля надрывало ему душу, и на глазах у него выступили слезы, как у ребенка, которого пожалели. А Бомпар между тем продолжал?

— Слушай, доблестный мой согражданин! Тебе не придется долго сидеть на этой поганой скамье, я принес доказательство… доказательство…

Пошарив в карманах, он вытащил оттуда марсельскую трубку, нож, старый кремень, огниво, клубок бечевки, метр, барометр, коробочку с гомеопатическими пилюльками и все это разложил на столе секретаря суда.

— Послушайте, свидетель Бомпар, когда же вы

кончите? — нетерпеливо заметил председатель суда.

Его поддержал товарищ прокурора Бомпар дю Мазе:

— Да, да, дядюшка, поскорее!

Дядюшка обернулся к нему:

— Ну, ну, смотри ты у меня! Я с тобой еще рассчитаюсь за все, что ты позволил себе сказать о моем бедном друге!.. Ты у меня дождешься: я тебя наследства лишу, подлец!

На племянника эта угроза не произвела впечатления, а дядюшка опять начал рыться в карманах и выкладывать целую коллекцию самых разнообразных предметов, но в конце концов он все же нашел искомое: это был большой конверт за пятью красными печатями.

— Вот, господин председатель суда, из этого документа явствует, что герцог Монский — последний негодяй, каторжник и…

Еще секунда — и посыпались бы забористые словца. Но председатель прервал его:

— Хорошо. Дайте сюда документ.

Он вскрыл таинственный конверт и, прочитав письмо, передал его членам суда, а те, уткнув в него носы, стали внимательно вчитываться, не показывая, однако, какое впечатление оно на

них производит. Вот уж настоящие-то северные судьи! Скрытные, замкнутые.

Но что же все-таки в этом треклятом письме? Ну да от таких типов разве добьешься толку?

Сидевшие в зале приподнимались, нагибались, приставив руку щитком к глазам, старались рассмотреть издали. Всю залу облетел вопрос:

— Что там такое? Что же это может быть, черт побери?

Так как двери и окна в суде были открыты, то все, что происходило здесь, немедленно вырывалось наружу, и оттого с Городского круга доносился сейчас грозный шум, слитный гул, по толпе пробегал трепет, точно зыбь на море, когда задувает ветер.

Полицейские теперь уже не спали, проснулись даже мухи, облепившие потолок, в залу вместе с вечерней прохладой врывался сквозняк, которого так боятся тарасконцы, и те из них, что сидели ближе к окнам, потребовали, чтобы их закрыли, «а то ведь тут насмерть распростудишься».

В сотый раз председатель суда взвизгнул!

— Тише, иначе я велю очистить залу!

И опрос продолжался.

В о п р о с: Свидетель Бомпар! Как и когда попало к вам в руки это письмо?

О т в е т: Перед отправкой «Фарандолы» из Марселя герцог, так называемый герцог Монский, назначил меня временно исполняющим обязанности порт-тарасконского губернатора и сунул мне в руки этот пакет, запечатанный пятью красными печатями, хотя денег в нем не было. Он мне сказал, что в этом пакете его последние распоряжения, и велел не вскрывать его, пока мы не дойдем до одного из Адмиралтейских островов, — вот только я не знаю, под сколькими градусами широты и долготы они находятся. Ну да на конверте это указано, можете посмотреть…

В о п р о с: Да, да, я вижу… Так что же было потом?

О т в е т: Потом, господин председатель суда, я, как вы знаете, внезапно заболел заразной, гнгррнозной и какой-то там еще болезнью, и меня, умирающего, высадили в Шато-д'Ифе[116]. На суше я корчился от боли, а письмо так и осталось у меня в кармане; болезнь отшибла у меня память, и, передавая свои полномочия Безюке, я забыл отдать ему письмо.

В о п р о с: Досадная забывчивость… Дальше?

О т в е т: Дальше, господин председатель суда,

---

[116] Примечания: 116

Шато-д'Иф — крепость на острове у входа в марсельскую гавань.

мне стало немножко легче, я уже мог встать и одеться, но еще не совсем поправился, — ах, если б вы видели, на что я был похож!.. И вот как-то раз сунул я руку в карман — глядь, конверт с красными печатями!..

Председатель суда *(строго):* Свидетель Бомпар! Не правильнее ли будет сказать, что конверт, который вам было ведено распечатать за четыре тысячи миль от Франции, вы из любопытства предпочли вскрыть сейчас же, прямо в Марсельском порту, и, ознакомившись с содержанием письма, решили сложить с себя возложенную на вас колоссальную ответственность?

— Господин председатель суда! Вы не знаете Бомпара. Призываю в свидетели весь здесь присутствующий Тараскон.

Гробовое молчание было ответом на этот чисто ораторский прием. Бомпар, тот самый, которого сограждане прозвали Выдумщиком, хотя они и сами не отличались особой правдивостью, имел наглость призывать их в свидетели, что он никогда не лгал, и Тараскон на его призыв не откликнулся. Бомпар, однако, не смутился.

— Видите, господа судьи, — заявил он, — молчание — знак согласия…

И продолжал свой рассказ:

— Ну так вот, когда я нашел письмо, Безюке давно уже уехал, был уже далеко, передать ему письмо я не мог при всем желании. Тогда я решил прочитать письмо, и — представьте себе весь ужас моего положения!..

В еще более ужасном положении находилась сейчас публика, ибо она все еще не знала содержания лежавшего на столе письма, о котором здесь столько говорилось.

Все вытягивали шеи, но издали ничего не могли разглядеть, кроме невольно привлекавших к себе внимание красных печатей на конверте, который, казалось, вырастал на глазах во что-то громадное.

Бомпар продолжал:

— Позвольте вас спросить: что я должен был делать, узнав обо всех этих ужасах? Догонять «Фарандолу» вплавь? Я уж было думал, да побоялся, что сил не хватит. Помешать отправке «Туту-пампама», показать моим соотечественникам этот гнусный конверт, умерить их восторги, окатить их ушатом холодной воды? Но меня бы побили камнями. Одним словом, я, понимаете ли, испугался… Я уже не смел показаться в Тарасконе — я не знал, что мне там говорить. Тогда я решил

укрыться как раз напротив, в Бокере, — оттуда я-то мог все видеть, а меня бы никто не видел. Я занял там две должности: ярмарочного сторожа и смотрителя замка. Как вы сами понимаете, свободного времени у меня было достаточно. Поднявшись на старую башню, я в хорошую подзорную трубу наблюдал с того берега Роны за предотъездной суетой моих несчастных сограждан. И я сокрушался, убивался… Я простирал к ним руки, издали кричал им, как будто они могли меня услышать: «Стойте!.. Не уезжайте!..» Я пытался даже предостеречь их при помощи бутылки… Скажите им, Тартарен, скажите этим господам, что я пытался вас предостеречь!

— Подтверждаю! — сидя на своей позорной скамье, заявил Тартарен.

— Ах, господин председатель суда! Как тяжело мне было смотреть на «Туту-пампам», отбывающий в эту призрачную страну!.. Но мне стало еще тяжелее, когда мои сограждане возвратились и когда я узнал, что на том берегу томится в оковах, брошенный, точно горсть рябины, на солому, мой прославленный соотечественник Тартарен. Знать, что он, оклеветанный, в этой башне!..

Конечно, вы можете мне возразить, что я должен был раньше представить доказательство его

невиновности, но когда уж станешь на скользкий путь, так потом черт знает как тяжко вернуться на правильный. Я начал с того, что промолчал, и мне все труднее и труднее было начать говорить, а кроме того, я боялся перейти мост, этот ужасный мост.

А все-таки я этот чертов мост перешел, прошел по нему нынче утром во время дикого урагана — я вынужден был ползти на четвереньках, как при восхождении на Монблан. Помните, Тартарен?

— Еще бы не помнить! — сожалея о своем славном прошлом, с горечью отозвался Тартарен.

— Как этот мост подо мною качался! Каких героических усилий стоил мне этот переход!.. Но я не люблю хвастаться. Одним словом, я здесь, перед вами, и я вам принес доказательство, доказательство неопровержимое.

— По-вашему, оно неопровержимо? — заметил Мульяр с присущим ему спокойствием. — А где у нас гарантия, что это странное письмо, завалявшееся у вас в кармане, действительно написано герцогом Монским или, вернее, так называемым герцогом Монским? Вам, тарасконцам, верить нельзя! За семь часов я столько наслушался лжи…

При этих словах глухое рычание, точно в клет-

ках диких зверей, раздалось в зале, на трибунах и докатилось до самого Городского круга.

Оскорбленный Тараскон выражал свое возмущение. А Гонзаг Бомпар только улыбнулся непередаваемой улыбкой:

— О себе, господин председатель суда, я бы не сказал, что в разговоре я чего-нибудь иной раз не присочиню, что меня можно было бы назначить директором бюро *Veritas*[117], — это было бы преувеличением. Но вы обратитесь к нему, — он указал на Тартарена, — правдивее этого человека нет во всем Тарасконе.

Тартарен без труда узнал почерк и подпись господина де Монса, так хорошо, к сожалению, ему знакомые. Затем он, все так же стоя, обратился к суду и, в ярости потрясая ужасной тайной за пятью красными печатями, сказал:

— Теперь, когда эта циничная бумажонка у меня в руках, я заклинаю вас, господин председатель суда, признать, что обманщики бывают не только на юге. И вы еще называете лгунами нас, тарасконцев! Нет, мы не лгуны, но у нас богатое воображение, мы говоруны, сочинители, разузориватели, неистощимые импровизаторы,

---

[117] Примечания: 117
истина *(лат.)*

напоенные соками нашей земли и солнечным светом, и мы сами попадаемся на удочку наших сногсшибательных, но невинных вымыслов.

Как не похожи мы на ваших северных лгунов, холодных, расчетливых, всегда преследующих какую-нибудь низкую цель, замышляющих, вроде автора этого письма, что-нибудь недоброе! О да, можно смело сказать, что по части лжи югу за севером не угнаться!..

В другое время Тартарен мог бы речью на такую тему потрясти тарасконскую публику. Но бедному великому человеку и его популярности пришел конец. Никто не слушал его. Всех занимало таинственное послание, которым он махал в воздухе.

Незадачливый оратор хотел еще что-то сказать, да не тут-то было.

Со всех сторон кричали:

— Письмо!.. Письмо!..

— А, да ну, возьмите же у него письмо!

— Пусть прочтет письмо!

Уступая настойчивости толпы, председатель суда Мульяр изрек:

— Секретарь! Огласите документ.

Могучий вздох облегчения пронесся по зале, и затем уже в наступившей тишине было слыш-

но лишь жужжание августовских мух да треск цикад, вторивших учащенному биению человеческих сердец.

Секретарь гнусавым голосом начал читать:

«Г-ну Гонзагу Бомпару, временно исполняющему обязанности губернатора Порт-Тарасконской колонии.

Вскрыть под 144°30′ восточной долготы на траверсе Адмиралтейских островов.

Любезный г-н Бомпар!

Всякой остроумной шутке бывает конец.

Немедленно поворачивайте на шестнадцать румбов и, не теряя спокойствия, везите ваших тарасконцев домой.

Ни острова, ни купчей крепости, ни Порт-Тараскона, ни аров, ни гектаров, ни винокуренных, ни сахарных заводов — ничего этого нет. Есть лишь блестящая финансовая операция, принесшая мне несколько миллионов, которые сейчас находятся в надежном месте, равно как и моя персона.

В сущности, это была милая тарасконада, которую ваши соотечественники

во главе со знаменитым Тартареном, надеюсь, простят мне, — ведь она заняла их, развлекла и снова пробудила в них любовь к прелестному городку, который они было разлюбили.

Герцог Монский.

Никакой я не герцог и совсем не из Монса. Разве что из его окрестностей».

На этот раз угрозы председателя суда не оказали ни малейшего действия: в зале кричали, в зале орали, и этот рев вырвался на улицу, доплеснулся до Городского круга и эспланады, наполнил собою весь город! Ах, бельгиец, паршивый бельгиец, будь он здесь, его бы сейчас же из окна вниз головой — и в Рону!

Вопили мужчины, женщины, дети, и под этот вой председатель суда Мульяр вынес Тартарену и Паскалону оправдательный приговор, чем крайне огорчил Цицерона Бранкебальма, ибо выступление его так и не состоялось и все его verum enim vero, «поскольку» из «постольку», весь римский цемент его монументальной защитительной речи пропал даром.

Зала суда опустела, народ растекался по улицам, по Городскому кругу, по Большой и Малой площади и все еще изливал свой гнев в исступ-

ленных выкриках:

— Бельгиец!.. Паршивый бельгиец!.. Северный лгун!.. Северный лгун!..

VI
Продолжение и окончание Паскалонова «Мемориала»

8 октября. Вместе со службой в аптеке Безюке я вернул себе уважение сограждан и вновь, как прежде, зажил тихо и мирно на Малой площади, за желтым и зеленым шарами витрины, с той только разницей, что Безюке теперь прячется в лаборатории, точно не я ученик, а он, и яростно толчет пестиком в мраморной ступке свои снадобья. Время от времени он вынимает из кармана зеркальце и разглядывает татуировку. Несчастный Фердинанд! Ни мази, ни припарки ему не помогают, даже «суп с чесночком», который ему прописал доктор Турнатуар. Бесовская размалевка останется у него на всю жизнь.

Ну, а я отпускаю лекарства, наклеиваю ярлычки, продаю алоэ и ипекакуану, болтаю с посетителями и узнаю все городские сплетни. В базарные дни к нам приходит много народу: по вторникам и пятницам в аптеке полно. Сбор ви-

ноградa идет хорошо, и крестьяне опять взялись пичкать себя лекарствами и намикстуриваться. Жители окрестных сел это обожают. Принять слабительное — для них праздник.

В остальные дни у нас тихо, редко когда прозвонит колокольчик. В свободное время я рассматриваю надписи на больших стеклянных и фаянсовых банках, расставленных по полкам: *sirupus gummi, assa foetida*[118], и греческую надпись ΦΑΡΜΑΚΟΠΕΙΑ [фармакопея (греч.)] между двумя змеями над конторкой.

После стольких тревог и приключений приятно пожить в тишине и спокойствии. Я готовлю к печати том стихов на провансальском языке под названием «Ююбы». На севере ююба известна только как аптекарский товар — грудная ягода, а у нас это маленькие красные оливки, растущие на дереве со светлой листвой, и они так аппетитно похрустывают на зубах! Я соберу в этом томе мои стихи о природе, мои стихи о любви…

Ах! Я вижу Клоринду лишь изредка, когда она, высокая, стройная, проходит мимо аптеки, прыгая с одного булыжника Малой площади на другой, — на острове она это называла «походкой

---

[118] Примечания: 118
камедный сироп, асафетида *(лат.)*

кенгуру». Она идет с молитвенником в руках к поздней обедне, вместе с девицей Альрик, той самой, что громоздилась на крыши, а возвратившись в Тараскон, перешла от мадемуазель Турнатуар к дамам дез Эспазет. Ни разу Клоринда не посмотрела в сторону аптеки. Вернувшись к Безюке, я перестал для нее существовать.

Жизнь в городе вошла в привычную колею, тарасконцы ходят гулять на Городской круг, на эспланаду. Вечером идут в Клуб или в театр. Вернулись все, за исключением отца Баталье, который остался на Филиппинских островах, чтобы основать там новую общину «белых отцов». Обитель в Памперигусте мало-помалу оживает, туда вернулся, слава тебе, господи, его преподобие отец Везоль и еще кое-кто из иеромонахов, и колокола начали уже потихоньку позванивать, сперва один, потом другой. До трезвона еще дело не дошло, но, по всем признакам, мы его скоро услышим.

Теперь даже трудно себе представить, что за это время произошло столько событий! Как все это уже далеко и как быстро все забывает тарасконское племя! Вот уже наши охотники с маркизом дез Эспазетом во главе приоделись и каждое воскресное утро все так же неутомимо охотятся на

несуществующую дичь.

А я по воскресеньям после завтрака отправляюсь засвидетельствовать свое почтение Тартарену. Вот он, домик с зелеными ставнями, стоящий на окраине города, вот и ящики маленьких чистильщиков обуви возле ограды, но везде все закрыто, везде тишина. Я отворяю калитку… Наш герой, заложив руки за спину, прогуливается по саду вокруг бассейна с красными рыбками или же сидит у себя в кабинете, окруженный криссами и отравленными стрелами. Но он даже не глядит на свою любимую коллекцию. Обстановка все та же, но как изменился человек! Хотя его и оправдали, но великий человек сам чувствует, что он пал, что он обесславлен, свергнут с пьедестала, и это его удручает.

Мы с ним беседуем. Иногда заходит доктор Турнатуар. В это печальное жилище он вносит свойственное ему оживление и шутки в духе Пургона[119]. Бранкебальм тоже бывает здесь по воскресеньям. Тартарен поручил ему защищать себя. Одна тяжба у него в Тулоне с капитаном Скрапушина, который требует оплатить ему доставку колонистов на родину, другая тяжба

---

[119] Примечания: 119

Пургон — врач из комедии Мольера «Мнимый больной» (1673).

со вдовой Бравида, вчинившей ему иск от имени своих несовершеннолетних детей. Если мой бедный добрый учитель проиграет оба процесса, то что же с ним будет? Ему уже столько стоила плачевная порт-тарасконская авантюра!

Как бы я хотел быть богатым!.. Безюке мне платит гроши, так что, увы! помочь Тартарену я не в состоянии.

10 октября. «Ююбы» выходят в Авиньоне у книгопродавца Руманийля — я счастлив. Еще одна приятная новость: 19-го числа сего месяца, в день св. Марфы, а также в честь возвращения тарасконцев во Францию будет устроена грандиозная кавалькада.

Местные поэты, Дурладур и я, должны представлять на аллегорической колеснице провансальскую поэзию.

20 октября. Вчера, в воскресенье, состоялась кавалькада. Поток колесниц, всадники в исторических костюмах, в руках у них длинные шесты с кошелями для сбора подаяний. Великое стечение народа, во всех окнах лица. А все-таки праздничного оживления, праздничного веселья не было. Вся изобретательность устроителей была не в силах заменить потерю нашего отца-батюшки. Чувствовалась зияющая пустота — недоставало

колесницы с Тараском. При воспоминании о злополучном выстреле, сразившем его в Тихом океане, поднималась глухая злоба. Когда кортеж поравнялся с домиком Тартарена, послышался ропот. Костекальдова шайка разными выкриками подстрекала толпу, так что маркиз дез Эспазет, ехавший в костюме тамплиера верхом на коне, вынужден был обернуться и цыкнуть:

— Перестаньте, господа!..

Вид у него был грозный, и порядок водворился тотчас же.

Дул холодный, северный ветер. Мы с Дурладуром в плащах эпохи Карла VI, которые нам дали напрокат оперные артисты, гастролирующие сейчас в Тарасконе, мерзли отчаянно. Мы сидели на башне — наша колесница, запряженная шестью белыми быками, изображала замок короля Рене, причем самый замок был сделан из дерева и раскрашенного картона, — проклятый ветер пробирал нас до костей, и стихи, которые мы читали, держа в руках огромные лютни, так же дрожали от холода, как и мы сами.

— А, чтоб!.. Вот холодище! — твердил Дурладур.

А слезть нельзя: лестницы, по которым мы сюда взобрались, убраны.

На Городском кругу эта пытка стала уже совсем невыносимой… В довершение всего мне пришла мысль — вот что значит тщеславие влюбленного! — свернуть вбок и проехать мимо дома маркиза дез Эспазета.

И вот мы двинулись по улицам, до того узким, что там могла проехать только одна наша колесница. Угрюмый и безмолвный особняк маркиза, притаившийся за стеной из темного камня, был заперт, и все ставни на его окнах были закрыты как бы в знак того, что высший круг презирает развлечения меньшой братии.

Дрожащим голосом, протягивая кошель за подаянием, прочитал я стихи из «Ююб», но в доме никто не пошевельнулся, никто не выглянул. Тогда я велел кучеру трогать. Не тут-то было: колесница ни с места, ее сдавило с обеих сторон. Попробовали сдвинуть — ни взад, ни вперед, застряла между двумя высокими стенами, и мы торчим этакими чучелами на картонных башнях, дрогнем от холода, а совсем близко от нас, на той же высоте, за закрытыми ставнями звучит чей-то приглушенный смех.

Положительно, замок короля Рене не принес мне счастья! Пока-то распрягли быков, пока-то притащили лестницы, чтобы нам можно было

спуститься, — все это заняло столько времени!..

23 октября. Что такое жажда славы? Кто познал славу хотя бы однажды, тот уже не может без нее жить.

В воскресенье я был у Тартарена. Мы беседовали с ним в саду, гуляя по дорожкам, усыпанным песком, и вороха сухих листьев сыпались на нас из-за ограды с деревьев Городского круга. Глаза у Тартарена были грустные, и, заметив это, я напомнил ему о днях его торжества. Но ничто не могло утешить его, даже черты сходства между ним и Наполеоном.

— А, какой там Наполеон!.. Чепуха!.. Это солнце тропиков напекло мне голову. Сделайте одолжение, не говорите со мной больше об этом, пожалуйста!

Я смотрел на него с изумлением.

— А как же супруга командора…

— Ах, оставьте! Супруга командора все время надо мной смеялась!

Несколько шагов мы прошли молча.

Порывы ветра, крутившего листья, доносили до нас крики маленьких чистильщиков обуви, игравших за калиткой в пробки.

Немного погодя Тартарен мне сказал:

— Теперь мне все ясно. Тарасконцы раскрыли

мне глаза, они как бы сняли с них катаракты.

Таким я никогда еще не видел Тартарена.

Проводив меня до калитки, он вдруг крепко сжал мне руку.

— Ты знаешь, мой мальчик, вот это все пойдет с молотка. Скрапушина выиграл у меня процесс, и вдова Бравида тоже, несмотря на все доводы Бранкебальма… Он славный малый, да только у него уж чересчур прочная кладка: его римский акведук рухнул и своей тяжестью придавил нас обоих.

Я робко предложил ему свои скромные сбережения. Я отдал бы их ему с радостью, но Тартарен отказался.

— Спасибо, дитя мое! Я надеюсь, что за оружие, за разные достопримечательности, за редкостные растения я выручу порядочную сумму. Если не хватит — продам дом. Словом, там видно будет. Прощай, мой мальчик… Это все пустяки.

Истинно философский взгляд на вещи!..

31 октября. Сегодня у меня тяжелый день. Я отпускал в аптеке лекарство жене Трюфенюса для ее ребенка, страдающего головными болями, но в это время на Малой площади заскрипели колеса, и я невольно поднял глаза. По звуку я сразу узнал рессорную колымагу вдовы д'Эгбулид.

В карете сидела сама старуха, рядом с собой она поместила чучело попугая, а напротив сидела моя Клоринда и еще кто-то, но кто именно — я так и не разглядел, оттого что стоял против света; мне бросились в глаза только голубой мундир и расшитое кепи.

— Кто это там с дамами?

— Внук вдовы, виконт Шарлексис д'Эгбулид, офицер егерского полка. Разве вы не знаете, что через месяц мадемуазель Клоринда должна с ним обвенчаться?

Меня это как громом поразило. Я стал бледен как смерть.

Ведь я все еще не терял надежды!

— О, это настоящий брак по любви! — продолжала терзать мое сердце г-жа Трюфенюс. — Но только вы слыхали когда-нибудь поговорку: «Брак по любви — веселые ночи да грустные дни»?

Ну что ж, а все-таки я лично ничего бы не имел против такого брака!

5 ноября. Вчера у Тартарена состоялась распродажа. Я-то сам там не был, но вечером зашел в аптеку Бранкебальм и рассказал мне все по порядку.

Это было, наверно, очень печальное зрелище.

Распродажа ничего не дала Тартарену. Происходила она, как это у нас заведено, прямо у входа. И все пошло за сущую безделицу, а ведь народу собралось много. Оружие из разных стран, отравленные стрелы, кинжалы, ятаганы, револьверы, тридцатидвухзарядный винчестер — все пошло прахом… За бесценок пошли великолепная шкура атласского льва, альпеншток, этот его почетный посох — память о Юнгфрау; все диковины, все богатство, весь этот музей нашего города проданы за ничтожную цену… А все потому, что утрачена вера!..

А баобаб в горшочке, которым тридцать лет подряд любовалась вся округа! Когда его поставили на стол, когда оценщик объявил: «Arbos gigantea, целые селения могут поместиться под его тенью…» — в ответ раздался дикий хохот. Тартарен в это время гулял с двумя приятелями в садике, и смех до него долетел.

— Милым моим тарасконцам тоже сняли катаракты, — без всякой горечи сказал Тартарен. — Теперь они прозрели. Но они жестоки.

Печальнее всего, что распродажа дала очень мало, пришлось продать дом дез Эспазетам, которые приобрели его для молодых.

А куда же денется бедный великий человек?

Перейдет ли он мост, как он сам туманно выражался? Приютит ли его в Бокере старый друг Бомпар?

В то время как Бранкебальм, стоя посреди аптеки, рисовал мне эту мрачную картину, из другой комнаты в полуотворенную дверь выглянул Безюке со своей неизгладимой разрисовкой и, хохоча, словно папуасский демон, крикнул:

— Как я рад!.. Как я рад!..

Можно подумать, что это Тартарен его татуировал.

7 ноября. Завтра, в воскресенье, мой дорогой учитель должен покинуть город и перейти мост… Как же так? Тартарен из Тараскона превратится в Тартарена из Бокера! Послушайте хотя бы, как это звучит… Совсем не то!.. И еще этот мост, ужасный мост! Мне хорошо известно, что Тартарен и не такие препятствия преодолевал… Все-таки на подобный шаг решаются в гневе, а потом берут свои слова обратно. Нет, я еще далеко не уверен!

10 декабря, воскресенье. Семь часов вечера. Я вернулся домой убитый горем. Едва хватит сил написать несколько слов в дневнике.

Все кончено, он ушел, он перешел мост.

Мы собрались проводить его вчетвером: Турнатуар, Бранкебальм, Бомвьейль и я, по дороге нас

еще нагнал бывший ратник ополчения Мальбос.

У меня сердце сжималось от боли при виде голых стен и облетевшего сада. Тартарен даже не смотрел по сторонам.

Нас, тарасконцев, спасает наше непостоянство. Благодаря этому мы не так сильно горюем, как другие народы.

Ключи от дома он отдал Бранкебальму.

— Передайте ключи маркизу дез Эспазету, — сказал он. — Я на него не сержусь за то, что он не пришел проститься, — это естественно. Как говорил Бравида:

Вельможи любовь,
С бутылочкой дружба -
Все это ушло,
Назад не вернется.

И, обратившись ко мне, добавил:

— Тебе это тоже должно быть немножко знакомо, мой мальчик!

Трогателен был этот намек на Клоринду. В такой момент он все-таки подумал обо мне!

Когда мы вышли на Городской круг, поднялся сильный ветер. И все мы невольно подумали: «А как сейчас на мосту?»

А он, видимо, нисколько не был обеспокоен. Дул

мистраль, и по этому случаю улицы как вымело. Встретились нам только музыканты из военного оркестра, игравшего на эспланаде; громоздкие инструменты и без того стесняли их движения, а тут еще надо было одной рукой придерживать полы шинелей, распахивавшихся от ветра.

Тартарен цедил слова и шел с нами как будто бы на прогулку. По своему обыкновению, он говорил о себе, и только о себе:

— Я, знаете ли, болен местной болезнью. Уж очень я увлекался приглядкой!

«Приглядкой» у нас в Тарасконе называется все, что манит взор, все, к чему мы стремимся и что не дается нам в руки. Это пища мечтателей, людей, наделенных воображением. И Тартарен говорил правду: никто не посвящал столько досуга «приглядке», сколько он.

Я тащил чемодан, шляпную картонку и пальто моего героя, поэтому плелся сзади и слышал не все. Слова относил ветер, который, чем ближе мы подходили к Роне, становился все резче. Я уловил лишь, что Тартарен ни на кого не сердится и что он смотрит на свою жизнь взглядом все приемлющего философа:

— …Бездельник Доде написал обо мне, что я — Дон Кихот в обличье Санчо… Он прав. Этот тип

Дон Кихота, напыщенного, изнеженного, ожиревшего, недостойного своей мечты, довольно часто встречается в Тарасконе и его окрестностях.

Дойдя до ближайшего поворота, мы увидели спину бежавшего Экскурбаньеса, — поравнявшись с магазином оружейника Костекальда, сегодня утром назначенного муниципальным советником, он заорал во всю глотку:

— Хо-хо!.. *Двайте шумэть*!.. Да здравствует Костекальд!

— Я и на него не в обиде, — сказал Тартарен. — Должен, однако, заметить, что Экскурбаньес — это воплощение худшего, что есть в тарасконском юге! Я имею в виду не его крики, — хотя, по правде сказать, он орет где надо и где не надо, — а его непомерное тщеславие, его угодливость, которая толкает его на самые низкие поступки. При Костекальде он кричит: «Тартарена в Рону!» Чтобы подольститься ко мне, он то же самое крикнет и о Костекальде. А не считая этого, дети мои, тарасконское племя — чудесное племя, без него Франция давно бы зачахла от педантизма и скуки.

Мы подошли к Роне. Прямо напротив нас догорал печальный закат, в вышине проплывали облака. Ветер словно бы утих, но все-таки мост

был ненадежен. Мы остановились у самого моста, — Тартарен не уговаривал нас провожать его дальше.

— Ну, простимся, дети мои…

Он со всеми расцеловался — начал с Бомвьейля, как самого старшего, а кончил мною. Я обливался слезами и даже не мог вытереть их, потому что все еще держал чемодан и пальто, — слезы мои, можно сказать, выпил великий человек.

Тартарен был взволнован не меньше нас. Наконец он взял свои вещи: пальто на руку, картонку в одну руку, чемодан в другую.

— Смотрите, Тартарен, берегите себя!.. — сказал ему на прощанье Турнатуар. — Климат в Бокере нездоровый… В случае чего супцу с чесночком… Не забудьте!

На это ему Тартарен, подмигнув, ответил:

— Не беспокойтесь… Знаете, как говорят про одну старуху? «Чем больше старуха старела, тем больше старуха умнела — и помирать не хотела». Так вот и я.

Мы долго смотрели ему вслед, — он шел по мосту несколько грузным, но уверенным шагом. Мост так весь и качался у него под ногами. Несколько раз Тартарен останавливался и придерживал слетавшую шляпу.

Мы издали кричали ему, стоя на месте:

— Прощайте, Тартарен!

А он был так взволнован, что даже не оборачивался и в ответ не произносил ни слова, — он только махал нам картонкой, как бы говоря:

— Прощайте!.. Прощайте!..

Три месяца спустя. Воскресенье, вечер. Я вновь открываю свой «Мемориал», давно уже прерванный, эту старую зеленую тетрадь с измятыми уголками, начатую за пять тысяч миль от Франции, тетрадь, с которой я не расставался нигде, ни на море, ни в темнице, и которую я завещаю моим детям, если, конечно, они у меня будут. Тут еще осталось немножко места, и я этим воспользуюсь и запишу: нынче утром по городу разнеслась весть — Тартарен приказал долго жить!

Три месяца ничего о нем не было слышно. Я знал, что он живет в Бокере у Бомпара, помогает ему сторожить ярмарочное поле и охранять замок. В сущности говоря, это тоже «приглядка». Я скучал по моему дорогому учителю и все собирался навестить его, но из-за окаянного моста так и не собрался.

Как-то раз я смотрел издали на Бокерский замок, и показалось мне, что на самом-самом верху кто-то наводит на Тараскон подзорную трубу.

По-видимому, это был Бомпар. Потом он ушел в башню, но сейчас же вернулся с каким-то очень полным мужчиной, похожим на Тартарена. Полный мужчина посмотрел в подзорную трубу, а потом стал делать знаки руками, как будто он кого-то узнал. Но все это было так от меня далеко, все это было такое маленькое, едва-едва различимое, — вот почему этот случай очень скоро изгладился из моей памяти.

Сегодня с самого утра ко мне привязалась беспричинная тоска, а когда я пошел в город побриться — по воскресеньям я всегда бреюсь, — меня поразило небо, пасмурное, холодное, тусклое: в такие дни особенно четко вырисовываются деревья, скамейки, тротуары, дома. Войдя к цирюльнику Марку Аврелию, я поделился с ним своим впечатлением:

— Какое нынче странное солнце! Не светит и не греет… Уж не затмение ли?

— Как, господин Паскалон, разве вы не знаете?.. О затмении писали в газетах еще в начале месяца.

Марк Аврелий взял меня за нос и, поднеся бритву к самому моему лицу, спросил:

— Слыхали новость?.. Кажется, наш великий человек отправился на тот свет.

— Какой великий человек?

При слове «Тартарен» я вздрогнул и чуть было не порезался о Марк-Аврелиеву бритву.

— Вот что значит покинуть родину!.. Он не мог жить без Тараскона…

Цирюльник сказал истинную правду.

Жизнь без славы, жизнь без Тараскона — конечно, это была для Тартарена не жизнь.

Бедный дорогой учитель! Бедный великий Тартарен!.. Но какое же, однако, стечение обстоятельств!.. Солнечное затмение в день его смерти!

И до чего же чудной у нас народ! Бьюсь об заклад, что весь город тяжело переживает его кончину, но тарасконцы делают вид, что это им как с гуся вода.

А дело-то в том, что после истории с Порт-Тарасконом, в которой проявились их чересчур увлекающиеся, любящие все на свете преувеличивать натуры, они теперь стараются прослыть людьми в высшей степени трезвыми, в высшей степени уравновешенными, хотят показать, что они исправились.

Ну, а если говорить по чистой совести, то мы совсем не исправились, мы перегибаем палку в другую сторону, только и всего.

Мы уже не утверждаем: «Вчера в цирке было

более пятидесяти тысяч зрителей». Мы утверждаем обратное: «Вчера в цирке было от силы человек шесть».

Но ведь это тоже преувеличение.

1890

КОММЕНТАРИИ

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРТАРЕНА ИЗ ТАРАСКОНА

«Есть в языке Мистраля словцо, которое кратко и полно определяет одну из характерных черт местных жителей: galeja — подтрунивать, подшучивать. В нем виден проблеск иронии, лукавая искорка, которая сверкает в глазах провансальцев. Это galeja по всякому поводу упоминается в разговоре — и в виде глагола, и в виде существительного: „Veses — pas?.. Es uno galejado…“ („Неужели ты не понимаешь?.. Ведь это только шутка…“) Или же: „Taisote, galejaire!“ („Замолчи, противный насмешник!“) Но быть galejar'ом — это вовсе не значит, что ты не можешь быть добрым и нежным. Люди просто развлекаются, хотят посмеяться! А в тех местах смех вторит каждому чувству, даже самому страстному, самому нежному… И я тоже ведь galejaire. Среди парижских туманов, забрызганный парижской грязью и парижской тоской, я, может быть, утратил способность смеяться, но читатель „Тартарена“ заметит, что в глубине моего существа был еще остаток веселости, который распустился сразу,

едва я попал на яркий свет тех краев… Ведь „Тартарен“ — это взрыв хохота, это galejade.»

Так Доде характеризовал первую часть своей трилогии спустя пятнадцать лет после ее выхода («История моих книг», очерк «Тартарен из Тараскона»). Однако в основе этой «галейяды», как и в основе всех книг Доде, лежал жизненный материал. Корни ее уходят в тот период времени, когда молодой писатель побывал в Алжире. «В один прекрасный ноябрьский день 1861 года мы с Тартареном, вооруженные до зубов, с „шешьями“ на макушках, отбыли в Алжир охотиться на львов. По правде говоря, я ехал туда не специально с этой целью: мне прежде всего нужно было прокалить на ярком солнце мои слегка подпорченные легкие. Но ведь недаром, черт побери, я родился в стране охотников за фуражками! Едва ступив на палубу „Зуава“, куда как раз погружали наш огромный ящик с оружием, я, больше Тартарен, чем сам Тартарен, стал воображать, будто отправляюсь именно затем, чтобы истребить всех атласских хищников».

«Тартареном», с которым Доде отправился в Алжир, был его сорокалетний кузен Рейно, коренной житель Нима, мечтатель и фантазер, страстный любитель приключенческих романов

и охотник за фуражками; он был так силен, что сограждане утверждали, будто у него «двойные мускулы», а в доме его рос карликовый баобаб в горшке из-под резеды… Едва прибыв в Алжир, кузены, смущавшие переселенцев своим экзотическим видом, а арабов — своим оружием, убедились, что на львов им охотиться не придется — надо ограничиться газелями и страусами. Тем не менее Доде, позабыв предписание врача о необходимости покоя, за три месяца исколесил весь Алжир вслед за своим неугомонным спутником, «преданный ему, как верблюд из моей повести», по собственному выражению писателя. Он встречался с французскими чиновниками и продажными арабскими шейхами, видел всю нелепость и жестокость колониальной администрации, нищету населения, задавленного двойным гнетом — французов и местной знати.

В конце февраля 1862 года Доде вернулся во Францию. Привыкнув во время путешествия записывать свои впечатления, он создает на основе этих записей несколько очерков, которые печатает в газетах. 18 июня 1863 года в «Фигаро» появился рассказ «Шапатен, истребитель львов» — о похождениях провансальского «тэрка» в Алжире; кузен Рейно уже приобрел в нем черты

будущего Тартарена.

— Несколько лет спустя Доде вновь обратился к этой вещи, поняв, что тема далеко не исчерпана. «Восемь лет назад я напечатал „Приключения Шапатена из Тараскона“; они появились в „Фигаро“. Из-за них у меня вышла ссора с кузеном Рейно. Вещь была коротенькая, поместилась в одном номере тогдашнего „Фигаро“. Но потом я решил, что в ней есть отличный веселый сюжет, зарисовки юга и особенно зарисовки Алжира, Алжира комического, поскольку именно так позволял мне рассказать о нем характер моего героя. Я взял свой старый рассказ и развил его, но из-за того, что имя Шапатен стало в Ниме прозвищем Рейно, мне не хотелось снова им пользоваться… Я стал искать другое имя, и один мой приятель подсказал мне раскатистое имя Барбарен (я знал Барбаренов в Эксе и в Тулоне), и я воспользовался им», — писал Доде своему кузену и другу Тимолеону Амбруа.

Но герою-южанину необходим был достойный фон, и таким фоном явился Тараскон — этот обобщенный образ юга Франции. «Тараскон был для меня лишь псевдонимом, подобранным на дороге Париж — Марсель, — вспоминает Доде, — это слово южане произносят так раскатисто, что оно,

когда выкрикивают названия станций, звучит победно, точно воинственный клич индейцев. В действительности „родина Тартарена и охотников за фуражками“ находится в пяти-шести милях от Тараскона, по другую сторону Роны». Это Ним. Ему «Тараскон» обязан многими деталями. «Там видел я в детстве баобаб, чахнувший в горшке из-под резеды, — образ моего героя, стесненного рамками маленького города; там семейство Ребюффа пело дуэт из „Роберта Дьявола“».

В 1868 году роман стал печататься в газете «Пти монитор» без подписи, под заголовком «Барбарен из Тараскона». После опубликования двенадцати фельетонов печатание прекратили. Доде и позже, когда писал «Историю моих книг», объяснял это отсутствием успеха у читателя, однако его сын Люсьен приводит более правдоподобную причину: «Подтрунивание над администрацией [алжирской] было плохо воспринято в высших сферах». Доде передал «Барбарена» в «Фигаро», однако и тут ему не повезло. «Секретарем редакции „Фигаро“ был в ту пору Александр Дювернуа… По странному стечению обстоятельств, я встретил Александра Дювернуа девять лет назад во время моей веселой экспедиции: он был тогда скромным чиновником гражданской администрации

в Милианахе и с тех пор сохранил воистину благоговейное отношение к нашей колонии. Раздраженный, рассерженный тем, как я описал дорогой его сердцу Алжир, он, хотя и не мог помешать публикации „Тартарена“, устроил так, что вещь была разорвана на куски, которые под ужасающим стереотипным предлогом „обилия материала“ печатались так редко, что маленький роман растянулся в газете на столько же времени, что и „Агасфер“ или „Три мушкетера“… Потом новые волнения. Герой моей книги именовался тогда Барбарен из Тараскона. И надо же так случиться, что в Тарасконе жило старинное семейство Барбаренов, которое пригрозило мне жалобой в суд, если я не изыму их имя из этого оскорбительного фарса. Мой суеверный страх перед судами и правосудием заставил меня согласиться заменить Барбарена на Тартарена уже в корректуре, которую пришлось пересматривать строчку за строчкой, скрупулезнейшим образом охотясь за литерой „Б“. Несколько штук на трехстах страницах, должно быть, ускользнуло от моего взгляда, и в первом издании можно найти и Бартарена, и Тарбарена…» («История моих книг»).

Отдельной книгой «Необычайные приклю-

чения Тартарена из Тараскона» вышли после франко-прусской войны, в 1872 году, в издательстве Дантю с посвящением нимскому приятелю Доде Гонзагу Прива. Книга расходилась хорошо, хотя и не имела сначала такого шумного успеха, как последующие романы Доде. Далеко не все читатели поняли то, что составляло предмет гордости автора, — типичность главного героя. А между тем именно ее ставил Доде во главу угла; это он подчеркнул эпиграфом, об этом писал в «Истории моих книг»: «Должен признаться, что, при всей моей любви к красивому слогу, к гармонической и яркой прозе, я не считаю, что в них заключено для романиста все. Ею истинной радостью остается иное: создавать живые существа, силой правды пустить по земле типы, которые потом сами начинают бродить среди людей с тем именем, с теми жестами и ужимками, которыми наделил их автор и которые заставляют говорить о них, — любимы ли они или презираемы, — вне связи с их создателем. Я сам всегда испытываю одно и то же чувство, когда при мне говорят об одном из прохожих на жизненном пути, об одной из марионеток в комедии политической, художественной или светской жизни: „Это настоящий Тартарен, настоящий Монпавон или Делобель“.

Меня охватывает трепет, трепет гордости, какую испытывает спрятавшийся в толпе отец, когда аплодируют его сыну и когда бедняге каждую минуту хочется крикнуть: „Это мой мальчик!“»

По-русски «Необычайные приключения» были впервые опубликованы в 1880 году в журнале «Мысль» (NN 5-7). В 1886 году его печатает журнал «Русская мысль» (NN 7-9), постоянно популяризировавший в России творчество Доде. В 1888 году редакция этого журнала выпускает «Необычайные приключения» вместе с «Тартареном на Альпах» отдельной книгой. В дальнейшем «Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона» становятся самой популярной книгой Доде в России. До революции они входили в собрания сочинений писателя, выпущенные издательством Пантелеевых (1894-1895 гг.) и издательством И.Маевского (1913-1914 гг., не окончено), и выдержали около десяти отдельных изданий. В советское время «Необычайные приключения» — отдельно и в составе трилогии — выходили пятнадцать раз. Перевод трилогии, выполненный Н.М.Любимовым, впервые увидел свет в 1956 году и с тех пор многократно переиздавался. Для настоящего издания он заново пересмотрен переводчиком.

ТАРТАРЕН НА АЛЬПАХ

Со дня выхода в свет «Необычайных приключений Тартарена из Тараскона» прошло тринадцать лет; книга приобрела огромную популярность, выдержала тридцать одно издание, была переведена на многие языки; инсценировка «Необычайных приключений» была поставлена в театре. Только Тараскон не мог простить писателю его насмешек. «Достойные доверия путешественники сообщали мне, что каждое утро, в час, когда провансальский городок открывает ставни своих лавок и вытрясает ковры на ветру, дующем с Роны, на всех порогах, во всех окошках мелькает все тот же сотрясаемый кулак, сверкает все то же пламя в черных глазах и слышится все тот же гневный вызов Парижу: „У, этот Доде! Если он только остановится здесь когда-нибудь…“» — шутил писатель в «Истории моих книг».

Мысль повести своего героя в горы пришла Доде во время его второго путешествия в Швейцарию, в 1883 году. Еще предыдущим летом Доде посетил все те места, в которых потом побывал его герой: он осмотрел озеро Четырех кантонов,

поднимался на фуникулере, который презрел Тартарен, в отель «Риги-Кульм», где не мог из-за плохой погоды видеть знаменитый солнечный восход, но зато стал свидетелем импровизированного бала, затем через озеро Ури он отправился на «площадку Вильгельма Телля», после целого ряда экскурсий приехал в Гриндельвальд, к подножию Юнгфрау, а оттуда — к Малой Шейдек, где, несмотря на то что у него болели ноги, пошел осматривать ледник; за вход ему, к величайшему его изумлению, пришлось заплатить пятьдесят сантимов.

В следующем году Доде с сыновьями и с издателем Лемерром снова едет в Альпы, на сей раз — в Романскую Швейцарию. Его маршрут: Монтре, Женевское озеро, Аннеси, потом Шильонский замок, Кларанс, Веве, Лозанна.

Написал Доде вторую часть «Тартарена» лишь в 1885 году, за несколько летних и осенних месяцев. Работал он над ней главным образом в курортном местечке Ламалу, куда ему приходилось теперь ездить ежегодно. В конце года книга вышла в издательстве Леви, а в 1886 году — в издательстве Фламмариона и имела огромный успех. Любопытно отметить, что описания восхождения были настолько убедительными,

что автора приняли за заправского альпиниста: Французский альпийский клуб избрал его своим почетным членом, а знаменитый английский альпинист лорд Вимпер прислал ему свою книгу с автографом.

Во второй части Тартарен встречается с персонажами других произведений писателя: с профессором Шванталером, героем «Часов из Буживаля», с Астье-Рею, будущим героем «Бессмертного», и, наконец, с Бомпаром, изображенным в романе «Нума Руместан». Рядом с замороженной чопорностью туристов непринужденность Тартарена выигрывает, кажется теплой и искренней. Точно так же выигрывает Тартарен с его рыцарскими иллюзиями от сопоставления с Экскурбаньесом и Бомпаром, в которых южная шумливая бравада и южная фантазия доведены до крайних пределов карикатуры. «Доброта и нежность» начинают проступать у Тартарена сквозь смех и шутку.

Но есть в книге подлинные «герои дела», в столкновении с ними раскрывается вся неспособность Тартарена на истинный подвиг. Это русские революционеры — «нигилисты». По свидетельству Люсьена Доде, его отец, всегда повторявший, что он «ненавидит политику», вместе с тем постоянно следил за газетами и был в курсе

политических дел в самых отдаленных странах; при этом интересовали его больше всего люди, делавшие политику. Нет ничего удивительного, что внимание его привлекли террористы-народовольцы, героические дела которых, особенно после цареубийства 1 марта 1881 года, стали известны всему миру. И не случайно в «Тартарене на Альпах» Доде приписал Соне Васильевой подвиг Веры Засулич, стрелявшей 24 января 1878 года в петербургского градоначальника Трепова, Манилову — покушение Степана Халтурина, устроившего 5 февраля 1880 года взрыв в Зимнем дворце.

По-русски «Тартарен на Альпах» был напечатан в 1887 году в журнале «Русская мысль» (NN 1-3,5). Однако «русская линия» романа мешала его распространению в России. В журнальном варианте часть эпизодов, связанных с русскими революционерами, изъята, в других эпизодах они превращены в таинственных «анархистов» без имен и национальности. В том же варианте текст вышел и отдельной книгой вместе с «Необычайными приключениями» — в издании редакции «Русской мысли» (1888). Затем «Тартарен на Альпах» не переиздается; даже в Полном собрании сочинений издательства братьев Пантелеевых

напечатаны только «Необычайные приключения» и «Порт-Тараскон». Лишь в 1927 году в издании «Универсальной библиотеки» был напечатан сокращенный текст романа, в котором, однако, присутствует «русская линия». Полный текст был выпущен в 1928 году издательством «Земля и фабрика» под редакцией М.Зенкевича.

ПОРТ-ТАРАСКОН

29 марта 1880 года французское правительство приняло декрет о роспуске многих монашеских конгрегации и о закрытии ряда монастырей. На католическом Юге этот декрет был встречен враждебно. Вскоре газеты сообщили о том, что жители Тараскона воспротивились закрытию соседнего аббатства Фриголе и даже попытались защищать его. Правительству пришлось выслать в Тараскон войска. Этого было достаточно, чтобы сломить сопротивление. Прочитав это сообщение, Доде сразу подумал, что душой такого предприятия мог бы быть Тартарен…

В 1887 году, уже после выхода в свет «Тартарена на Альпах», Доде по дороге из Ламалу проехал вместе со старшим сыном Леоном и поэтом Мистралем через «вражескую территорию» Тараскона (этот визит описан в начале предисловия). Однако, по свидетельству Леона, «старый лев с клювом и когтями не проявил ни малейшей враждебности»; наоборот, пока Доде ждал поезда, многие тарасконцы явились на вокзал пожать руку знаменитому писателю.

13 июня 1889 года Э.Гонкур записал, что Доде сообщил ему о своей работе над «Порт-Тарасконом». «Затея, по-моему, ненужная, — добавляет Гонкур, — у Доде всегда столько замыслов, а он занимается третьим изданием типа, и так более чем достаточно показанного публике в первых частях». Однако пессимизм Гонкура был неоправдан: Доде сумел найти и новый материал, и новые краски для своего излюбленного героя.

Оборона аббатства Фриголе дала материал лишь для первого эпизода, но и в основе истории переселения тарасконцев лежит факт, хотя и не связанный непосредственно с Тарасконом. Это скандальная история колонии, именовавшейся Порт-Бретон. В конце 70-х годов некий бретонский дворянин, маркиз де Рэй, долгое время живший в Австралии и в Южной Америке, стал убеждать своих земляков переселиться на один из островов Тихого океана. Были выпущены акции, в колонию было отправлено четыре корабля с эмигрантами. Однако вместо обещанного земного рая колонисты нашли болота, непригодные для освоения и грозившие им лихорадкой. По возвращении незадачливых переселенцев маркиз де Рэй был арестован и приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве.

«Порт-Тараскон» вышел в 1890 году в издательстве Фламмариона и имел шумный успех. Вся Франция смеялась над новыми похождениями незадачливого героя. А между тем создавалась эта книга во время страшных физических мук: болезнь спинного мозга, временами почти парализовывавшая Доде, в 1889 году обострилась от неправильного лечения.

В третьей книге Доде настойчиво проводит новую аналогию — аналогию между Тартареном и Наполеоном. Дело не только в том, что это дает писателю возможность блестяще пародировать «Мемориал св. Елены» Лас-Каза и развенчать еще одну бонапартистскую легенду. Корни такого сближения лежат глубже. Доде давно, еще со времени пребывания на Корсике, привлекал образ Наполеона, причем несколько необычными сторонами: писателя интересовал прежде всего Наполеон как воплощение типического характера южанина. Доде даже хотел написать о Наполеоне, изобразив его именно с этой точки зрения, но так и не осуществил своего намерения. И все же нельзя сказать, чтобы замысел его остался невоплощенным: Доде не показал читателю Наполеона-Тартарена, но зато дал ему Тартарена-Наполеона.

В «Порт-Тарасконе» еще заметнее та перемена отношения автора к своему герою, которая наметилась во второй части: он становится все более и более симпатичным и трогательным. Его буйная фантазия, легковерие и легкомыслие, нелепая рыцарственность выигрывают в глазах читателя, когда они сопоставляются с буржуазным делячеством, скучной трезвостью чистогана, воплощением которых является мнимый герцог Монский. Дух самой необдуманной авантюры для Доде более приемлем, чем дух буржуазного предпринимательства. Поэтому так грустно звучат последние страницы романа: ведь смерть Тартарена — это смерть последнего Дон Кихота в европейской литературе.

«Порт-Тараскон» был впервые напечатан по-русски в 1890 году в журнале «Русская мысль» (NN 11-12). В том же году он вышел в двух номерах приложений к журналу «Правда» (NN 1-2).